

Антон Павлович Чехов

# Святая простота

## Оглавление

Святая простота.....	2
Мертвое тело.....	5
Кошмар.....	8
Тоска.....	16
Письмо.....	19
Казак.....	26
Святою ночью.....	29
На мельнице.....	35
На пути.....	39
Панихида.....	48
Встреча.....	51
На страстной неделе.....	59
Перекасти-поле.....	62
Свирель.....	70
Степь.....	75
Княгиня.....	130
Володя большой и Володя маленький.....	137
Студент.....	144
Рассказ старшего садовника.....	146
Убийство.....	149
Мужики.....	164
Душечка.....	182
Архиерей.....	189

## Святая простота

К отцу Савве Жезлову, престарелому настоятелю Свято-Троицкой церкви в городе П., неожиданно-негаданно прикатил из Москвы сын его Александр, известный московский адвокат. Вдовый и одинокий старик, узрев свое единственное детище, которого он не видал лет 12—15, с тех самых пор, как проводил его в университет, побледнел, затрясся всем телом и окаменел. Радостям и восторгам конца не было.

Вечером в день приезда отец и сын беседовали. Адвокат ел, пил и умилялся.

— А у тебя здесь хорошо, мило! — восторгался он, ерзая на стуле. — Уютно, тепло, и пахнет чем-то таким патриархальным. Ей-богу, хорошо!

Отец Савва, заложив руки назад и, видимо, ломаясь перед старухой-кухаркой, что у него такой взрослый и галантный сын, ходил около стола и старался в угоду гостю настроить себя на «ученый» лад.

— Такие-то, брат, факты... — говорил он. — Вышло именно так, как я желал в сердце своем: и ты и я — оба по образованной части пошли. Ты вот в университете, а я в киевской академии кончил, да... По одной стезе, стало быть... Понимаем друг друга... Только вот не знаю, как нынче в академиях. В мое время сильно на классицизм налегали и даже древнееврейский язык учили. А теперь?

— Не знаю. А у тебя, батя, бедовая стерлядь. Уже сыт, но еще съем.

— Ешь, ешь. Тебе нужно больше есть, потому что у тебя труд умственный, а не физический... гм... не физический... Ты университетант, головой работаешь. Долго гостить будешь?

— Я не гостить приехал. Я, батя, к тебе случайно, на манер deus ex machina. Приехал сюда на гастроли, вашего бывшего городского голову защищать. Вероятно, знаешь, завтра у вас суд будет.

— Тэк-с... Стало быть, ты по судебной части? Юристу?

— Да, я присяжный поверенный.

— Так... Помогай бог. Чин у тебя какой?

— Ей-богу, не знаю, батя.

«Спросить бы о жалованье, — подумал отец Савва, — но по-ихнему это вопрос нескромный... Судя по одежде и в рассуждении золотых часов, должно полагать, больше тысячи получает».

Старик и адвокат помолчали.

— Не знал я, что у тебя стерляди такие, а то бы я к тебе в прошлом году приехал, — сказал сын. — В прошлом году я тут недалеко был, в вашем губернском городе. Смешные у вас тут города!

— Именно смешные... хоть плюнь! — согласился отец Савва. — Что поделаешь! Далеко от умственных центров... предрассудки. Не проникла еще цивилизация...

— Не в том дело... Ты послушай, какой анекдот со мной вышел. Захожу я в вашем губернском городе в театр, иду в кассу за билетом, а мне и говорят: спектакля не будет, потому что еще ни одного билета не продано! А я и спрашиваю: как велик ваш полный сбор? Говорят, триста рублей! Скажите, говорю, чтоб играли, я плачу триста... Заплатил от скуки триста рублей, а как стал глядеть их раздирательную драму, то еще скучнее стало... Ха-ха...

Отец Савва недоверчиво поглядел на сына, поглядел на кухарку и хихикнул в кулак...

«Вот врет-то!» — подумал он.

— Где же ты, Шуренька, взял эти триста рублей? — спросил он робко.

— Как где взял? Из своего кармана, конечно...

— Гм... Сколько же ты, извини за нескромный вопрос, жалованья получаешь?

— Как когда... В иной год тысяч тридцать заработаю, а в иной и двадцати не наберется... Годы разные бывают.

«Вот врет-то! Хо-хо-хо! Вот врет! — подумал отец Савва, хохоча и любовно глядя на посоловшееся лицо сына. — Брежлива молодость! Хо-хо-хо... Хватил — тридцать тысяч!»

— Невероятно, Сашенька! — сказал он. — Извини, но... хо-хо-хо... тридцать тысяч! За эти деньги два дома построить можно...

— Не веришь?

— Не то что не верю, а так... как бы этак выразиться... ты уж больно тово... Хо-хо-хо... Ну, ежели ты так много получаешь, то куда же ты деньги деваешь?

— Проживаю, батя... В столице, брат, кусается жизнь. Здесь нужно тысячу прожить, а там пять. Лошадей держу, в карты играю... покучиваю иногда.

— Это так... А ты бы копил!

— Нельзя... Не такие у меня нервы, чтоб копить... (адвокат вздохнул). Ничего с собой не поделаю. В прошлом году купил я себе на Полянке дом за шестьдесят тысяч. Все-таки подмога к старости! И что ж ты думаешь? Не прошло и двух месяцев после покупки, как пришлось заложить. Заложил и все денежки — фюйть! Овое в карты проиграл, овое пропил.

— Хо-хо-хо! Вот врет-то! — взвизгнул старик. — Занятно врет!

— Не вру я, батя.

— Да нешто можно дом проиграть или прокутить?

— Можно не то что дом, но и земной шар пропить. Завтра я с вашего головы пять тысяч сдеру, но чувствую, что не довезти мне их до Москвы. Такая у меня планида.

— Не планида, а планета, — поправил отец Савва, кашлянув и с достоинством поглядев на старуху-кухарку. — Извини, Шуренька, но я сомневаюсь в твоих словах. За что же ты получаешь такие суммы?

— За талант...

— Гм... Может, тысячи три и получаешь, а чтоб тридцать тысяч, или, скажем, дома покупать, извини... сомневаюсь. Но оставим эти пререкания. Теперь скажи мне, как у вас в Москве? Чай, весело? Знакомых у тебя много?

— Очень много. Вся Москва меня знает.

— Хо-хо-хо! Вот врет-то! Хо-хо! Чудеса и чудеса, брат, ты рассказываешь.

Долго еще в таком роде беседовали отец и сын. Адвокат рассказал еще про свою женитьбу с сорокатысячным приданым, описал свои поездки в Нижний, свой развод, который стоил ему десять тысяч. Старик слушал, всплескивал руками, хохотал.

— Вот врет-то! Хо-хо-хо! Не знал я, Шуренька, что ты такой мастер балясы точить! Хо-хо-хо! Это я тебе не в осуждение. Мне занятно тебя слушать. Говори, говори.

— Но, однако, я заболтался, — кончил адвокат, вставая из-за стола. — Завтра разбирательство, а я еще дела не читал. Прощай.

Проводив сына в свою спальню, отец Савва предался восторгам.

— Каков, а? Видала?— зашептал он кухарке. — То-то вот и есть... Университант, гуманный, эмансипе, а не устыдился старика посетить. Забыл отца и вдруг вспомнил. Взял да и вспомнил. Дай, подумал, своего старого хрена вспомню! Хо-хо-хо. Хороший сын! Добрый сын! И ты заметила? Он со мной, как с ровней... своего брата ученого во мне видит. Понимает, стало быть. Жалко, дьякона мы не позвали, поглядел бы.

Изливши свою душу перед старухой, отец Савва на цыпочках подошел к своей спальне и заглянул в замочную скважину. Адвокат лежал на постели и, дымя сигарой, читал объемистую тетрадь. Возле него на столике стояла винная бутылка, которой раньше отец Савва не видел.

— Я на минуточку... поглядеть, удобно ли, — забормотал старик, входя к сыну. — Удобно? Мягко? Да ты бы разделся.

Адвокат промычал и нахмурился. Отец Савва сел у его ног и задумался.

— Так-с... — начал он после некоторого молчания. — Я всё про твои разговоры думаю. С одной стороны, благодарю за то, что повеселил старика, с другой же стороны, как отец и... и образованный человек, не могу умолчать и воздержаться от замечания. Ты, я знаю, шутил за ужином, но ведь, знаешь, как вера, так и наука осудили ложь даже в шутку. Кгм... Кашель у меня. Кгм... Извини, но я как отец. Это у тебя откуда же вино?

— Это я с собой привез. Хочешь? Вино хорошее, восемь рублей бутылка.

— Во-семь? Вот врет-то! — всплеснул руками отец Савва. — Хо-хо-хо! Да за что тут восемь рублей платить?

Хо-хо-хо! Я тебе самого наилучшего вина за рубль куплю. Хо-хо-хо!

— Ну, маршируй, старче, ты мне мешаешь... Айда!

Старик, хихикая и всплескивая руками, вышел и тихо затворил за собою дверь. В полночь, прочитав «правила» и заказав старухе завтрашний обед, отец Савва еще раз заглянул в комнату сына.

Сын продолжал читать, пить и дымить.

— Спать пора... раздевайся и туши свечку... — сказал старик, внося в комнату сына запах ладана и свечной гари. — Уже двенадцать часов... Ты это вторую бутылку? Ого!

— Без вина нельзя, батя... Не возбудишь себя, дела не сделаешь.

Савва сел на кровать, помолчал и начал:

— Такая, брат, история... М-да... Не знаю, буду ли жив, увижу ли тебя еще раз, а потому лучше, ежели сегодня преподам тебе завет мой... Видишь ли... За всё время сорокалетнего служения моего скопил я тебе полторы тысячи денег. Когда умру, возьми их, но...

Отец Савва торжественно высморкался и продолжал:

— Но не транжирь их и храни... И, прошу тебя, после моей смерти пошли племяннице Вареньке сто рублей. Если не пожалеешь, то и Зинаиде рублей 20 пошли. Они сироты.

— Ты им пошли все полторы тысячи... Они мне не нужны, батя...

— Врешь?

— Серьезно... Всё равно растрянжирю.

— Гм... Ведь я их копил! — обиделся Савва. — Каждую копейку для тебя складывал...

— Изволь, под стекло я положу твои деньги, как знак родительской любви, но так они мне не нужны... Полторы тысячи — фи!

— Ну, как знаешь... Знал бы я, не хранил, не лелеял... Спи!

Отец Савва перекрестил адвоката и вышел. Он был слегка обижен... Небрежное, безразличное отношение сына к его сорокалетним сбережениям его сконфузило. Но чувство обиды и конфуза скоро прошло... Старика опять потянуло к сыну поболтать, поговорить «по-ученому», вспомнить былое, но уже не хватило смелости обеспокоить занятого адвоката. Он ходил, ходил по темным комнатам, думал, думал и пошел в переднюю поглядеть на шубу сына. Не помня себя от родительского восторга, он охватил обеими руками шубу и принялся обнимать ее, целовать, крестить, словно это была не шуба, а сам сын, «университант»... Спать он не мог.

## Мертвое тело

Тихая августовская ночь. С поля медленно поднимается туман и матовой пеленой застилает всё, доступное для глаза. Освещенный луною, этот туман дает впечатление то спокойного, беспредельного моря, то громадной белой стены. В воздухе сыро и холодно. Утро еще далеко. На шаг от проселочной дороги, идущей по опушке леса, светится огонек. Тут, под молодым дубом, лежит мертвое тело, покрытое с головы до ног новой белой холстиной. На груди большой деревянный образок. Возле трупа, почти у самой дороги, сидит «очередь» — два мужика, исполняющих одну из самых тяжелых и неприглядных крестьянских повинностей. Один — молодой высокий парень с едва заметными усами и с густыми черными бровями, в рваном полушубке и лаптях, сидит на мокрой траве, протянув вперед ноги, и старается скоротать время работой. Он нагнул свою длинную шею и, громко сопя, делает из большой угловатой деревяжки ложку. Другой — маленький мужичонко со старческим лицом, тощий, рябой, с жидкими усами и козлиной бородкой, свесил на колени руки и, не двигаясь, глядит безучастно на огонь. Между обоими лениво догорает небольшой костер и освещает их лица в красный цвет. Тишина. Слышно только, как скрипит под ножом деревяжка и потрескивают в костре сырые бревнышки.

— А ты, Сема, не спи... — говорит молодой.

— Я... не сплю... — заикается козлиная бородка.

— То-то... Одному сидеть жутко, страх берет. Рассказал бы что-нибудь, Сема!

— Не... не умею...

— Чудной ты человек, Семушка! Другие люди и посмеются, и небылицу какую расскажут, и песню споют, а ты — Бог тебя знает, какой. Сидишь, как пугало огородное, и глаза на огонь таращишь. Слова путем сказать не умеешь... Говоришь и будто боишься. Чай, уж годов пятьдесят есть, а рассудка меньше, чем в дите... И тебе не жалко, что ты дурачок?

— Жалко... — угрюмо отвечает козлиная бородка.

— А нам нешто не жалко глядеть на твою глупость? Мужик ты добрый, тверезый, одно только горе — ума в голове нету. А ты бы, ежели Господь тебя обидел, рассудка не дал, сам бы ума набирался... Ты понатужься, Сема... Где что хорошее скажут, ты и вникай, бери себе в толк, да всё думай, думай... Ежели какое слово тебе непонятно, ты понатужься и рассуди в голове, в каких смыслах это самое слово. Понял? Понатужься! А ежели сам до ума доходить не будешь, то так и помрешь дурачком, последним человеком.

Вдруг в лесу раздается протяжный, стонущий звук. Что-то, как будто сорвавшись с самой верхушки дерева, шелестит листвой и падает на землю. Всему этому глухо вторит эхо. Молодой вздрагивает и вопросительно глядит на своего товарища.

— Это сова пташек забижает, — говорит угрюмо Сема.

— А что, Сема, ведь уж время птицам лететь в теплые края!

— Знамо, время.

— Холодные нынче зори стали. Х-холодно! Журавль зыбкая тварь, нежная. Для него такой холод — смерть. Вот я не журавль, а замерз... Подложи-ка дровец!

Сена поднимается и исчезает в темной чаще. Пока он возится за кустами и ломает сухие сучья, его товарищ закрывает руками глаза и вздрагивает от каждого звука. Сема приносит охапку хворосту и кладет ее на костер. Огонь нерешительно облизывает язычками черные сучья, потом вдруг, словно по команде, охватывает их и освещает в багровый цвет лица, дорогу, белую холстину с ее рельефами от рук и ног мертвеца, образок... «Очередь» молчит. Молодой еще ниже нагибает шею и еще нервнее принимается за работу. Козлиная бородка сидит по-прежнему неподвижно и не сводит глаз с огня...

— «Ненавидящие Сиона... посрамитесь от Господа»... — слышится вдруг в ночной тишине поющая фистула, потом слышатся тихие шаги и на дороге в багровых лучах костра вырастает темная человеческая фигура в короткой монашеской ряске, широкополой шляпе и с котомкой за плечами.

— Господи, Твоя воля! Мать честная! — говорит эта фигура сиплым дискантом. — Увидел огонь во тьме кромешной и взыгрался духом... Сначала думал — ночное, потом же и думаю: какое же это ночное, ежели коней не видать? Не тати ли сие, думаю, не разбойники ли, богатого Лазаря поджидающие? Не цыганская ли это нация, жертвы идолам приносящая? И взыгрался дух мой... Иди, говорю себе, раб Феодосий, и приими венец мученический! И понесло меня на огонь, как мотыля легкокрылого. Теперь стою перед вами и по наружным физиогномиям вашим сужу о душах ваших: не тати вы и не язычники. Мир вам!

— Здорово.

— Православные, не знаете ли вы, как тут пройтись до Макухинских кирпичных заводов?

— Близко. Вот это, стало быть, пойдете прямо по дороге; версты две пройдете, там будет Ананово, наша деревня. От деревни, батюшка, возьмешь вправо, берегом, и дойдешь до заводов. От Ананова версты три будет.

— Дай Бог здоровья. А вы чего тут сидите?

— Понятыми сидим. Вишь, мертвое тело...

— Что? Какое тело? Мать честная!

Странник видит белую холстину с образком и вздрагивает так сильно, что его ноги делают легкий прыжок. Это неожиданное зрелище действует на него подавляюще. Он весь съеживается и, раскрыв рот, выпуча глаза, стоит, как вкопанный... Минуты три он молчит, словно не верит глазам своим, потом начинает бормотать:

— Господи! Мать честная!! Шел себе, никого не трогал, и вдруг это такое наказание...

— Вы из каких будете? — спрашивает парень. — Из духовенства?

— Не... нет... Я по монастырям хожу... Знаешь Ми... Михайлу Поликарпыча, заводского управляющего? Так вот я ихний племянник... Господи, Твоя воля! Зачем же вы тут?

— Сторожим... Велят.

— Так, так... — бормочет ряска, поводя рукой по глазам. — А откуда покойник-то?

— Прохожий.

— Жизнь наша! Одначе, братцы, я тово... пойду... Оторопь берет. Боюсь мертвецов пуше всего, родимые мои... Ведь вот, скажи на милость! Покуда этот человек жив был, не замечали его, теперь же, когда он мертв и тлену предается, мы трепещем перед ним, как перед каким-нибудь славным полководцем или преосвященным владыкою... Жизнь наша! Что ж, его убили, что ли?

— Христос его знает! Может, убили, а может и сам помер.

— Так, так... Кто знает, братцы, может, душа его теперь сладости райские вкушает!

— Душа его еще здесь около тела ходит... — говорит парень. — Она три дня от тела не идет.

— М-да... Холода какие нынче! Зуб на зуб не попадет... Так, стало быть, идти всё прямо и прямо...

— Покуда в деревню не упрешься, а там возьмешь вправо берегом.

— Берегом... Так... Что же это я стою? Идти надо... Прощайте, братцы!

Ряска делает шагов пять по дороге и останавливается.

— Забыл копеечку на погребение положить. — говорит она. — Православные, можно монетку положить?

— Тебе это лучше знать, ты по монастырям ходишь. Ежели настоящей смертью он помер, то пойдет за душу, ежели самоубивец, то грех.

— Верно... Может, и в самом деле самоубийца! Так уж лучше я свою монетку при себе оставлю. Ох, грехи, грехи! Дай мне тыщу рублей, и то б не согласился тут сидеть... Прощайте, братцы!

Ряска медленно отходит и опять останавливается.

— Ума не приложу, как мне быть... — бормочет она. — Тут около огня остаться, рассвета подождать... страшно. Идти тоже страшно. Всю дорогу в потемках покойник будет мерещиться... Вот наказал Господь! Пятьсот верст пешком прошел, и ничего, а к дому стал подходить, и горе... Не могу идти!

— Это правда, что страшно...

— Не боюсь ни волков, ни татей, ни тьмы, а покойников боюсь. Боюсь, да и шабаш! Братцы православные, молю вас коленапреклоненно, проводите меня до деревни!

— Нам не велено от тела отходить.

— Никто не увидит, братцы! Ей же ей, не увидит! Господь вам сторицею воздаст! Борода, проводи, сделай милость! Борода! Что ты всё молчишь?

— Он у нас дурачок... — говорит парень.

— Проводи, друг! Пятачок дам!

— За пятак бы можно. — говорит парень, почесывая затылок, — да не велено... Ежели вот Сема, дурачок-то, один посидит, то провожу. Сема, посидишь тут один?

— Посижу... — соглашается дурачок.

— Ну и ладно. Пойдем!

Парень поднимается и идет с ряской. Через минуту их шаги и говор смолкают. Сема закрывает глаза и тихо дремлет. Костер начинает тухнуть, и на мертвое тело ложится большая черная тень...

## Кошмар

Непременный член по крестьянским делам присутствия Кунин, молодой человек, лет тридцати, вернувшись из Петербурга в свое Борисово, послал первым делом верхового в Синьково за тамошним священником, отцом Яковом Смирновым.

Часов через пять отец Яков явился.

— Очень рад познакомиться! — встретил его в передней Кунин. — Уж год, как живу и служу здесь, пора бы, кажется, быть знакомыми. Милости просим! Но, однако... какой вы молодой! — удивился Кунин. — Сколько вам лет?

— Двадцать восемь-с... — проговорил отец Яков, слабо пожимая протянутую руку и, неизвестно отчего, краснея.

Кунин ввел гостя к себе в кабинет и принялся его рассматривать.

«Какое аляповатое, бабье лицо!» — подумал он.

Действительно, в лице отца Якова было очень много «бабьего»: вздернутый нос, ярко-красные щеки и большие серо-голубые глаза с жидкими, едва заметными бровями. Длинные рыжие волосы, сухие и гладкие, спускались на плечи прямыми палками. Усы еще только начинали формироваться в настоящие, мужские усы, а бородка принадлежала к тому сорту никуда не годных бород, который у семинаристов почему-то называется «скоктанием»: реденькая, сильно просвечивающая; погладить и почесать ее гребнем нельзя, можно разве только пощипать... Вся эта скудная растительность сидела неравномерно, кустиками, словно отец Яков, вздумав загримироваться священником и начав приклеивать бороду, был прерван на половине дела. На нем была ряска, цвета жидкого цикорного кофе, с большими латками на обоих локтях.

«Странный субъект... — подумал Кунин, глядя на его полы, обрызганные грязью. — Приходит в дом первый раз и не может поприличней одеться».

— Садитесь, батюшка, — начал он более развязно, чем приветливо, придвигая к столу кресло. — Садитесь же, прошу вас!

Отец Яков кашлянул в кулак, неловко опустил на край кресла и положил ладони на колени. Малорослый, узкогрудый, с потом и краской на лице, он на первых же порах произвел на Кунина самое неприятное впечатление. Ранее Кунин никак не мог думать, что на Руси есть такие несолидные и жалкие на вид священники, а в позе отца Якова, в этом держании ладоней на коленях и в сидении на краешке, ему виделось отсутствие достоинства и даже подхалимство.

— Я, батюшка, пригласил вас по делу... — начал Кунин, откидываясь на спинку кресла. — На мою долю выпала приятная обязанность помочь вам в одном вашем полезном предприятии... Дело в том, что, вернувшись из Петербурга, я нашел у себя на столе письмо от предводителя. Егор Дмитриевич предлагает мне взять под свое попечительство церковно-приходскую школу, которая открывается у вас в Синькове. Я, батюшка, очень рад, всей душой... Даже больше: я с восторгом принимаю это предложение!

Кунин поднялся и заходил по кабинету.



— Конечно, и Егору Дмитриевичу и, вероятно, вам известно, что большими средствами я не располагаю. Имение мое заложено, и живу я исключительно только на жалование неперменного члена. Стало быть, на большую помощь вы рассчитывать не можете, но что в моих силах, то я всё сделаю... А когда, батюшка, думаете открыть школу?

— Когда будут деньги... — ответил отец Яков.

— Теперь же вы располагаете какими-нибудь средствами?

— Почти никакими-с... Мужики постановили на сходе платить ежегодно по тридцати копеек с каждой мужской души, но ведь это только обещание! А на первое обзаведение нужно, по крайней мере, рублей двести...

— М-да... К сожалению, у меня теперь нет этой суммы... — вздохнул Кунин. — В поездке я весь истратился и... задолжал даже. Давайте общими силами придумаем что-нибудь.

Кунин стал вслух придумывать. Он высказывал свои соображения и следил за лицом отца Якова, ища на нем одобрения или согласия. Но лицо это было бесстрастно, неподвижно и ничего не выражало, кроме застенчивой робости и беспокойства. Глядя на него, можно было подумать, что Кунин говорил о таких мудреных вещах, которых отец Яков не понимал, слушал только из деликатности и притом боялся, чтобы его не уличили в непонимании.

«Малый, как видно, не из очень умных... — думал Кунин. — Не в меру робок и глуповат».

Несколько оживился и даже улыбнулся отец Яков только тогда, когда в кабинет вошел лакей и внес на подносе два стакана чаю и сухарницу с крендельками. Он взял свой стакан и тотчас же принялся пить.

— Не написать ли нам преосвященному? — продолжал соображать вслух Кунин. — Ведь, собственно говоря, не земство, не мы, а высшие духовные власти подняли вопрос о церковно-приходских школах. Они должны, по-настоящему, и средства указать. Мне помнится, я читал, что на этот счет даже была ассигнована сумма какая-то. Вам ничего не известно?

Отец Яков так погрузился в чаепитие, что не сразу ответил на этот вопрос. Он поднял на Кунина свои серо-голубые глаза, подумал и, точно вспомнив его вопрос, отрицательно мотнул головой. По некрасивому лицу его от уха до уха разливалось выражение удовольствия и самого обыденного, прозаического аппетита. Он пил и смаковал каждый глоток. Выпив всё до последней капли, он поставил свой стакан на стол, потом взял назад этот стакан, оглядел его дно и опять поставил. Выражение удовольствия сползло с лица... Далее Кунин видел, как его гость взял из сухарницы один кренделек, откусил от него кусочек, потом повертел в руках и быстро сунул его себе в карман.

«Ну, уж это совсем не по-иерейски! — подумал Кунин, брезгливо пожимая плечами. — Что это, поповская жадность или ребячество?»

Дав гостю выпить еще один стакан чаю и проводив его до передней, Кунин лег на софу и весь отдался неприятному чувству, навеянному на него посещением отца Якова.

«Какой странный, дикий человек! — думал он. — Грязен, неряха, груб, глуп и, наверное, пьяница... Боже мой, и это священник, духовный отец! Это учитель народа! Воображаю, сколько иронии должно быть в голосе дьякона, возглашающего ему перед каждой обедней: «Благослови, владыко!» Хорош владыко! Владыко, не имеющий ни капли достоинства, невоспитанный, прячущий сухари в карманы, как школьник... Фи! Господи, в каком месте были глаза у архиерея, когда он посвящал этого человека? За кого они народ считают, если дают ему таких учителей? Тут нужны люди, которые...»

И Кунин задумался о том, кого должны изображать из себя русские священники...

«Будь, например, я попом... Образованный и любящий свое дело поп много может сделать... У меня давно бы уже была открыта школа. А проповедь? Если поп искренен и вдохновлен любовью к своему делу, то какие чудные, зажигательные проповеди он может говорить!»

Кунин закрыл глаза и стал мысленно слагать проповедь. Немного погодя он сидел за столом и быстро записывал.

«Дам тому рыжему, пусть прочтет в церкви...» — думал он.

В ближайшее воскресенье, утром, Кунин ехал в Синьково покончить с вопросом о школе и кстати познакомиться с церковью, прихожанином которой он считался. Несмотря на распутицу, утро было великолепное. Солнце ярко светило и резало своими лучами кое-где белевшие пласты залежавшегося снега. Снег на прощанье с землей переливал такими алмазами, что больно было глядеть, а около него спешила зеленеть молодая озимь. Грачи солидно носились над землей. Летит грач, опустится к земле и, прежде чем стать прочно на ноги, несколько раз подпрыгнет...

Деревянная церковь, к которой подъехал Кунин, была ветха и сера; колонки у паперти, когда-то выкрашенные в белую краску, теперь совершенно облупились и походили на две некрасивые оглобли. Образ над дверью глядел сплошным темным пятном. Но эта бедность тронула и умилила Кунина. Скромно опустив глаза, он вошел в церковь и остановился у двери. Служба еще только началась. Старый, в дугу согнувшийся дьячок глухим, неразборчивым тенором читал часы. Отец Яков, служивший без дьякона, ходил по церкви и кадил. Если б не смирение, каким проникся Кунин, входя в нищую церковь, то при виде отца Якова он непременно бы улыбнулся. На малорослом иерее была помятая и длинная-предлинная риза из какой-то потертой желтой материи. Нижний край ризы волочился по земле.

Церковь была не полна. Кунина, при взгляде на прихожан, поразило на первых порах одно странное обстоятельство: он увидел только стариков и детей... Где же рабочий возраст? Где юность и мужество? Но, постояв немного и взглядевшись попристальней в старческие лица, Кунин увидел, что молодых он принял за старых. Впрочем, этому маленькому оптическому обману он не придал особого значения.

Внутри церковь была так же ветха и сера, как и снаружи. На иконостасе и на бурых стенах не было ни одного местечка, которого бы не закоптило и не исцарапало время. Окон было много, но общий колорит казался серым, и поэтому в церкви стояли сумерки.

«Кто чист душою, тому хорошо здесь молиться... — думал Кунин. — Как в Риме у св. Петра поражает величие, так здесь трогают эти смирение и простота».

Но молитвенное настроение его рассеялось в дым, когда отец Яков вошел в алтарь и начал обедню. По молодости лет, попав в священники прямо с семинарской скамьи, отец Яков не успел еще усвоить себе определенную манеру служить. Читая, он как будто выбирал, на каком голосе ему остановиться, на высоком теноре или жидком баске; кланялся он неумело, ходил быстро, царские врата открывал и закрывал порывисто... Старый дьячок, очевидно больной и глухой, плохо слышал его возгласы, отчего не обходилось без маленьких недоразумений. Не успеет отец Яков прочесть, что нужно, а уж дьячок поет свое, или же отец Яков давно уже кончил, а старик тянется ухом в сторону алтаря, прислушивается и молчит, пока его не дернут за полу. У старика был глухой, болезненный голос, с одышкой, дрожащий и шепелявый... В довершение неблагоепия, дьячку подтягивал очень маленький мальчик, голова которого едва виднелась из-за перилы клироса. Мальчик пел высоким визгливым дискантом и словно старался не попадать в тон. Кунин постоял немного, послушал и вышел покурить. Он был уже разочарован и почти с неприязнью глядел на серую церковь.

— Жалуются на падение в народе религиозного чувства... — вздохнул он. — Еще бы! Они бы еще больше понасажали сюда таких попов!

Раза три потом входил Кунин в церковь, и всякий раз его сильно потягивало вон на свежий воздух. Дождавшись конца обедни, он отправился к отцу Якову. Дом священника снаружи ничем не отличался от крестьянских изб, только солома на крыше лежала ровнее да на окнах белели занавесочки. Отец Яков ввел Кунина в маленькую светлую комнату с глиняным полом и со стенами, оклеенными дешевыми обоями; несмотря на кое-какие потуги к роскоши, вроде фотографий в рамочках да часов с прицепленными к гире ножницами, обстановка поражала своею скудостью. Глядя на мебель, можно было подумать, что отец Яков ходил по дворам и собирал ее по частям: в одном месте дали ему круглый стол на трех ногах, в другом — табурет, в третьем — стул с сильно загнутой назад спинкой, в четвертом — стул с прямой спинкой, но с вдавленным сиденьем, а в пятом — расщедрились и дали какое-то подобие дивана с плоской спинкой и с решетчатым сиденьем. Это подобие было выкрашено в темно-красный цвет и сильно пахло краской. Кунин сначала хотел сесть на один из стульев, но подумал и сел на табурет.

— Вы это первый раз в нашем храме? — спросил отец Яков, вешая свою шляпу на большой уродливый гвоздик.

— Да, в первый. Вот что, батюшка... Прежде чем мы приступим к делу, угостите меня чаем, а то у меня вся душа высохла.

Отец Яков заморгал глазами, крякнул и пошел за перегородку. Послышалось шущуканье...

«Должно быть, с попадьей... — подумал Кунин. — Интересно бы поглядеть, какая у этого рыжего попадьи...»

Немного погодя отец Яков вышел из-за перегородки красный, потный и, силясь улыбнуться, сел против Кунина на край дивана.

— Сейчас поставят самовар, — сказал он, не глядя на своего гостя.

«Боже мой, они еще самовара не ставили! — ужаснулся про себя Кунин. — Изволь теперь ждатель!»

— Я вам привез, — сказал он, — черновое письмо, которое я написал архиерею. Прочту после чая... Может быть, вы найдете что-нибудь добавить...

— Хорошо-с.

Наступило молчание. Отец Яков пугливо покосился на перегородку, поправил волосы и высморкался.

— Погода чудесная-с... — сказал он.

— Да. Между прочим, интересную я вещь прочел вчера... Вольское земство постановило передать все свои школы духовенству. Это характерно.

Кунин поднялся, зашагал по глиняному полу и начал высказывать свои соображения.

— Это ничего, — говорил он, — лишь бы только духовенство стояло на высоте своего призвания и ясно сознавало свои задачи. К моему несчастью, я знаю священников, которые, по своему развитию и нравственным качествам, не годятся в военные писаря, а не то что в священники. А вы согласитесь, плохой учитель принесет школе гораздо меньше вреда, чем плохой священник.

Кунин взглянул на отца Якова. Тот сидел согнувшись, о чем-то усердно думал и, по-видимому, не слушал гостя.

— Яша, поди-ка сюда! — послышался женский голос из-за перегородки.

Отец Яков встрепенулся и пошел за перегородку. Опять началось шушуканье.

Кунина защемила тоска по чаю.

«Нет, не дождусь я тут чаю! — подумал он, глядя на часы. — Да кажется, тут я не совсем желанный гость. Хозяин не соблаговолил со мной и одного слова сказать, а только сидит да глазами хлопает».

Кунин взялся за шляпу, дождался отца Якова и простился с ним.

«Даром только утро пропало! — злился он дорогой. — Бревно! Пень! Школой он так же интересуется, как я прошлым годом снегом. Нет, не сварю я с ним каши! Ничего у нас с ним не выйдет! Если бы предводитель знал, какой здесь поп, то не спешил бы хлопотать о школе. Надо сперва о хорошем попе позаботиться, а потом уж о школе!»

Кунин теперь почти ненавидел отца Якова. Этот человек, его жалкая, карикатурная фигура, в длинной, помятой ризе, его бабье лицо, манера служить, образ жизни и канцелярская, застенчивая почтительность оскорбляли тот небольшой кусочек религиозного чувства, который оставался еще в груди Кунина и тихо теплился наряду с другими нянюшкиными сказками. А холодность и невнимание, с которыми он встретил искреннее, горячее участие Кунина в его же собственном деле, было трудно вынести самолюбию...

Вечером того же дня Кунин долго ходил по комнатам и думал, потом решительно сел за стол и написал архиерею письмо. Попросив денег для школы и благословения, он, между прочим, искренно, по-сыновьи, изложил свое мнение о синьковском священнике. «Он молод, — написал он, — недостаточно развит, кажется, ведет нетрезвую жизнь и вообще не удовлетворяет тем требованиям, которые веками сложились у русского народа по отношению к его пастырям». Написав это письмо, Кунин легко вздохнул и лег спать с сознанием, что он сделал доброе дело.

В понедельник утром, когда он еще лежал в постели, ему доложили о приходе отца Якова. Вставать ему не хотелось, и он велел сказать, что его нет дома. Во вторник уехал он на съезд и, вернувшись в субботу, узнал от прислуги, что без него ежедневно приходил отец Яков.

«Как, однако, ему мои крендельки понравились!» — подумал Кунин.

В воскресенье, перед вечером, пришел отец Яков. На этот раз не только полы, но даже и шляпа его была обрызгана грязью. Как и в первое свое посещение, он был красен и потен, сел, как и тогда, на краешек кресла. Кунин порешил не начинать разговора о школе, не метать бисера.

— Я вам, Павел Михайлович, списочек учебных пособий принес... — начал отец Яков.

— Благодарю.

Но по всему видно было, что отец Яков не из-за списочка пришел. Вся его фигура выражала сильное смущение, но в то же время на лице была написана решимость, как у человека, внезапно озаренного идеей. Он порывался сказать что-то важное, крайне нужное и силился теперь побороть свою робость.

«Что же он молчит? — злился Кунин. — Расселся тут! Мне ведь некогда возиться с ним!»

Чтобы хоть чем-нибудь сгладить неловкость своего молчания и скрыть борьбу, происходившую в нем, священник начал принужденно улыбаться, и эта улыбка, долгая, вымученная сквозь пот и краску лица, не вязавшаяся с неподвижным взглядом серо-голубых глаз, заставила Кунина отвернуться. Ему стало противно.

— Извините, батюшка, мне нужно ехать... — сказал он.

Отец Яков встрепенулся, как сонный человек, которого ударили, и, не переставая улыбаться, начал в смущении запахивать полы своей рясы. При всем отвращении к этому человеку Кунину вдруг стало жаль его, и он захотел смягчить свою жестокость.

— Прошу, батюшка, в другой раз... — сказал он, — а на прощанье у меня к вам будет просьба... Тут как-то я вдохновился, знаете, и написал две проповеди... Отдаю на ваше рассмотрение... Коли сгодятся, прочтите.

— Хорошо-с... — сказал отец Яков, покрывая ладонью лежавшие на столе проповеди Кунина. — Я возьму-с...

Постояв немного, помявшись и всё еще запахивая рясу, он вдруг перестал принужденно улыбаться и решительно поднял голову.

— Павел Михайлович, — сказал он, видимо стараясь говорить громко и явственно.

— Что прикажете?

— Я слышал, что вы изволили тово... рассчитать своего писаря и... и ищете теперь нового...

— Да... А вы имеете порекомендовать кого-нибудь?

— Я, видите ли... я... Не можете ли вы отдать эту должность... мне?

— Да разве вы бросаете священство? — изумился Кунин.

— Нет, нет, — быстро проговорил отец Яков, почему-то бледнея и дрожа всем телом. — Боже меня сохрани! Ежели сомневаетесь, то не нужно, не нужно. Я ведь это как бы между делом... чтоб дивиденды свои увеличить... Не нужно, не беспокойтесь!

— Гм... дивиденды... Но ведь я плачу писарю только двадцать рублей в месяц!

— Господи, да я и десять взял бы! — прошептал отец Яков, оглядываясь. — И десяти довольно! Вы... вы изумляетесь, и все изумляются. Жадный поп, алчный, куда он деньги деваает? Я и сам это чувствую, что жадный... и казнию себя, осуждаю... людам в глаза глядеть совестно... Вам, Павел Михайлович, я по совести... привожу истинного Бога в свидетели...

Отец Яков перевел дух и продолжал:

— Приготовил я вам дорогой целую исповедь, но... всё забыл, не подберу теперь слов. Я получаю в год с прихода сто пятьдесят рублей, и все... удивляются, куда я эти деньги деваю... Но я вам всё по совести объясню... Сорок рублей в год я за брата Петра в духовное училище взношу. Он там на всем готовом, но бумага и перья мои...

— Ах, верю, верю! Ну, к чему всё это? — замахал рукой Кунин, чувствуя страшную тяжесть от этой откровенности гостя и не зная, куда деваться от слезливого блеска его глаз.

— Потом-с, я еще в консисторию за место свое не всё еще выплатил. За место с меня двести рублей положили, чтоб я по десяти в месяц выплачивал... Судите же теперь, что остается? А ведь, кроме того, я должен выдавать отцу Авраамию, по крайней мере, хоть по три рубля в месяц!

— Какому отцу Авраамию?

— Отцу Авраамию, что до меня в Синькове священником был. Его лишили места за... слабость, а ведь он в Синькове и теперь живет! Куда ему деваться? Кто его кормить станет? Хоть он и стар, но ведь ему и угол, и хлеба, и одежду надо! Не могу я допустить, чтоб он, при своем сане, пошел милостыню просить! Мне ведь грех будет, ежели что! Мне грех! Он... всем задолжал, а ведь мне грех, что я за него не плачу.

Отец Яков рванулся с места и, безумно глядя на пол, зашагал из угла в угол.

— Боже мой! Боже мой! — забормотал он, то поднимая руки, то опуская. — Спаси нас, Господи, и помилуй! И зачем было такой сан на себя принимать, ежели ты малOVER и сил у тебя нет? Нет конца моему отчаянию! Спаси, Царица Небесная.

— Успокойтесь, батюшка! — сказал Кунин.

— Замучил голод, Павел Михайлович! — продолжал отец Яков. — Извините великодушно, но нет уже сил моих... Я знаю, попроси я, поклонись, и всякий поможет, но... не могу! Совестно мне! Как я стану у мужиков просить? Вы служите тут и сами видите... Какая рука подымеется просить у нищего? А просить у кого побогаче, у помещиков, не могу! Гордость! Совестно!

Отец Яков махнул рукой и нервно зачесал обеими руками голову.

— Совестно! Боже, как совестно! Не могу, гордец, чтоб люди мою бедность видели! Когда вы меня посетили, то ведь чаю вовсе не было, Павел Михайлович! Ни соринки его не было, а ведь открыться перед вами гордость помешала! Стыжусь своей одеждой, вот этих латок... риз своих стыжусь, голода... А прилична ли гордость священнику?

Отец Яков остановился посреди кабинета и, словно не замечая присутствия Кунина, стал рассуждать с самим собой.

— Ну, положим, я снесу и голод, и срам, но ведь у меня, господи, еще попадья есть! Ведь я ее из хорошего дома взял! Она белоручка и нежная, привыкла и к чаю, и к белой булке, и к простыням... Она у родителей на фортепьянах играла... Молодая, еще и двадцати лет нет... Хочется небось и нарядиться, и пошалить, и в гости съездить... А она у меня... хуже кухарки всякой, стыдно на улицу показать. Боже мой, Боже мой! Только и утехи у нее, что принесу из гостей яблочек или какой кренделечек...

Отец Яков опять обеими руками зачесал голову.

— И выходит у нас не любовь, а жалость... Не могу видеть ее без сострадания! И что оно такое, Господи, делается на свете. Такое делается, что если в газеты написать, то не поверят люди... И когда всему этому конец будет!

— Полноте, батюшка! — почти крикнул Кунин, пугаясь его тона. — Зачем так мрачно смотреть на жизнь?

— Извините великодушно, Павел Михайлович... — забормотал отец Яков, как пьяный. — Извините, всё это... пустое, и вы не обращайтесь... А только я себя виню и буду винить... Буду!

Отец Яков оглянулся и зашептал:

— Как-то рано утром иду я из Синькова в Лучково; гляжу, а на берегу стоит какая-то женщина и что-то делает... Подхожу ближе и глазам своим не верю... Ужас! Сидит жена доктора, Ивана Сергеича, и белье полощет... Докторша, в институте кончила! Значит, чтоб люди не видели, норвила пораньше встать и за версту от деревни уйти... Неодолимая гордость! Как увидела, что я около нее и бедность ее заметил, покраснела вся... Я оторопел, испугался, подбежал к ней, хочу помочь ей, а она белье от меня прячет, боится, чтоб я ее рваных сорочек не увидел...

— Всё это как-то даже невероятно... — сказал Кунин, садясь и почти с ужасом глядя на бледное лицо отца Якова.

— Именно, невероятно! Никогда, Павел Михайлович, этого не было, чтоб докторши на реке белье полощали! Ни в каких странах этого нет! Мне бы, как пастырю и отцу духовному, не допускать бы ее до этого, но что я могу сделать? Что? Сам же еще норвлю у ее мужа даром лечиться! Верно вы изволили определить, что всё это невероятно! Глазам не верится! Во время

обедни, знаете, выглянешь из алтаря, да как увидишь свою публику, голодного Авраамия и попадьё, да как вспомнишь про докторшу, как у нее от холодной воды руки посинели, то, верите ли, забудеешься и стоишь, как дурак, в бесчувствии, пока пономарь не окликнет... Ужас!

Отец Яков опять заходил.

— Господи Иисусе! — замахал он руками. — Святые угодники! И служить даже не могу... Вы вот про школу мне говорите, а я, как истукан, ничего не понимаю и только об еде думаю... Даже перед престолом... Впрочем... что же это я? — спохватился отец Яков. — Вам уезжать нужно. Простите-с, я ведь это так... извините...

Кунин молча пожал руку отца Якова, проводил его до передней и, вернувшись в свой кабинет, остановился перед окном. Он видел, как отец Яков вышел из дому, нахлобучил на голову свою широкополую ржавую шляпу и тихо, понуриив голову, точно стыдясь своей откровенности, пошел по дороге.

«А его лошади не видно», — подумал Кунин.

Помыслить, что священник все эти дни ходил к нему пешком, Кунин боялся: до Синькова было семь-восемь верст, а грязь на дороге стояла невылазная. Далее Кунин видел, как кучер Андрей и мальчик Парамон, прыгая через лужи и обрызгивая отца Якова грязью, подбежали к нему под благословение. Отец Яков снял шляпу и медленно благословил Андрея, потом благословил и погладил по голове мальчика.

Кунин провел рукой по глазам, и ему показалось, что рука его от этого стала мокрой. Он отошел от окна и мутными глазами обвел комнату, в которой ему еще слышался робкий, придушенный голос... Он взглянул на стол... К счастью, отец Яков забыл второпях взять с собой его проповеди... Кунин подскочил к ним, изорвал их в клочки и с отвращением швырнул под стол.

— И я не знал! — простонал он, падая на софу. — Я, который уже более года служу здесь непременным членом, почетным мировым судьей, членом училищного совета! Слепая кукла, фат! Скорей к ним на помощь! Скорей!

Он мучительно ворочался, стискивал виски и напрягал свой ум.

— Получу 20-го числа жалованья 200 рублей... Под благовидным предлогом суну и ему и докторше... Его позову молебен служить, а для доктора фиктивно заболею... Таким образом, не оскорблю их гордости. И Авраамию помогу...

Он рассчитывал по пальцам свои деньги и боялся себе сознаться, что этих двухсот рублей едва хватит ему, чтобы заплатить управляющему, прислуге, тому мужику, который привозит мясо... Поневоле пришлось вспомнить то недалекое прошлое, когда неразумно проживалось отцовское добро, когда, будучи еще двадцатилетним молокососом, он дарил проституткам дорогие веера, платил извозчику Кузьме по десяти рублей в день, подносил из тщеславия актрисам подарки. Ах, как бы пригодились теперь все эти разбросанные рубли, трехрублевики, десятки!

«Отец Авраамий проедает в месяц только три рубля, — думал Кунин. — За рубль попадьё может себе сорочку сшить, а докторша прачку нанять. Но я все-таки помогу! Обязательно помогу!»

Тут вдруг Кунин вспомнил донос, который написал он архиерею, и его всего скорчило, как от невзначай налетевшего холода. Это воспоминание наполнило всю его душу чувством гнетущего стыда перед самим собой и перед невидимой правдой...

Так началась и завершилась искренняя потуга к полезной деятельности одного из благонамеренных, но чересчур сытых и не рассуждающих людей.

# Тоска

*Кому повем печаль мою?.*

П. Бессонов.

Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажжённых фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнётся. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашёл нужным стряхивать с себя снег... Его лошадёнка тоже бела и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать...

Иона и его лошадёнка не двигаются с места уже давно. Выхали они со двора ещё до обеда, а почина всё нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает своё место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее.

— Извозчик, на Выборгскую! — слышит Иона.— Извозчик!

Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном.

— На Выборгскую! — повторяет военный.— Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!

В знак согласия Иона дёргает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега... Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошадёнка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места...

— Куда прёшь, леший! — на первых же порах слышит Иона возгласы из тёмной, движущейся взад и вперёд массы.— Куда черти несут? Прправа держи!

— Ты ездить не умеешь! Права держи! — сердится военный.

Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебежавший дорогу и налетевший плечом на морду лошадёнки. Иона ёрзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь.

— Какие все подлецы! — острит военный.— Так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились.

Иона оглядывается на седока и шевелит губами... Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипенья.

— Что? — спрашивает военный.

Иона кривит улыбкой рот, напрягает своё горло и сипит:

— А у меня, барин, тово... сын на этой неделе помер.

— Гм!.. Отчего же он умер?

Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:

— А кто ж его знает! Должно, от горячки... Три дня полежал в больнице и помер... Божья

воля.



— Сворачивай, дьявол! — раздаётся в потёмках.— Пovýлазило, что ли, старый пёс? Гляди глазами!

— Поезжай, поезжай...— говорит седок.— Этак мы и до завтра не доедем. Подгони-ка!

Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжёлой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнётся... Мокрый снег опять красит набело его и лошадёнку. Проходит час, другой...

По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат.

— Извозчик, к Полицейскому мосту! — кричит дребезжащим голосом горбач.— Трoих... двугривенный!

Иона дёргает вожжами и чмокает. Двугривенный цена не сходная, но ему не до цены... Что рубль, что пятак — для него теперь всё равно, были бы только седоки... Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса: кому двум сидеть, а кому третьему стоять? После долгой перебранки, капризничанья и попреков приходят к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький.

— Ну, погоняй! — дребезжит горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Ионы.— Лупи! Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всём Петербурге не найти...

— Гы-ы... гы-ы...— хохочет Иона.— Какая есть...

— Ну ты, какая есть, погоняй! Этак ты всю дорогу будешь ехать? Да? А по шее?..

— Голова трещит...— говорит один из длинных.— Вчера у Дукмасовых мы вдвоём с Васькой четыре бутылки коньяку выпили.

— Не понимаю, зачем врать! — сердится другой длинный.— Врёт, как скотина.

— Накажи меня Бог, правда...

— Это такая же правда, как то, что вошь кашляет.

— Гы-ы! — ухмыляется Иона.— Ве-есёлые господа!

— Тьфу, чтоб тебя черти!..— возмущается горбач.— Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? Хлобысни-ка её кнутом! Но, чёрт! Но! Хорошенько её!

Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь горбача. Он слышит обращённую к нему ругань, видит людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди. Горбач бранится до тех пор, пока не давится вычурным, шестиэтажным ругательством и не раздражается кашлем. Длинные начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. Иона оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается ещё раз и бормочет:

— А у меня на этой неделе... тово... сын помер!

— Все помрём...— вздыхает горбач, вытирая после кашля губы.— Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу дальше так ехать! Когда он нас доведёт?

— А ты его легонечко подбодри... в шею!

— Старая холера, слышишь? Ведь шею накостьляю!.. С вашим братом церемониться, так пешком ходить!.. Ты слышишь, Змей Горыныч? Или тебе плевать на наши слова?

И Иона больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыльника.

— Гы-ы... — смеётся он. — Весёлые господа... дай Бог здоровья!

— Извозчик, ты женат? — спрашивает длинный.

— Я-то? Гы-ы... ве-есёлые господа! Таперь у меня одна жена — сырая земля... Хи-хо-хо... Могила, то есть!.. Сын-то вот помер, а я жив... Чудное дело, смерть дверью обозналась... Вместо того, чтоб ко мне идтить, она к сыну...

И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава Богу, они, наконец, приехали. Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в тёмном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина... Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь ещё с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдётся ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски... Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из неё тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но, тем не менее, её не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что её не увидишь днём с огнём...

Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним.

— Милый, который теперь час будет? — спрашивает он.

— Десятый... Чего же стал здесь? Проезжай!

Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдаётся тоске... Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дёргает вожжи... Ему немоготу.

«Ко двору, — думает он. — Ко двору!»

И лошадёнка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Спустя часа полтора, Иона сидит уже около большой грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе «спираль» и духота... Иона глядит на спящих, почёсывается и жалеет, что так рано вернулся домой...

«И на овёс не выездил, — думает он. — Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий своё дело... который и сам сыт, и лошадь сыта, завсегда покоен...»

В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крикает и тянется к ведру с водой.

— Пить захотел? — спрашивает Иона.

— Стало быть, пить!

— Так... На здоровье... А у меня, брат, сын помер... Слыхал? На этой неделе в больнице...

История!

Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется... Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он ещё путём не говорил ни с кем... Нужно поговорить с толком, с расстановкой... Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер... Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисья... И про неё нужно поговорить... Да мало ли о чём он может теперь поговорить? Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать... А с бабами говорить ещё лучше. Те хоть и дуры, но режут от двух слов.

«Пойти лошадь поглядеть, — думает Иона. — Спать всегда успеешь... Небось, выспишься...»

Он одевается и идёт в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, сене, о погоде... Про сына, когда один, думать он не может... Поговорить с кем-нибудь о нём можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко...

— Жүёшь? — спрашивает Иона свою лошадь, видя её блестящие глаза.— Ну, жүй, жүй... Коли на овёс не выездили, сено есть будем... Да... Стар уж стал я ездить... Сыну бы ездить, а не мне... То настоящий извозчик был... Жить бы только...

Иона молчит некоторое время и продолжает:

— Так-то, брат кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча... Приказал долго жить... Взял и помер зря... Таперя, скажем, у тебя жеребёночек, и ты этому жеребёночку родная мать... И вдруг, скажем, этот самый жеребёночек приказал долго жить... Ведь жалко?

Лошадёнка жүйёт, слушает и дышит на руки своего хозяина...

Иона увлекается и рассказывает ей всё...

## Письмо

Благочинный о. Федор Орлов, благообразный, хорошо упитанный мужчина, лет пятидесяти, как всегда важный и строгий, с привычным, никогда не сходящим с лица выражением достоинства, но до крайности утомленный, ходил из угла в угол по своей маленькой зале и напряженно думал об одном: когда, наконец, уйдет его гость? Эта мысль томила и не оставляла его ни на минуту. Гость отец Анастасий, священник одного из подгородних сел, часа три тому назад пришел к нему по своему делу, очень неприятному и скучному, засиделся и теперь, положив локоть на толстую счетную книгу, сидел в углу за круглым столиком и, по-видимому, не думал уходить, хотя уже был девятый час вечера.

Не всякий умеет вовремя замолчать и вовремя уйти. Нередко случается, что даже светски воспитанные, политичные люди не замечают, как их присутствие возбуждает в утомленном или занятом хозяине чувство, похожее на ненависть, и как это чувство напряженно прячется и покрывается ложью. Отец же Анастасий отлично видел и понимал, что его присутствие тягостно и неуместно, что благочинный, служивший ночью утреню, а в полдень длинную обедню, утомлен и хочет покоя; каждую минуту он собирался подняться и уйти, но не поднимался, сидел и как будто ждал чего-то. Это был старик 65-ти лет, дряхлый не по летам, костлявый и сутуловатый, с старчески темным, исхудалым лицом, с красными веками и длинной, узкой, как у рыбы, спиной; одет он был в щегольскую светло-лиловую, но слишком просторную для него рясу (подаренную ему вдовою одного недавно умершего молодого священника), в суконный кафтан с широким кожаным поясом и в неуклюжие сапоги, размер и цвет которых ясно показывал, что о. Анастасий обходился без калош. Несмотря на сан и почтенные годы, что-то жалкенькое, забитое и униженное выражали его красные, мутноватые глаза, седые с зеленым отливом косички на затылке, большие лопатки на тощей спине... Он молчал, не двигался и кашлял с такою осторожностью, как будто боялся, чтобы от звуков кашля его присутствие не стало заметнее.

У благочинного старик бывал по делу. Месяца два назад ему запретили служить впредь до разрешения и назначили над ним следствие. Грехов за ним числилось много. Он вел нетрезвую жизнь, не ладил с причтом и с миром, небрежно вел метрические записи и отчетность — в этом его обвиняли формально, но, кроме того, еще с давних пор носились слухи, что он венчал за деньги недозволенные браки и продавал приезжавшим к нему из города чиновникам и офицерам свидетельства о говении. Эти слухи держались тем упорнее, что он был беден и имел девять человек

детей, живших на его шее и таких же неудачников, как и он сам. Сыновья были необразованны, избалованы и сидели без дела, а некрасивые дочери не выходили замуж.

Не имея силы быть откровенным, благочинный ходил из угла в угол, молчал или же говорил намеками.

— Значит, вы нынче не поедете к себе домой? — спросил он, останавливаясь около темного окна и просовывая мизинец к спящей, надувшейся канарейке.

О. Анастасий встрепенулся, осторожно кашлянул и сказал скороговоркой:

— Домой? Бог с ним, не поеду, Федор Ильич. Сами знаете, служить мне нельзя, так что же я там буду делать? Нарочито я уехал, чтоб людям в глаза не глядеть. Сами знаете, совестно не служить. Да и дело тут мне есть, Федор Ильич. Хочу завтра после разговенья с отцом следователем обстоятельно поговорить.

— Так... — зевнул благочинный. — А вы где остановились?

— У Зявкина.

О. Анастасий вдруг вспомнил, что часа через два благочинному предстоит служить пасхальную утреню, и ему стало так стыдно своего неприятного, стесняющего присутствия, что он решил немедленно уйти и дать утомленному человеку покой. И старик поднялся, чтобы уйти, но прежде чем начать прощаться, он минуту откашливался и пытливо, всё с тем же выражением неопределенного ожидания во всей фигуре, глядел на спину благочинного; на лице его заиграли стыд, робость и жалкий, принужденный смех, каким смеются люди, не уважающие себя. Как-то решительно махнув рукой, он сказал с сиплым дребезжащим смехом:

— Отец Федор, продлите вашу милость до конца, велите на прощанье дать мне... рюмочку водочки!

— Не время теперь пить водку. — строго сказал благочинный. — Стыд надо иметь.

Отец Анастасий еще больше сконфузился, засмеялся и, забыв про свое решение уходить домой, опустился на стул. Благочинный взглянул на его растерянное, сконфуженное лицо, на согнутое тело, и ему стало жаль старика.

— Бог даст завтра выпьем, — сказал он, желая смягчить свой строгий отказ. — Всё хорошо вовремя.

Благочинный верил в исправление людей, но теперь, когда в нем разгоралось чувство жалости, ему стало казаться, что этот подследственный, испитой, опутанный грехами и немощами старик погиб для жизни безвозвратно, что на земле нет уже силы, которая могла бы разогнуть его спину, дать взгляду ясность, задержать неприятный, робкий смех, каким он нарочно смеялся, чтобы сгладить хотя немного производимое им на людей отталкивающее впечатление.

Старик казался уже о. Федору не виновным и не порочным, а униженным, оскорбленным, несчастным; вспомнил благочинный его попадью, девять человек детей, грязные нищенские полаты у Зявкина, вспомнил почему-то тех людей, которые рады видеть пьяных священников и уличаемых начальников, и подумал, что самое лучшее, что мог бы сделать теперь о. Анастасий, это — как можно скорее умереть, навсегда уйти с этого света.

Послышались шаги.

— О. Федор, вы не отдыхаете? — спросил из передней бас.

— Нет, дьякон, войди.

В залу вошел сослуживец Орлова, дьякон Любимов, человек старый, с плешью во всё темя, но еще крепкий, черноволосый и с густыми, черными, как у грузина, бровями. Он поклонился Анастасию и сел.

— Что скажешь хорошего? — спросил благочинный.

— Да что хорошего? — ответил дьякон и, помолчав немного, продолжал с улыбкой: — Малые дети — малое горе, большие дети — большое горе. Тут такая история, о Федор, что никак не опомнюсь. Комедия, да и только.

Он еще немного помолчал, улыбнулся шире и сказал:

— Нынче Николай Матвеич из Харькова вернулся. Про моего Петра мне рассказывал. Был, говорит, у него раза два.

— Что же он тебе рассказывал?

— Встревожил, Бог с ним. Хотел меня порадовать, а как я раздумался, то выходит, что мало тут радости. Скорбеть надо, а не радоваться... «Твой, говорит, Петрушка шибко живет, рукой, говорит, до него теперь не достанешь». Ну, и слава Богу, говорю. «Я, говорит, у него обедал и весь образ его жизни видел. Живет, говорит, благородно, лучше и не надо». Мне, известно, любопытно, я и спрашиваю: а что за обедом у него подавали? «Сначала, говорит, рыбное, словно как бы на манер ухи, потом язык с горошком, а потом, говорит, индейку жареную». Это в пост-то индейку? Хороша, говорю, радость. В великий пост-то индейку? А?

— Удивительного мало. — сказал благочинный, насмешливо щуря глаза.

И заложив большие пальцы обеих рук за пояс, он выпрямился и сказал тоном, каким говорил обыкновенно проповеди или объяснял ученикам в уездном училище закон божий:

— Люди, не соблюдающие постов, делятся на две различные категории: одни не исполняют по легкомыслию, другие же по неверию. Твой Петр не исполняет по неверию. Да.

Дьякон робко поглядел на строгое лицо о. Федора и сказал:

— Дальше — больше... Поговорили, потолковали, то да се, и оказывается еще, что мой неверяка-сын с какой-то маламой живет, с чужой женой. Она у него на квартире заместо жены и хозяйки, чай разливает, гостей принимает и остальное прочее, как венчаная. Уже третий год, как с этой гадюкой хороводится. Комедия, да и только. Три года живут, а детей нету.

— Стало быть, в целомудрии живут! — захихикал о. Анастасий, сипло кашляя. — Есть дети, отец дьякон, есть, да дома не держат! В вошпитательные приюты отсылают! Хе, хе, хе... (Анастасий закашлялся.)

— Не суйтесь, о. Анастасий, — строго сказал благочинный.

— Николай Матвеич и спрашивает его: какая это такая у вас мадама за столом суп разливает? — продолжал дьякон, мрачно оглядывая согнутое тело Анастасия. — А он ему: это, говорит, моя жена. А тот и спроси: «Давно ли изволили венчаться?» Петр и отвечает: мы венчались в кондитерской Куликова.

Глаза благочинного гневно вспыхнули, и на висках выступила краска. Помимо своей греховности, Петр был ему несимпатичен как человек вообще. О. Федор имел против него, что называется, зуб. Он помнил его еще мальчиком-гимназистом, помнил отчетливо, потому что и тогда еще он казался ему ненормальным. Петруша-гимназист стыдился помогать в алтаре, обижался, когда говорили ему «ты», входя в комнаты, не крестился и, что памятнее всего, любил много и горячо говорить, а, по мнению о. Федора, многословие детям неприлично и вредно; кроме того, Петруша

презрительно и критически относился к рыбной ловле, до которой благочинный и дьякон были большие охотники. Студент же Петр вовсе не ходил в церковь, спал до полудня, смотрел свысока на людей и с каким-то особенным задором любил поднимать щекотливые, неразрешимые вопросы.

— Что же ты хочешь? — спросил благочинный, подходя к дьякону и сердито глядя на него. — Что же ты хочешь? Этого следовало ожидать! Я всегда знал и был уверен, что из твоего Петра ничего путного не выйдет! Говорил я тебе и говорю. Что посеял, то и пожинай теперь! Пожинай!

— Да что же я посеял, о. Федор? — тихо спросил дьякон, глядя снизу вверх на благочинного.

— А кто же виноват, как не ты? Ты родитель, твое чадо! Ты должен был наставлять, внушать страх Божий. Учить надо! Родить-то вы родите, а наставлять не наставляете. Это грех! Нехорошо! Стыдно!

Благочинный забыл про свое утомление, шагал и продолжал говорить. На голом темени и на лбу дьякона выступили мелкие капли. Он поднял виноватые глаза на благочинного и сказал:

— Да разве я не наставлял, о. Федор? Господи помилуй, разве я не отец своему дитю? Сами вы знаете, я для него ничего не жалел, всю жизнь старался и бога молил, чтоб ему настоящее образование дать. Он у меня и в гимназии был, и репетиторов я ему нанимал, и в университете он кончил. А что ежели я его ум направить не мог, о. Федор, так ведь, судите сами, на это у меня способности нет! Бывало, когда он студентом сюда приезжал, я начну ему по-своему внушать, а он не слушает. Скажешь ему: «ходи в церковь», а он: «зачем ходить?» Станешь ему объяснять, а он: «почему? зачем?» Или похлопает меня по плечу и скажет: «Всё на этом свете относительно, приблизительно и условно. Ни я ничего не знаю, ни вы ничесоже не знаете, папаша».

О. Анастасий сипло рассмеялся, закашлялся и шевельнул в воздухе пальцами, как бы собираясь что-то сказать. Благочинный взглянул на него и сказал строго:

— Не суйтесь, о. Анастасий.

Старик смеялся, сиял и, видимо, с удовольствием слушал дьякона, точно рад был, что на этом свете и кроме него есть еще грешные люди. Дьякон говорил искренно, с сокрушенным сердцем, и даже слезы выступили у него на глазах. О. Федору стало жаль его.

— Виноват ты, дьякон, виноват, — сказал он, но уже не так строго и горячо. — Умел родить, умей и наставить. Надо было еще в детстве его наставлять, а студента поди-ка исправь!

Наступило молчание. Дьякон всплеснул руками и сказал со вздохом:

— А ведь мне же за него отвечать придется!

— То-то вот оно и есть!

Помолчав немного, благочинный и зевнул и вздохнул в одно и то же время, и спросил:

— Кто «Деяния» читает?

— Евстрат. Всегда Евстрат читает.

Дьякон поднялся и, умоляюще глядя на благочинного, спросил:

— О. Федор, что же мне теперь делать?

— Что хочешь, то и делай. Не я отец, а ты. Тебе лучше знать.

— Ничего я не знаю, о. Федор! Научите меня, сделайте милость! Верите ли, душа истомилась! Теперь я ни спать не могу, ни сидеть спокойно, и праздник мне не в праздник. Научите, о. Федор!

— Напиши ему письмо.

— Что же я ему писать буду?

— А напиши, что так нельзя. Кратко напиши, но строго и обстоятельно, не смягчая и не умаляя его вины. Это твоя родительская обязанность. Напишешь, исполнишь свой долг и успокоишься.

— Это верно, но что же я ему напишу? В каких смыслах? Я ему напишу, а он мне в ответ: «почему? зачем? почему это грех?»

О. Анастасий опять сипло засмеялся и шевельнул пальцами.

— Почему? Зачем? Почему это грех? — визгливо заговорил он. — Исповедую я раз одного господина и говорю ему, что излишнее упование на милосердие Божие есть грех, а он спрашивает: почему? Хочу ему ответить, а тут, — Анастасий хлопнул себя по лбу, — а тут-то у меня и нету! Хи-и-хе-хе-хе...

Слова Анастасия, его сиплый дребезжащий смех над тем, что не смешно, действовали на благочинного и дьякона неприятно. Благочинный хотел было сказать старику «не суйтесь», но не сказал, а только поморщился.

— Не могу я ему писать! — вздохнул дьякон.

— Ты не можешь, так кто же может?

— О. Федор! — сказал дьякон, склоняя голову набок и прижимая руку к сердцу. — Я человек необразованный, слабоумный, вас же господь наделил разумом и мудростью. Вы всё знаете и понимаете, до всего умом доходите, я же путем слова сказать не умею. Будьте великодушны, наставьте меня в рассуждении письма! Научите, как его и что...

— Что ж тут учить? Учить нечему. Сел да написал.

— Нет, уж сделайте милость, отец настоятель! Молю вас. Я знаю, вашего письма он убоится и послушается, потому ведь вы тоже образованный. Будьте такие добрые! Я сяду, а вы мне подиктуйте. Завтра писать грех, а нынче бы самое в пору, я бы и успокоился.

Благочинный поглядел на умоляющее лицо дьякона, вспомнил несимпатичного Петра и согласился диктовать. Он усадил дьякона за свой стол и начал:

— Ну, пиши... Христос воскрес, любезный сын... знак восклицания. Дошли до меня, твоего отца, слухи... далее в скобках... а из какого источника, тебя это не касается... скобка... Написал?... что ты ведешь жизнь несообразную ни с божескими, ни с человеческими законами. Ни комфортабельность, ни светское великолепие, ни образованность, коими ты наружно прикрываешься, не могут скрыть твоего языческого вида. Именем ты христианин, но по сущности своей язычник, столь же жалкий и несчастный, как и все прочие язычники, даже еще жалчее, ибо: те язычники, не зная Христа, погибают от неведения, ты же погибаешь оттого, что обладаешь сокровищем, но небрежешь им. Не стану перечислять здесь твоих пороков, кои тебе достаточно известны, скажу только, что причину твоей гибели вижу я в твоем неверии. Ты мнишь себя мудрым быти, похваляешься знанием наук, а того не хочешь понять, что наука без веры не только не возвышает человека, но даже низводит его на степень низменного животного, ибо...

Всё письмо было в таком роде. Кончив писать, дьякон прочел его вслух, просиял и вскочил.

— Дар, истинно дар! — сказал он, восторженно глядя на благочинного и всплескивая руками. — Пошлет же господь такое дарование! А? Мать Царица! Во сто лет бы, кажется, такого письма не сочинил! Спаси вас Босподи!

О. Анастасий тоже пришел в восторг.

— Без дара так не напишешь! — сказал он, вставая и шевеля пальцами. — Не напишешь! Тут такая риторика, что любому философу можно запятую поставить и в нос ткнуть. Ум! Светлый ум! Не женились бы, о. Федор, давно бы вы в архиереях были, истинно, были бы!

Излив свой гнев в письме, благочинный почувствовал облегчение. К нему вернулись и утомление и разбитость. Дьякон был свой человек, и благочинный не постеснился сказать ему:

— Ну, дьякон, ступай с Богом. Я с полчаса на диване подремлю, отдохнуть надо.

Дьякон ушел и увел с собою Анастасия. Как всегда бывает накануне Светлого дня, на улице было темно, но всё небо сверкало яркими, лучистыми звездами.

В тихом, неподвижном воздухе пахло весной и праздником.

— Сколько времени он диктовал? — изумлялся дьякон. — Минут десять, не больше! Другой бы и в месяц такого письма не сочинил. А? Вот ум! Такой ум, что я и сказать не умею! Удивление! Истинно, удивление!

— Образование! — вздохнул Анастасий, при переходе через грязную улицу поднимая до пояса полы своей рясы. — Не нам с ним равняться. Мы из дьячков, а ведь он науки проходил. Да. Настоящий человек, что и говорить.

— А вы послушайте, как он нынче в обедне Евангелие будет читать по-латынски! И по-латынски он знает, и по-гречески знает... А Петруха, Петруха! — вдруг вспомнил дьякон. — Ну, теперь он поче-ешется! Закусит язык! Будет помнить кузькину мать! Теперь уже не спросит: почему? Вот уж именно дока на доку наскочил! Ха-ха-ха!

Дьякон весело и громко рассмеялся. После того как письмо к Петру было написано, он повеселел и успокоился. Сознание исполненного родительского долга и вера в силу письма вернули к нему и его смешливость и добродушие.

— Петр в переводе значит камень, — говорил он, подходя к своему дому. — Мой же Петр не камень, а тряпка. Гадюка на него насела, а он с ней нянчится, спихнуть ее не может. Тьфу! Есть же, прости господи, такие женщины! А? Где ж в ней стыд? Насела на парня, прилипла и около юбки держит... к шутам ее на пасеку!

— А может, не она его держит, а он ее?

— Все-таки, значит, в ней стыда нет! А Петра я не защищаю... Ему достанется... Прочтет письмо и почешет затылок! Сгорит со стыда!

— Письмо славное, но только того... не посылать бы его, отец дьякон. Бог с ним!

— А что? — испугался дьякон.

— Да так! Не посылай, дьякон! Что толку? Ну, ты пошлешь, он прочтет, а... а дальше что? Встревожишь только. Прости, Бог с ним!

Дьякон удивленно поглядел на темное лицо Анастасия, на его распахнувшуюся рясу, похожую в потемках на крылья, и пожал плечами.

— Как же так прощать? — спросил он. — Ведь я же за него Богу отвечать буду!

— Хоть и так, а всё же прости. Право! А Бог за твою доброту и тебя простит.

— Да ведь он мне сын? Должен я его учить или нет?

— Учить? Отчего не учить? Учить можно, а только зачем язычником обзывать? Ведь ему, дьякон, обидно...



Дьякон был вдов и жил в маленьком, трехкоконном домике. Хозяйством у него заведовала его старшая сестра, девушка, года три тому назад лишившаяся ног и потому не сходявшая с постели; он ее боялся, слушался и ничего не делал без ее советов. О. Анастасий зашел к нему. Увидев у него стол, уже покрытый куличами и красными яйцами, он почему-то, вероятно вспомнив про свой дом, заплакал и, чтобы обратить эти слезы в шутку, тотчас же сипло засмеялся.

— Да, скоро разговляться, — сказал он. — Да... Оно бы, дьякон, и сейчас не мешало... рюмочку выпить. Можно? Я так выпью, — зашептал он, косясь на дверь, — что старушка... не услышит... ни-ни...

Дьякон молча пододвинул к нему графин и рюмку, развернул письмо и стал читать вслух. И теперь письмо ему так же понравилось, как и в то время, когда благочинный диктовал его. Он просиял от удовольствия и, точно попробовав что-то очень сладкое, покрутил головой.

— Ну, письмо-о! — сказал он. — И не снилось Петрухе такое письмо. Такое вот и надо ему, чтоб в жар его бросило... во!

— Знаешь, дьякон? Не посылай! — сказал Анастасий, наливая как бы в забывчивости вторую рюмку. — Прости, Бог с ним! Я тебе... вам по совести. Ежели отец родной его не простит, то кто ж его простит? Так и будет, значит, без прощения жить? А ты, дьякон, рассуди: наказующие и без тебя найдутся, а ты бы для родного сына милующих поискал! Я... я, братушка, выпью... Последняя... Прямо так возьми и напиши ему: прощаю тебя, Петр! Он пойме-ет! Почувствует! Я, брат... я, дьякон, по себе это понимаю. Когда жил как люди, и горя мне было мало, а теперь, когда образ и подобие потерял, только одного и хочу, чтоб меня добрые люди простили. Да и то рассуди, не праведников прощать надо, а грешников. Для чего тебе старушку твою прощать, ежели она не грешная? Нет, ты такого прости, на которого глядеть жалко... да!

Анастасий подпер голову кулаком и задумался.

— Беда, дьякон, — вздохнул он, видимо борясь с желанием выпить. — Беда! Во гресех роди мя мати моя, во гресех жил, во гресех и помру... Господи, прости меня грешного! Запутался я, дьякон! Нет мне спасения! И не то, чтобы в жизни запутался, а в самой старости перед смертью... Я...

Старик махнул рукой и еще выпил, потом встал и пересел на другое место. Дьякон, не выпуская из рук письма, заходил из угла в угол. Он думал о своем сыне. Недовольство, скорбь и страх уже не беспокоили его: всё это ушло в письмо. Теперь он только воображал себе Петра, рисовал его лицо, вспоминал прошлые годы, когда сын приезжал гостить на праздники. Думалось одно лишь хорошее, теплое, грустное, о чем можно думать, не утомляясь, хоть всю жизнь. Скучая по сыне, он еще раз прочел письмо и вопросительно поглядел на Анастасия.

— Не посылай! — сказал тот, махнув кистью руки.

— Нет, все-таки... надо. Все-таки оно его того... немножко на ум наставит. Не лишнее...

Дьякон достал из стола конверт, но прежде чем вложить в него письмо, сел за стол, улыбнулся и прибавил от себя внизу письма: «А к нам нового штатного смотрителя прислали. Этот пошустрей прежнего. И плясун, и говорун, и на все руки, так что говоровские дочки от него без ума. Воинскому начальнику Костыреву тоже, говорят, скоро отставка. Пора!» И очень довольный, не понимая, что этой припиской он вконец испортил строгое письмо, дьякон написал адрес и положил письмо на самое видное место стола.

## Казак

Арендатор хутора Низы Максим Торчаков, бердянский мешанин, ехал со своей молодой женой из церкви и вез только что освещенный кулич. Солнце еще не всходило, но восток уже румянился, золотился. Было тихо... Перепел кричал свои "пить пойдем! пить пойдем!", да далеко над курганчиком носился коршун, и больше во всей степи не было заметно ни одного живого существа.

Торчаков ехал и думал о том, что нет лучше и веселее праздника, как Христово воскресенье. Женат он был недавно и теперь справлял с женой первую пасху. На что бы он ни взглянул, о чем бы ни подумал, все представлялось ему светлым, радостным и счастливым. Думал он о своем хозяйстве и находил, что все у него исправно, домашнее убранство такое, что лучше и не надо, всего довольно и все хорошо; глядел он на жену - и она казалась ему красивой, доброй и кроткой. Радовала его и заря на востоке, и молодая травка, и его тряская визгливая бричка, нравился даже коршун, тяжело взмахивавший крыльями. А когда он по пути забежал в кабак закурить папиросу и выпил стаканчик, ему стало еще веселее...

- Сказано, велик день! - говорил он. - Вот и велик! Погоди, Лиза, сейчас солнце начнет играть. Оно каждую пасху играет! И оно тоже радуется, как люди!

- Оно не живое, - заметила жена.

- Да на нем люди есть! - воскликнул Торчаков. - Ей-богу, есть! Мне Иван Степаныч рассказывал - на всех планетах есть люди, на солнце и на месяце! Право... А может, ученые и брешут, нечистый их знает! Постой, никак лошадь стоит! Так и есть! На полдороге к дому, у Кривой Балочки, Торчаков и его жена увидели оседланную лошадь, которая стояла неподвижно и нюхала землю. У самой дороги на кочке сидел рыжий казак и, согнувшись, глядел себе в ноги.

- Христос воскрес! - крикнул ему Максим.

- Воистину воскрес, - ответил казак, не поднимая головы.

- Куда едешь?

- Домой, на льготу.

- Зачем же тут сидишь?

- Да так... захворал... Нет мочи ехать.

- Что ж у тебя болит?

- Весь болю.

- Гм... вот напасть! У людей праздник, а ты хворашь! Да ты бы в деревню или на постоялый ехал, а что так сидеть?

Казак поднял голову и обвел утомленными, больными глазами Максима, его жену, лошадь.

- Вы это из церкви? - спросил он.

- Из церкви.

- А меня праздник в дороге застал. Не привел Бог доехать. Сейчас сесть бы да ехать, а мочи нет... Вы бы, православные, дали мне, проезжему, свяченой пасочки разговеться!

- Пасочки? - спросил Торчаков. - Оно можно, ничего... постой, сейчас...

Максим быстро пошарил у себя в карманах, взглянул на жену и сказал:

- Нету у меня ножика, отрезать нечем. А ломать-то - не рука, всю паску испортишь. Вот задача! Поищи-ка, нет ли у тебя ножика?

Казак через силу поднялся и пошел к своему седлу за ножом.

- Вот еще что выдумали! - сердито сказала жена Торчакова. - Не дам я тебе паску кромсать! С какими глазами я ее домой порезанную повезу? И видано ль дело - в степи разговляться. Поезжай на деревню к мужикам да там и разговляйся!

Жена взяла из рук мужа кулич, завернутый в белую салфетку, и сказала:

- Не дам! Надо порядок знать. Это не булка, а свяченная паска, и грех ее без толку кромсать.

- Ну, казак, не прогневайся! - сказал Торчаков и засмеялся. - Не велит жена! Прощай, путь-дорога! Максим тронул вожжи, чмокнул, и бричка с шумом покатила дальше. А жена все еще говорила, что резать кулич, не доехав до дому, - грех и не порядок, что все должно иметь свое место и время. На востоке, крася пушистые облака в разные цвета, засияли первые лучи солнца; послышалась песня жаворонка. Уж не один, три коршуна, в отдалении друг от друга, носились над степью. Солнце пригрело чуть-чуть, и в молодой траве закричали кузнечики.

Отъехав больше версты, Торчаков оглянулся и пристально поглядел вдаль.

- Не видать казака... - сказал он. - Экий сердяга, вздумал в дороге хворать! Нет хуже напасти: ехать надо, а мочи нет... Чего доброго, помрет в дороге... Не дали мы ему, Лизавета, паски, а небось и ему надо было дать. Небось и ему разговеться хочется.

Солнце взошло, но играло оно или нет, Торчаков не видел. Всю дорогу до самого дома он молчал, о чем-то думал и не спускал глаз с черного хвоста лошади. Неизвестно отчего, им овладела скука, и от праздничной радости в груди не осталось ничего, как будто ее и не было.

Приехали домой, христосовались с работниками: Торчаков опять повеселел и стал разговаривать, но как сели разговляться и все взяли по куску свяченого кулича, он невесело поглядел на жену и сказал:

- А нехорошо, Лизавета, что мы не дали тому казаку разговеться.

- Чудной ты, ей-богу! - сказала Лизавета и с удивлением пожала плечами. - Где ты взял такую моду, чтобы свяченную паску раздавать по дороге? Нешто это булка? Теперь она порезана, на столе лежит, пушай ест, кто хочет, хоть и казак твой! Разве мне жалко?

- Так-то оно так, а жалко мне казака. Ведь он хуже нищего и сироты. В дороге, далеко от дому, хворый...

Торчаков выпил полстакана чаю и уж больше ничего не пил и не ел. Есть ему не хотелось, чай казался невкусным, как трава, и опять стало скучно. После разговенья легли спать. Когда часа через два Лизавета проснулась, он стоял у окна и глядел во двор.

- Ты уже встал? - спросила жена.

- Не спится что-то... Эх, Лизавета, - вздохнул он, - обидели мы с тобой казака!

- Ты опять с казакон! Дался тебе этот казак. Бог с ним.

- Он царю служил, может кровь проливал, а мы с ним, как с свиньей обошлись. Надо бы его больного домой привести, покормить, а мы ему даже кусочка хлеба не дали.

- Да, так дам я тебе паску портить. Да еще свяченную! Ты бы ее с казакон искромсал, а я бы потом дома глазами лупала? Ишь ты какой! Максим потихоньку от жены пошел в кухню, завернул в салфетку кусок кулича и пяток яиц и пошел в сарай к работникам.

- Кузьма, брось гармонию, - обратился он к одному из них. - Седлай гнедого или Иванчика и езжай поживее к Кривой Балочке. Там больной казак с лошадью, так вот отдай ему это. Может, он еще не уехал.

Максим опять повеселел, но, прождав несколько часов Кузьму, не вытерпел, оседлал лошадь и поскакал к нему навстречу. Встретил он его у самой Балочки.

- Ну что? Видал казака?

- Нигде нету. Должно, уехал.

- Гм... история!

Торчаков взял у Кузьмы узелок и поскакал дальше. Доехав до деревни, он спросил у мужиков: - Братцы, не видали ли вы больного казака с лошадью? Не проезжал ли тут? Из себя рыжий, худой, на гнедом коне.

Мужики поглядели друг на друга и сказали, что казака они не видели.

- Обратный почтовый ехал, это точно, а чтоб казак или кто другой такого не было.

Вернулся Максим домой к обеду.

- Сидит у меня этот казак в голове и хоть ты что! - сказал он жене. Не дает покою. Я все думаю: а что, ежели это Бог нас испытать хотел и ангела или святого какого в виде казака нам навстречу послал. Ведь бывает это. Нехорошо. Лизавета, обидели мы человека!

- Да что ты ко мне с казаком пристал? - крикнула Лизавета, выходя их терпения. - Пристал, как смола!

- А ты, знаешь, не добрая... - сказал Максим и пристально поглядел ей в лицо.

И он впервые после женитьбы заметил, что его жена не добрая.

- Пущай я не добрая, - крикнула она и сердито стукнула ложкой, - а только не стану я всяким пьяницам свяченную паску раздавать!

- А нешто казак пьяный?

- Пьяный!

- Почем ты знаешь?

- Пьяный!

- Ну и дура!

Максим, рассердившись, встал из-за стола и начал укорять свою молодую жену, говорил, что она немилосердная и глупая. А она, тоже рассердившись, заплакала и ушла в спальню и крикнула оттуда:

- Чтоб он околед, твой казак! Отстань ты от меня, холера, со своим казаком вонючим, а то я к отцу уеду!

За все время после свадьбы у Торчакова это была первая ссора с женой. До самой вечерни он ходил у себя по двору, все думал о жене, думал с досадой и она казалась теперь злой, некрасивой. И как нарочно, казак все не выходил из головы, и Максиму мерещились то его больные глаза, то голос, то походка...

- Эх, обидели мы человека! - бормотал он. - Обидели! Вечером, когда стемнело, ему стало нестерпимо скучно, как никогда не было, - хоть в петлю полезай! От скуки и с досады на жену он

напился, как напивался в прежнее время, когда был неженатым. В хмелю он бранился скверными словами и кричал жене, что у нее злое, некрасивое лицо и завтра же он прогонит ее к отцу.

Утром на другой день праздника он захотел опохмелиться и опять напился.

С этого и началось расстройство.

Лошади, коровы, овцы и ульи мало-помалу друг за дружкой стали исчезать со двора, долги росли, жена становилась постылой... Все эти напасти, как говорил Максим, произошли оттого, что у него злая, глупая жена, что Бог прогневался на него и на жену... за больного казака. Он все чаще и чаще напивался. Когда был пьян, то сидел дома и шумел, а трезвый ходил по степи и ждал, не встретится ли ему казак...

## Святою ночью

Я стоял на берегу Голтвы и ждал с того берега парома. В обыкновенное время Голтва представляет из себя речонку средней руки, молчаливую и задумчивую, кротко блистающую из-за густых камышей, теперь же предо мной расстилалось целое озеро. Разгулявшаяся вешняя вода перешагнула оба берега и далеко затопила оба побережья, захватив огороды, сенокосы и болота, так что на водной поверхности не редкость было встретить одиноко торчащие тополи и кусты, похожие в потемках на суровые утесы.

Погода казалась мне великолепной. Было темно, но я все-таки видел и деревья, и воду, и людей... Мир освещался звездами, которые всплошную усыпали всё небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звезд. Буквально некуда было пальцем ткнуть. Тут были крупные, как гусиное яйцо, и мелкие, с конопляное зерно... Ради праздничного парада вышли они на небо все до одной, от мала до велика, умытые, обновленные, радостные, и все до одной тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось в воде; звезды купались в темной глубине и дрожали вместе с легкой зыбью. В воздухе было тепло и тихо... Далеко, на том берегу, в непроглядной тьме, горело врассыпную несколько ярко-красных огней...

В двух шагах от меня темнел силуэт мужика в высокой шляпе и с толстой, суковатой палкой.

— Как, однако, долго нет парома! — сказал я.

— А пора ему быть, — ответил мне силуэт.

— Ты тоже дожидаясь парома?

— Нет, я так... — зевнул мужик, — люминации ожидаю. Поехал бы, да, признаться, пяточка на паром нет.

— Я тебе дам пяточок.

— Нет, благодарим покорно... Ужо на этот пяточок ты за меня там в монастыре свечку поставь... Этак любопытней будет, а я и тут постою. Скажи на милость, нет парома! Словно в воду канул!

Мужик подошел к самой воде, взялся рукой за канат и закричал:

— Иероним! Иерони-им!

Точно в ответ на его крик, с того берега донесся протяжный звон большого колокола. Звон был густой, низкий, как от самой толстой струны контрабаса: казалось, прохрипели сами потемки. Тотчас же послышался выстрел из пушки. Он прокатился в темноте и кончился где-то далеко за моей спиной. Мужик снял шляпу и перекрестился.

— Христос воскрес! — сказал он.

Не успели застыть в воздухе волны от первого удара колокола, как послышался другой, за ним тотчас же третий, и потемки наполнились непрерывным, дрожащим гулом. Около красных огней загорелись новые огни и все вместе задвигались, беспокойно замелькали.

— Иерони-м! — послышался глухой протяжный крик.

— С того берега кричат, — сказал мужик. — Значит, и там нет парома. Заснул наш Иероним.

Огни и бархатный звон колокола манили к себе... Я уж начал терять терпение и волноваться, но вот наконец, вглядываясь в темную даль, я увидел силуэт чего-то, очень похожего на виселицу. Это был давно жданный паром. Он подвигался с такою медленностью, что если б не постепенная обрисовка его контуров, то можно было бы подумать, что он стоит на одном месте или же идет к тому берегу.

— Скорей! Иероним! — крикнул мой мужик. — Барин дожидается!

Паром подполз к берегу, покачнулся и со скрипом остановился. На нем, держась за канат, стоял высокий человек в монашеской рясе и в конической шапочке.

— Отчего так долго? — спросил я, вскакивая на паром.

— Простите Христа ради, — ответил тихо Иероним. — Больше никого нет?

— Никого...

Иероним взялся обеими руками за канат, изогнулся в вопросительный знак и крякнул. Паром скрипнул и покачнулся. Силуэт мужика в высокой шляпе стал медленно удаляться от меня — значит, паром поплыл. Иероним скоро выпрямился и стал работать одной рукой. Мы молчали и глядели на берег, к которому плыли. Там уже началась «люминация», которой дожидался мужик. У самой воды громадными кострами пылали смоляные бочки. Отражения их, багровые, как восходящая луна, длинными, широкими полосами ползли к нам навстречу. Горящие бочки освещали свой собственный дым и длинные человеческие тени, мелькавшие около огня; но далее в стороны и позади них, откуда несся бархатный звон, была всё та же беспросветная, черная мгла. Вдруг, рассекая потемки, золотой лентой взвилась к небу ракета: она описала дугу и, точно разбившись о небо, с треском рассыпалась в искры. С берега послышался гул, похожий на отдаленное ура.

— Как красиво! — сказал я.

— И сказать нельзя, как красиво! — вздохнул Иероним. — Ночь такая, господин! В другое время и внимания не обратишь на ракеты, а нынче всякой суете радуешься. Вы сами откуда будете?

Я сказал, откуда я.

— Так-с... радостный день нынче... — продолжал Иероним слабым, вздыхающим тенорком, каким говорят выздоравливающие больные. — Радуется и небо, и земля, и преисподняя. Празднует вся тварь. Только скажите мне, господин хороший, отчего это даже и при великой радости человек не может скорбей своих забыть?

Мне показалось, что этот неожиданный вопрос вызывал меня на один из тех «продлинновенных», душеспасительных разговоров, которые так любят праздные и скучающие монахи. Я не был расположен много говорить, а потому только спросил:

— А какие, батюшка, у вас скорби?

— Обыкновенно, как и у всех людей, ваше благородие, господин хороший, но в нынешний день случилась в монастыре особая скорбь: в самую обедню, во время паремий, умер иеродьякон Николай...

— Что ж, это Божья воля! — сказал я, подделываясь под монашеский тон. — Всем умирать нужно. По-моему, вы должны еще радоваться... Говорят, что кто умрет под Пасху или на Пасху, тот непременно попадет в царство небесное.

— Это верно.

Мы замолчали. Силуэт мужика в высокой шляпе слился с очертаниями берега. Смоляные бочки разгорались всё более и более.

— И писание ясно указывает на суету скорби, и размышление, — прервал молчание Иероним, — но отчего же душа скорбит и не хочет слушать разума? Отчего горько плакать хочется?

Иероним пожал плечами, повернулся ко мне и заговорил быстро:

— Умри я или кто другой, оно бы, может, и незаметно было, но ведь Николай умер! Никто другой, а Николай! Даже поверить трудно, что его уж нет на свете! Стою я тут на пароме и всё мне кажется, что сейчас он с берега голос свой подаст. Чтобы мне на пароме страшно не казалось, он всегда приходил на берег и окликал меня. Нарочито для этого ночью с постели вставал. Добрая душа! Боже, какая добрая и милостивая! У иного человека и матери такой нет, каким у меня был этот Николай! Спаси, Господи, его душу!

Иероним взялся за канат, но тотчас же опять повернулся ко мне.

— Ваше благородие, а ум какой светлый! — сказал он певучим голосом. — Какой язык благозвучный и сладкий! Именно, как вот сейчас будут петь в заутрени: «О, любезнаго! о, сладчайшаго твоего гласа!» Кроме всех прочих человеческих качеств, в нем был еще и дар необычайный!

— Какой дар? — спросил я.

Монах оглядел меня и, точно убедившись, что мне можно верить тайны, весело засмеялся.

— У него был дар акафисты писать... — сказал он. — Чудо, господин, да и только! Вы изумитесь, ежели я вам объясню! Отец архимандрит у нас из московских, отец наместник в Казанской академии кончил, есть у нас и иеромонахи разумные, и старцы, но ведь, скажи пожалуйста, ни одного такого нет, чтобы писать умел, а Николай, простой монах, иеродьякон, нигде не обучался и даже видимости наружной не имел, а писал! Чудо! Истинно чудо!

Иероним всплеснул руками и, совсем забыв про канат, продолжал с увлечением:

— Отец наместник затрудняется проповеди составлять; когда историю монастыря писал, то всю братию загонял и раз десять в город ездил, а Николай акафисты писал! Акафисты! Это не то что проповедь или история!

— А разве акафисты трудно писать? — спросил я.

— Большая трудность... — покрутил головой Иероним. — Тут и мудростью и святостью ничего не поделаешь, ежели Бог дара не дал. Монахи, которые не понимающие, рассуждают, что для этого нужно только знать житие святого, которому пишешь, да с прочими акафистами соображаться. Но это, господин, неправильно. Оно, конечно, кто пишет акафист, тот должен знать житие до чрезвычайности, до последней самонаименованной точки. Ну и соображаться с прочими акафистами нужно, как где начать и о чем писать. К примеру сказать вам, первый кондак везде начинается с «возбранный» или «избранный»... Первый икос всегда надо начинать с ангела. В акафисте к Иисусу Сладчайшему, ежели интересуетесь, он начинается так: «Ангелов творче и господи сил», в акафисте к пресвятой богородице: «Ангел предстатель с небесе послан бысть», к Николаю Чудотворцу: «Ангела образом, земнаго суша естеством» и прочее. Везде с ангела начинается. Конечно, без того нельзя, чтобы не соображаться, но главное ведь не в житии, не в соответствии с

прочим, а в красоте и сладости. Нужно, чтоб всё было стройно, кратко и обстоятельно. Надо, чтоб в каждой строчечке была мягкость, ласковость и нежность, чтоб ни одного слова не было грубого, жесткого или несоответствующего. Так надо писать, чтоб молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил. В богородичном акафисте есть слова: «Радуйся, высоту, неудобовосходимая человеческими помыслы; радуйся, глубину, неудобозримая и ангельскими очима!» В другом месте того же акафиста сказано: «Радуйся, древо светлоплодовитое, от него же питаются вернии; радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози!»

Иероним, словно испугавшись чего-то или застыдившись, закрыл ладонями лицо и покачал головой.

— Древо светлоплодовитое... древо благосеннолиственное... — пробормотал он. — Найдет же такие слова! Даст же господь такую способность! Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово и как это у него всё выходит плавно и обстоятельно! «Светоподательна светильника сущим...» — сказано в акафисте к Иисусу Сладчайшему. Светоподательна! Слова такого нет ни в разговоре, ни в книгах, а ведь придумал же его, нашел в уме своем! Кроме плавности и велеречия, сударь, нужно еще, чтоб каждая строчечка изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого. И всякое восклицание нужно так составить, чтоб оно было гладенько и для уха вольготней. «Радуйся, крине райскаго прозябения!» — сказано в акафисте Николаю Чудотворцу. Не сказано просто «крине райский», а «крине райскаго прозябения!» Так глаже и для уха сладко. Так именно и Николай писал! Точь-в-точь так! И выразить вам не могу, как он писал!

— Да, в таком случае жаль, что он умер, — сказал я. — Однако, батюшка, давайте плыть, а то опоздаем...

Иероним спохватился и побежал к канату. На берегу начали перезванивать во все колокола. Вероятно, около монастыря происходил уже крестный ход, потому что всё темное пространство за смоляными бочками было теперь усыпано двигающимися огнями.

— Николай печатал свои акафисты? — спросил я Иеронима.

— Где ж печатать? — вздохнул он. — Да и странно было бы печатать. К чему? В монастыре у нас этим никто не интересуется. Не любят. Знали, что Николай пишет, но оставляли без внимания. Нынче, сударь, новые писания никто не уважает!

— С предубеждением к ним относятся?

— Точно так. Будь Николай старцем, то, пожалуй, может, братия и полюбобытствовала бы, а то ведь ему еще и сорока лет не было. Были которые смеялись и даже за грех почитали его писание.

— Для чего же он писал?

— Так, больше для своего утешения. Из всей братии только я один и читал его акафисты. Приду к нему потихоньку, чтоб прочие не видели, а он и рад, что я интересуюсь. Обнимет меня, по голове гладит, ласковыми словами обзывает, как дитя маленького. Затворит келью, посадит меня рядом с собой и давай читать...

Иероним оставил канат и подошел ко мне.

— Мы вроде как бы друзья с ним были, — зашептал он, глядя на меня блестящими глазами. — Куда он, туда и я. Меня нет, он тоскует. И любил он меня больше всех, а всё за то, что я от его акафистов плакал. Вспоминать трогательно! Теперь я всё равно как сирота или вдовица. Знаете, у нас в монастыре народ всё хороший, добрый, благочестивый, но... ни в ком нет мягкости и деликатности, всё равно как люди простого звания. Говорят все громко, когда ходят, ногами стучат, шумят,



кашляют, а Николай говорил всегда тихо, ласково, а ежели заметит, что кто спит или молится, то пройдет мимо, как мушка или комарик. Лицо у него было нежное, жалостное...

Иероним глубоко вздохнул и взялся за канат. Мы уже приближались к берегу. Прямо из потемок и речной тишины мы постепенно вплывали в заколдованное царство, полное удушливого дыма, трещащего света и гама. Около смоляных бочек, уж ясно было видно, двигались люди. Мельканье огня придавало их красным лицам и фигурам странное, почти фантастическое выражение. Изредка среди голов и лиц мелькали лошадиные морды, неподвижные, точно вылитые из красной меди.

— Сейчас запоют пасхальный канон... — сказал Иероним, — а Николая нет, некому вникать... Для него слаже и писания не было, как этот канон. В каждое слово, бывало, вникал! Вы вот будете там, господин, и вникните, что поется: дух захватывает!

— А вы разве не будете в церкви?

— Мне нельзя-с... Перевозить нужно...

— Но разве вас не сменят?

— Не знаю... Меня еще в девятом часу нужно было сменить, да вот, видите, не сменяют!.. А, признаться, хотелось бы в церковь...

— Вы монах?

— Да-с... то есть я послушник.

Паром врезался в берег и остановился. Я сунул Иерониму пяточок за провоз и прыгнул на сушу. Тотчас же телега с мальчиком и со спящей бабой со скрипом въехала на паром. Иероним, слабо окрашиваемый огнями, налег на канат, изогнулся и сдвинул с места паром...

Несколько шагов я сделал по грязи, но далее пришлось идти по мягкой, свежепротоптанной тропинке. Эта тропинка вела к темным, похожим на впадину, монастырским воротам сквозь облака дыма, сквозь беспорядочную толпу людей, распряженных лошадей, телег, бричек. Всё это скрипело, фыркало, смеялось, и по всему мелькали багровый свет и волнистые тени от дыма... Сущий хаос! И в этой толкотне находили еще место заряжать маленькую пушку и продавать пряники!

По ту сторону стены, в ограде, происходила не меньшая суетня, но благочиния и порядка наблюдалось больше. Тут пахло можжевельником и росным ладаном. Говорили громко, но смеха и фыркания не слышалось. Около могильных памятников и крестов жались друг к другу люди с куличами и узлами. По-видимому, многие из них приехали святить куличи издалека и были теперь утомлены. По чугунным плитам, которые лежали полосой от ворот до церковной двери, суетливо, звонко стуча сапогами, бегали молодые послушники. На колокольне тоже возились и кричали.

«Какая беспокойная ночь! — думал я. — Как хорошо!»

Беспокойство и бессонницу хотелось видеть во всей природе, начиная с ночной тьмы и кончая плитами, могильными крестами и деревьями, под которыми суетились люди. Но нигде возбуждение и беспокойство не сказывались так сильно, как в церкви. У входа происходила неугомонная борьба прилива с отливом. Одни входили, другие выходили и скоро опять возвращались, чтобы постоять немного и вновь задвигаться. Люди снуют с места на место, слоняются и как будто чего-то ищут. Волна идет от входа и бежит по всей церкви, тревожа даже передние ряды, где стоят люди солидные и тяжелые. О сосредоточенной молитве не может быть и речи. Молитв вовсе нет, а есть какая-то сплошная, детски-безотчетная радость, ищущая предлога, чтобы только вырваться наружу и излиться в каком-нибудь движении, хотя бы в беспардонном шатании и толкотне.

Та же необычайная подвижность бросается в глаза и в самом пасхальном служении. Царские врата во всех приделах открыты настежь, в воздухе около паникадила плавают густые облака ладанного дыма: куда ни взглянешь, всюду огни, блеск, треск свечей... Чтений не полагается никаких: пение, светливое и веселое, не прерывается до самого конца: после каждой песни в каноне духовенство меняет ризы и выходит кадить, что повторяется почти каждые десять минут.

Не успел я занять места, как спереди хлынула волна и отбросила меня назад. Передо мной прошел высокий плотный дьякон с длинной красной свечой; за ним спешил с кадилом седой архимандрит в золотой митре. Когда они скрылись из виду, толпа оттиснула меня опять на прежнее место. Но не прошло и десяти минут, как хлынула новая волна и опять показался дьякон. На этот раз за ним шел отец наместник, тот самый, который, по словам Иеронима, писал историю монастыря.

Мне, слившемся с толпой и заразившемся всеобщим радостным возбуждением, было невыносимо больно за Иеронима. Отчего его не сменят? Почему бы не пойти на паром кому-нибудь менее чувствующему и менее впечатлительному?

«Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь... — пели на клиросе, — се бо приидоша к тебе, яко богосветлая светила, от запада, и севера, и моря, и востока чада твоя...»

Я поглядел на лица. На всех было живое выражение торжества: но ни один человек не вслушивался и не вникал в то, что пелось, и ни у кого не «захватывало духа». Отчего не сменят Иеронима? Я мог себе представить этого Иеронима, смиренно стоящего где-нибудь у стены, согнувшегося и жадно ловящего красоту святой фразы. Всё, что теперь проскальзывало мимо слуха стоявших около меня людей, он жадно пил бы своей чуткой душой, упился бы до восторгов, до захватывания духа, и не было бы во всём храме человека счастливее его. Теперь же он плывал взад и вперед по темной реке и тосковал по своему умершем брате и друге.

Сзади хлынула волна. Полный, улыбающийся монах, играя четками и оглядываясь назад, боком протискался около меня, пролагая путь какой-то даме в шляпке и бархатной шубке. Вслед за дамой, неся над нашими головами стул, торопился монастырский служка.

Я вышел из церкви. Мне хотелось посмотреть мертвого Николая, неизвестного сочинителя акафистов. Я прошелся около ограды, где вдоль стены тянулся ряд монашеских келий, заглянул в несколько окон и, ничего не увидев, вернулся назад. Теперь я не сожалею, что не видел Николая: Бог знает, быть может, увидев его, я утратил бы образ, который рисует теперь мне мое воображение. Этого симпатичного поэтического человека, выходившего по ночам переключаться с Иеронимом и пересыпавшего свои акафисты цветами, звездами и лучами солнца, не понятого и одинокого, я представляю себе робким, бледным, с мягкими, кроткими и грустными чертами лица. В его глазах, рядом с умом, должна светиться ласка и та едва сдерживаемая, детская восторженность, какая слышалась мне в голосе Иеронима, когда тот приводил мне цитаты из акафистов.

Когда после обедни мы вышли из церкви, то ночи уже не было. Начиналось утро. Звезды погасли, и небо представлялось серо-голубым, хмурым. Чугунные плиты, памятники и почки на деревьях были подернуты росой. В воздухе резко чувствовалась свежесть. За оградой уже не было того оживления, какое я видел ночью. Лошади и люди казались утомленными, сонными, едва двигались, а от смоляных бочек оставались одни только кучки черного пепла. Когда человек утомлен и хочет спать, то ему кажется, что то же самое состояние переживает и природа. Мне казалось, что деревья и молодая трава спали. Казалось, что даже колокола звонили не так громко и весело, как ночью. Беспokoйство кончилось, и от возбуждения осталась одна только приятная истома, жажда сна и тепла.

Теперь я мог видеть реку с обоими берегами. Над ней холмами то там, то сям носился легкий туман. От воды веяло холодом и суровостью. Когда я прыгнул на паром, на нем уже стояла чья-то

бричка и десятка два мужчин и женщин. Канат, влажный и, как казалось мне, сонный, далеко тянулся через широкую реку и местами исчезал в белом тумане.

— Христос воскрес! Больше никого нет? — спросил тихий голос.

Я узнал голос Иеронима. Теперь ночные потемки уж не мешали мне разглядеть монаха. Это был высокий узкоплечий человек, лет 35, с крупными округлыми чертами лица, с полузакрытыми, лениво глядящими глазами и с нечесаной клиновидной бородкой. Вид у него был необыкновенно грустный и утомленный.

— Вас еще не сменили? — удивился я.

— Меня-с? — переспросил он, поворачивая ко мне свое озябшее, покрытое росой лицо и улыбаясь. — Теперь уж некому сменять до самого утра. Все к отцу архимандриту сейчас разговляться пойдут-с.

Он да еще какой-то мужичок в шапке из рыжего меха, похожей на липовки, в которых продают мед, поналегли на канат, дружно крякнули, и паром тронулся с места.

Мы поплыли, беспокоя на пути лениво подымавшийся туман. Все молчали. Иероним машинально работал одной рукой. Он долго водил по нас своими кроткими, тусклыми глазами, потом остановил свой взгляд на розовом чернобровом лице молоденькой купчихи, которая стояла на пароме рядом со мной и молча пожималась от обнимавшего ее тумана. От ее лица не отрывал он глаз в продолжение всего пути.

В этом продолжительном взгляде было мало мужского. Мне кажется, что на лице женщины Иероним искал мягких и нежных черт своего усопшего друга.

## На мельнице

Мельник Алексей Бирюков, здоровенный, коренастый мужчина средних лет, фигурой и лицом похожий на тех топорных, толстокожих и тяжело ступающих матросов, которые сняты детям после чтения Жюль Верна, сидел у порога своей хижины и лениво сосал потухшую трубку. На этот раз он был в серых штанах из грубого солдатского сукна, в больших тяжелых сапогах, но без сюртука и без шапки, хотя на дворе стояла настоящая осень, сырая и холодная. Сквозь расстегнутую жилетку свободно проникала сырая мгла, но большое, черствое, как мозоль, тело мельника, по-видимому, не ощущало холода. Красное, мясистое лицо его по обыкновению было апатично и дрябло, точно спросонок, маленькие, заплывшие глазки угрюмо исподлобья глядели по сторонам то на плотину, то на два сарая с навесами, то на старые, неуклюжие ветлы.

Около сараев суетились два только что приехавших монастырских монаха: один Клиопа, высокий и седой старик в обрызганной грязью рясе и в латаной скуфейке, другой Диодор, чернобородый и смуглый, по-видимому, грузин родом, в обыкновенном мужицком тулупе. Они снимали с телег мешки с рожью, привезенной ими для помола. Несколько поодаль от них на темной, грязной траве сидел работник Евсей, молодой, безусый парень в рваном кургузом тулупе и совершенно пьяный. Он мял в руках рыболовную сеть и делал вид, что починяет ее.

Мельник долго водил глазами и молчал, потом уставился на монахов, таскавших мешки, и проговорил густым басом:

- Вы, монахи, зачем это в реке рыбу ловите? Кто вам дозволил?

Монахи ничего не ответили и даже не взглянули на мельника.

Тот помолчал, закурил трубку и продолжал:

- Сами ловите да еще посадским мещанам позволяете. Я в посаде и у вас реку на откуп взял, деньги вам плачу, стало быть, рыба моя и никто не имеет полного права ловить ее. Богу молитесь, а воровать за грех не считаете.

Мельник зевнул, помолчал и продолжал ворчать:

- Ишь ты, какую моду взяли! Думают, что как монахи, в святые записались, так на них и управы нет. Возьму вот и подам мировому. Мировой не поглядит на твою ряску, насидишься ты у него в холодной. А то и сам, без мирового справлюсь. Попаду на реке и так шею накостыляю, что до страшного суда рыбы не захочешь!

- Напрасно вы такие слова говорите, Алексей Дорофеич! - проговорил Клиопа тихим тенорком. - Добрые люди, которые Бога боятся, таких слов собаке не говорят, а ведь мы монахи!

- Монахи, - передразнил мельник. - Тебе понадобилась рыба? Да? Так ты купи у меня, а не воруй!

- Господи, да нешто мы ворует? - поморщился Клиопа. - Зачем такие слова? Наши послушники ловили рыбу, это точно, но ведь на это они от отца архимандрита дозволение имели. Отец архимандрит так рассуждают, что деньги взяты с вас не за всю реку, а только за то, чтоб вы на нашем берегу имели право сети ставить. Река не вся вам дадена... Она не ваша и не наша, а Божья...

- И архимандрит такой же, как ты, - проворчал мельник, стуча трубкой по сапогу. - Любит обшить, тоже! А я разбирать не стану. Для меня архимандрит всё равно что ты или вот Евсей. Попаду его на реке, так и ему влетит...

- А что вы собираетесь бить монахов, так это как вам угодно. Для нас же на том свете лучше будет. Вы уж били Виссариона и Антипия, так бейте и других.

- Замолчи, не трогай его! - проговорил Диодор, дергая Клиопу за рукав.

Клиопа спохватился, умолк и стал таскать мешки, мельник же продолжал браниться. Ворчал он лениво, посасывая после каждой фразы трубку и сплевывая. Когда иссяк рыбный вопрос, он вспомнил о каких-то его собственных двух мешках, которые якобы "зажулили" когда-то монахи, и стал браниться из-за мешков, потом, заметив, что Евсей пьян и не работает, он оставил в покое монахов и набросился на работника, оглашая воздух отборною, отвратительною руганью.

Монахи сначала крепились и только громко вздыхали, но скоро Клиопа не вынес... Он всплеснул руками и произнес плачущим голосом:

- Владыка святой, нет для меня тягостнее послушания, как на мельницу ездить! Суший ад! Ад, истинно ад!

- А ты не езд! - огрызнулся мельник.

- Царица небесная, рады бы сюда не ездить, да где же нам другую мельницу взять? Сам посуди, кроме тебя тут в окружности ни одной мельницы нет! Просто хоть с голоду помирай или немолотое зерно кушай!

Мельник не унимался и продолжал сыпать во все стороны ругань. Видно было, что ворчанье и ругань составляли для него такую же привычку, как сосанье трубки.

- Хоть ты нечистого не поминай! - умолял Клиопа, оторопело мигая глазами. - Ну помолчи, сделай милость!

Скоро мельник умолк, но не потому, что его умолял Клиопа. На плотине показалась какая-то старуха, маленькая, кругленькая, с добродушным лицом, в каком-то странном полосатом салопике, похожем на спинку жука. Она несла небольшой узелок и подпиралась маленькой палочкой...

- Здравствуйте, батюшки! - зашепелявила она, низко кланяясь монахам. Помогай Бог! Здравствуй, Алешенька! Здравствуй, Евсеюшка!..

- Здравствуйте, маменька, - пробормотал мельник, не глядя на старуху и хмурясь.

- А я к тебе в гости, батюшка мой! - сказала она, улыбаясь и нежно заглядывая в лицо мельника. - Давно не видала. Почитай, с самого Успеньева дня не видались... Рад не рад, а уж принимай! А ты словно похудел будто...

Старушонка уселась рядом с мельником, и около этого громадного человека ее салопик еще более стал походить на жука.

- Да, с Успеньева дня! - продолжала она. - Соскучилась, вся душа по тебе выболела, сыночек, а как соберусь к тебе, то или дождь пойдет, или заболею...

- Сейчас вы из посада? - угрюмо спросил мельник.

- Из посада... Прямо из дому...

- При ваших болезнях и при такой комплекции вам дома сидеть нужно, а не по гостям ходить. Ну, зачем вы пришли? Башмаков не жалко!

- Поглядеть на тебя пришла.. Их у меня, сынов-то, двое, - обратилась она к монахам, - этот, да еще Василий, что в посаде. Двоечко. Им-то всё равно, жива я или померла, а ведь они-то у меня родные, утешение... Они без меня могут, а я без них, кажется, и дня бы не прожила... Только вот, батюшки, стара стала, ходить к нему из посада тяжело.

Наступило молчание. Монахи снесли в сарай последний мешок и сели на телегу отдыхать... Пьяный Евсей всё еще мял в руках сеть и клевал носом.

- Не вовремя пришли, маменька, - сказал мельник. - Сейчас мне в Каряжино ехать нужно.

- Езжай! с Богом! - вздохнула старуха. - Не бросать же из-за меня дело... Я отдохну часик и пойду назад... Тебе, Алешенька, кланяется Вася с детками...

- Всё еще водку трескает?

- Не то чтобы уж очень, а пьет. Нечего греха таить, пьет.. Много-то пить, сам знаешь, не на что, так вот разве иной раз добрые люди поднесут... Плохое его житье, Алешенька! Намучилась я, на него гляючи... Есть нечего, детки оборванные, сам он - на улицу стыдно глаза показать, все штаны в дырах и сапогов нет... Все мы вшестером в одной комнате спим. Такая бедность, такая бедность, что горчее и придумать нельзя... С тем к тебе и шла, чтоб на бедность попросить... Ты, Алешенька, уж уважь старуху, помоги Василию... Брат ведь!

Мельник молчал и глядел в сторону.

- Он бедный, а ты - слава Тебе, Господи! И мельница у тебя своя, и огороды держишь, и рыбой торгуешь... Тебя Господь и умудрил, и возвеличил супротив всех, и насытил... И одинокий ты... А у Васи четверо детей, я на его шее живу, окаянная, а жалованья-то всего он семь рублей получает. Где ж ему прокормить всех? Ты помоги...

Мельник молчал и старательно набивал свою трубку.

- Дашь? - спросила старуха.

Мельник молчал, точно воды в рот набрал. Не дождавшись ответа, старуха вздохнула, обвела глазами монахов, Евсея, встала и сказала:

- Ну Бог с тобой, не давай. Я и знала, что не дашь... Пришла я к тебе больше из-за Назара Андреича... Плачет уж очень, Алешенька! Руки мне целовал и всё просил меня, чтоб я сходила к тебе и упростила...

- Чего ему?

- Просит, чтоб ты ему долг отдал. Отвез, говорит, я ему рожь для помолу, а он назад и не отдал.

- Не ваше дело, маменька, в чужие дела мешаться, - проворчал мельник. Ваше дело Богу молиться.

- Я и молюсь, да уж что-то Бог моих молитв не слушает. Василий нищий, сама я побираюсь и в чужом салопе хожу, ты хорошо живешь, но Бог тебя знает, какая душа у тебя. Ох, Алешенька, испортили тебя глаза завистливые! Всем ты у меня хорош: и умен, и красавец, и из купцов купец, но не похож ты на настоящего человека! Неприветливый, никогда не улыбнешься, доброго слова не скажешь, немилостивый, словно зверь какой... Ишь какое лицо! А что народ про тебя рассказывает, горе ты мое! Спроси-ка вот батюшек! Врут, будто ты парод сосеешь, насильничаешь, со своими разбойниками-работниками по ночам прохожих грабишь да коней ворует... Твоя мельница, словно место какое проклятое... Девки и ребята близко подходить боятся, всякая тварь тебя сторонится. Нет тебе другого прозвания, окромя как Каин и Ирод...

- Глупые вы, маменька!

- Куда ни ступишь - трава не растет, куда ни дыхнешь - муха не летает. Только и слышу я: "Ах, хоть бы его скорей кто убил или засудили!" Каково-то матери слышать всё это? Каково? Вель ты мне родное дитя, кровь моя...

- Одначе мне ехать пора, - проговорил мельник, поднимаясь. - Прощайте, маменька!

Мельник выкатил из сарая дроги, вывел лошадь и, втолкнув ее, как собачонку, между оглобель, начал запрягать. Старуха ходила возле него, заглядывала ему в лицо и слезливо моргала.

- Ну, прощай! - сказала она, когда сын ее стал быстро натягивать на себя кафтан. - Оставайся тут с Богом, да не забывай нас, Постой, я тебе гостинца дам... - забормотала она, понизив голос и развязывая узел. Вчерась была у дьяконицы и там угощали... так вот я для тебя спрятала...

И старуха протянула к сыну руку с небольшим мятным пряником...

- Отстаньте вы! - крикнул мельник и отстранил ее руку.

Старуха сконфузилась, уронила пряник и тихо поплелась к плотине... Сцена эта произвела тяжелое впечатление. Не говоря уж о монахах, которые вскрикнули и в ужасе развели руками, даже пьяный Евсей окаменел и испуганно уставился на своего хозяина. Понял ли мельник выражение лиц монахов и работника, или, быть может, в груди его шевельнулось давно уже уснувшее чувство, но только и на его лице мелькнуло что-то вроде испуга...

- Маменька! - крикнул он.

Старуха вздрогнула и оглянулась. Мельник торопливо полез в карман и достал оттуда большой кожаный кошелек...

- Вот вам... - пробормотал он, вытаскивая из кошелька комок, состоявший из бумажек и серебра. - Берите!

Он покрутил в руке этот комок, помял, для чего-то оглянулся на монахов, потом опять помял. Бумажки и серебряные деньги, скользя меж пальцев, друг за дружкой попадали обратно в кошелек, и

в руке остался один только двугривенный... Мельник оглядел его, потер между пальцами и, крикнув, побагровев, подал его матери.

## На пути

*Ночевала тучка золотая*

*На груди утеса великана...*

**Лермонтов**

В комнате, которую сам содержатель трактира, казак Семен Чистоплюй, называет «проезжающей», то есть назначенной исключительно для проезжих, за большим некрашеным столом сидел высокий широкоплечий мужчина лет сорока. Облокотившись о стол и подперев голову кулаком, он спал. Огарок сальной свечи, воткнутый в баночку из-под помады, освещал его русую бороду, толстый широкий нос, загорелые щеки, густые черные брови, нависшие над закрытыми глазами... И нос, и щеки, и брови, все черты, каждая в отдельности, были грубы и тяжелы, как мебель и печка в «проезжающей», но в общем они давали нечто гармоническое и даже красивое. Такова уж, как говорится, планида русского лица: чем крупнее и резче его черты, тем кажется оно мягче и добродушнее. Одет был мужчина в господский пиджак, поношенный, но обшитый новой широкой тесьмой, в плюшевую жилетку и широкие черные панталоны, засунутые в большие сапоги.

На одной из скамей, непрерывно тянувшихся вдоль стены, на меху лисьей шубы спала девочка лет восьми, в коричневом платье и в длинных черных чулках. Лицо ее было бледно, волосы белокуры, плечи узки, всё тело худо и жидко, но нос выдавался такой же толстой и некрасивой шишкой, как и у мужчины. Она спала крепко и не чувствовала, как полукруглая гребенка, свалившаяся с головы, резала ей щеку.

«Проезжающая» имела праздничный вид. В воздухе пахло свежевывытыми полами, на веревке, которая тянулась диагонально через всю комнату, не висели, как всегда, тряпки и в углу, над столом, кладя красное пятно на образ Георгия Победоносца, теплилась лампадка. Соблюдая самую строгую и осторожную постепенность в переходе от божественного к светскому, от образа, по обе стороны угла, тянулся ряд лубочных картин. При тусклом свете огарка и красной лампадки картины представляли из себя одну сплошную полосу, покрытую черными кляксами; когда же изразцовая печка, желая петь в один голос с погодой, с воем вдыхала в себя воздух, а поленья, точно очнувшись, вспыхивали ярким пламенем и сердито ворчали, тогда на бревенчатых стенах начинали прыгать румяные пятна, и можно было видеть, как над головой спавшего мужчины вырастали то старец Серафим, то шах Наср-Эддин, то жирный коричневый младенец, тарашивший глаза и шептавший что-то на ухо девице с необыкновенно тупым и равнодушным лицом...

На дворе шумела непогода. Что-то бешеное, злобное, но глубоко несчастное с яростью зверя металось вокруг трактира и старалось ворваться вовнутрь. Хлопая дверями, стуча в окна и по крыше, царапая стены, оно то грозило, то умоляло, а то утихало ненадолго и потом с радостным, предательским воем врвалось в печную трубу, но тут поленья вспыхивали и огонь, как цепной пес, со злобой несся навстречу врагу, начиналась борьба, а после нее рыдания, визг, сердитый рев. Во всем этом слышались и злобствующая тоска, и неудовлетворенная ненависть, и оскорбленное бессилие того, кто когда-то привык к победам...

Очарованная этой дикой, нечеловеческой музыкой, «проезжающая», казалось, оцепенела навеки. Но вот скрипнула дверь, и в комнату вошел трактирный мальчик в новой коленкоровой рубашке. Прихрамывая на одну ногу и моргая сонными глазами, он снял пальцами со свечи, подложил в печку поленьев и вышел. Тотчас же в церкви, которая в Рогачах находится в трехстах шагах от

трактира, стали бить полночь. Ветер играл со звоном, как со снеговыми хлопьями; гоняясь за колокольными звуками, он кружил их на громадном пространстве, так что одни удары прерывались или растягивались в длинный, волнистый звук, другие вовсе исчезали в общем гуле. Один удар так явственно прогудел в комнате, как будто звонили под самыми окнами. Девочка, спавшая на лисьем меху, вздрогнула и приподняла голову. Минуту она глядела бессмысленно на темное окно, на Наср-Эдина, по которому в это время скользил багряный свет от печки, потом перевела взгляд на спавшего мужчину.

– Папа! – сказала она.

Но мужчина не двигался. Девочка сердито сдвинула брови, легла и поджала ноги. За дверью в трактире кто-то громко и протяжно зевнул. Вскоре вслед за этим послышался визг дверного блока и неясные голоса. Кто-то вошел и, страшивая с себя снег, глухо затопал валяными сапогами.

– Чиво? – лениво спросил женский голос.

– Барышня Иловайская приехала... – отвечал бас.

Опять завизжал дверной блок. Послышался шум ворвавшегося ветра. Кто-то, вероятно, хромой мальчик, подбежал к двери, которая вела в «проезжающую», почтительно кашлянул и тронул щеколду.

– Сюда, матушка-барышня, пожалуйста, – сказал певучий женский голос, – тут у нас чисто, красавица...

Дверь распахнулась, и на пороге показался бородатый мужик, в кучерском кафтане и с большим чемоданом на плече, весь, с головы до ног, облепленный снегом. Вслед за ним вошла невысокая, почти вдвое ниже кучера, женская фигура без лица и без рук, окутанная, обмотанная, похожая на узел и тоже покрытая снегом. От кучера и узла на девочку пахло сыростью, как из погребка, и огонь свечи заколебался.

– Какие глупости! – сказал сердито узел. – Отлично можно ехать! Осталось ехать только двенадцать верст, всё больше лесом, и не заблудились бы...

– Заблудиться-то не заблудились бы, да кони не идут, барышня! – отвечал кучер. – И Господи твоя воля, словно я нарочно!

– Бог знает куда привез... Но тише... Тут, кажется, спят. Ступай отсюда...

Кучер поставил на пол чемодан, причем с его плеч посыпались пласты снега, издал носом всхлипывающий звук и вышел. Затем девочка видела, как из середины узла вылезли две маленьких ручки, потянулись вверх и стали сердито распутывать путаницу из шалей, платков и шарфов. Сначала на пол упала большая шаль, потом башлык, за ним белый вязаный платок. Освободив голову, приезжая сняла салоп и сразу сузилась наполовину. Теперь уж она была в длинном сером пальто с большими пуговицами и с оттопыренными карманами. Из одного кармана вытащила она бумажный сверток с чем-то, из другого вязку больших, тяжелых ключей, которую положила так неосторожно, что спавший мужчина вздрогнул и открыл глаза. Некоторое время он тупо глядел по сторонам, как бы не понимая, где он, потом встряхнул головой, пошел в угол и сел... Приезжая сняла пальто, отчего опять сузилась наполовину, стащила с себя плисовые сапоги и тоже села.

Теперь уж она не походила на узел. Это была маленькая, худенькая брюнетка, лет 20, тонкая, как змейка, с продолговатым белым лицом и с вьющимися волосами. Нос у нее был длинный, острый, подбородок тоже длинный и острый, ресницы длинные, углы рта острые и, благодаря этой всеобщей остроте, выражение лица казалось колючим. Затянутая в черное платье, с массой кружев на шее и рукавах, с острыми, локтями и длинными розовыми пальчиками, она напоминала портреты



средневековых английских дам. Серьезное, сосредоточенное выражение лица еще более увеличивало это сходство...

Брюнетка оглядела комнату, покосилась на мужчину и девочку и, пожав плечами, пересела к окну. Темные окна дрожали от сырого западного ветра. Крупные хлопья снега, сверкая белизной, ложились на стекла, но тотчас же исчезали, уносимые ветром. Дикая музыка становилась всё сильнее...

После долгого молчания девочка вдруг заворочалась и сказала, сердито отчеканивая каждое слово:

– Господи! Господи! Какая я несчастная! Несчастней всех!

Мужчина поднялся и виноватой походкой, которая совсем не шла к его громадному росту и большой бороде, засеменил к девочке.

– Ты не спишь, дружок? – спросил он извиняющимся голосом. – Чего ты хочешь?

– Ничего не хочу! У меня плечо болит! Ты, папа, нехороший человек, и Бог тебя накажет! Вот увидишь, что накажет!

– Голубчик мой, я знаю, что у тебя болит плечо, но что же я могу сделать, дружок? – сказал мужчина тоном, каким подвыпившие мужья извиняются перед своими строгими супругами. – Это, Саша, у тебя от дороги болит плечо. Завтра мы приедем к месту, отдохнем, оно и пройдет...

– Завтра, завтра... Ты каждый день говоришь мне завтра. Мы еще двадцать дней будем ехать!

– Но, дружок, честное слово отца, мы приедем завтра. Я никогда не лгу, а если нас задержала вьюга, то я не виноват.

– Я не могу больше терпеть! Не могу, не могу!

Саша резко дрыгнула ногой и огласила комнату неприятным визгливым плачем. Отец ее махнул рукой и растерянно поглядел на брюнетку. Та пожалала плечами и нерешительно подошла к Саше.

– Послушай, милая, – сказала она, – зачем же плакать? Правда, нехорошо, если болит плечо, но что же делать?

– Видите ли, сударыня, – быстро заговорил мужчина, как бы оправдываясь, – мы не спали две ночи и ехали в отвратительном экипаже. Ну, конечно, естественно, что она больна и тоскует... А тут еще, знаете ли, нам пьяный извозчик попался, чемодан у нас украли... метель всё время, но к чему, сударыня, плакать? Впрочем, этот сон в сидячем положении утомил меня, и я точно пьяный. Ей-богу, Саша, тут и без тебя тошно, а ты еще плачешь!

Мужчина покрутил головой, махнул рукой и сел.

– Конечно, не следует плакать, – сказала брюнетка. – Это только грудные дети плачут. Если ты больна, милая, то надо раздеться и спать... Давай-ка разденемся!

Когда девочка была раздета и успокоена, опять наступило молчание. Брюнетка сидела у окна и с недоумением оглядывала трактирную комнату, образ, печку... По-видимому, ей казались странными и комната, и девочка с ее толстым носом, в короткой мальчишеской сорочке, и девочкин отец. Этот странный человек сидел в углу, растерянно, как пьяный, поглядывал по сторонам и мямля ладонью свое лицо. Он молчал, моргал глазами, и, глядя на его виноватую фигуру, трудно было предположить, чтоб он скоро начал говорить. Но первый начал говорить он. Погладив себе колени, кашлянув, он усмехнулся и сказал:

– Комедия, ей-богу... Смотрю и глазам своим не верю: ну, за каким лешим судьба загнала нас в этот поганый трактир? Что она хотела этим выразить? Жизнь выделяет иногда такие salto mortale,<sup>1</sup> что только гляди и в недоумении глазами хлопай. Вы, сударыня, далеко изволите ехать?

– Нет, недалеко, – ответила брюнетка. – Я еду из нашего имения, отсюда верст двадцать, в наш же хутор, к отцу и брату. Я сама Иловайская, ну и хутор также называется Иловайским, двенадцать верст отсюда. Какая неприятная погода!

– Чего хуже!

Вошел хромой мальчик и вставил в помадную банку новый огарок.

– Ты бы, хлопче, самоварчик нам поставил! – обратился к нему мужчина.

– Кто ж теперь чай пьет? – усмехнулся хромой. – Грех до обедни пить.

– Ничего, хлопче, не ты будешь гореть в аду, а мы...

За чаем новые знакомые разговорились. Иловайская узнала, что ее собеседника зовут Григорием Петровичем Лихаревым, что он родной брат тому самому Лихареву, который в одном из соседних уездов служит предводителем, и сам был когда-то помещиком, но «своевременно прогорел». Лихарев же узнал, что Иловайскую зовут Марьей Михайловной, что имение у ее отца громадное, но что хозяйничать приходится только ей одной, так как отец и брат смотрят на жизнь сквозь пальцы, беспечны и слишком любят борзых.

– Отец и брат на хуторе одни-одинёшеньки, – говорила Иловайская, шевеля пальцами (в разговоре у нее была манера шевелить перед своим колючим лицом пальцами и, после каждой фразы, облизывать острым язычком губы), – они, мужчины, народ беспечный, и сами для себя пальцем не пошевельнут. Воображаю, кто даст им разговеться! Матери у нас нет, а прислуга у нас такая, что без меня и скатерти путем не постеляют. Можете теперь представить их положение! Они останутся без разговенья, а я всю ночь должна здесь сидеть. Как всё это странно!

Иловайская пожала плечами, отхлебнула из чашки и сказала:

– Есть праздники, которые имеют свой запах. На Пасху, Троицу и на Рождество в воздухе пахнет чем-то особенным. Даже неверующие любят эти праздники. Мой брат, например, толкует, что Бога нет, а на Пасху первый бежит к заутрене.

Лихарев поднял глаза на Иловайскую и засмеялся.

– Толкуют, что Бога нет, – продолжала Иловайская, тоже засмеявшись, – но почему же, скажите мне, все знаменитые писатели, ученые, вообще умные люди, под конец жизни веруют?

– Кто, сударыня, в молодости не умел верить, тот не уверует и в старости, будь он хоть распереписатель.

Судя по кашлю, у Лихарева был бас, но, вероятно, из боязни говорить громко или из излишней застенчивости, он говорил тенором. Помолчав немного, он вздохнул и сказал:

– Я так понимаю, что вера есть способность духа. Она все равно что талант: с нею надо родиться. Насколько я могу судить по себе, по тем людям, которых видал на своем веку, по всему тому, что творилось вокруг, эта способность присуща русским людям в высочайшей степени. Русская жизнь представляет из себя непрерывный ряд верований и увлечений, а неверия или отрицания она еще, ежели желаете знать, и не нюхала. Если русский человек не верит в Бога, то это значит, что он верует во что-нибудь другое.

---

<sup>1</sup> смертельные прыжки (лат.)

Лихарев принял от Иловайской чашку с чаем, отхлебнул сразу половину и продолжал:

– Я вам про себя скажу. В мою душу природа вложила необыкновенную способность верить. Полжизни я состоял, не к ночи будь сказано, в штате атеистов и нигилистов, но не было в моей жизни ни одного часа, когда бы я не веровал. Все таланты обнаруживаются обыкновенно в раннем детстве, так и моя способность давала уже себя знать, когда я еще под столом пешком ходил. Моя мать любила, чтобы дети много ели, и когда, бывало, кормила меня, то говорила: «Ешь! Главное в жизни суп!» Я верил, ел этот суп по десяти раз в день, ел как акула, до отвращения и обморока. Рассказывала нянька сказки, и я верил в домовых, в леших, во всякую чертовщину. Бывало, краду у отца сулему, посыпаю ею пряники и ношу их на чердак, чтоб, видите ли, домовые поели и передохли. А когда научился читать и понимать читанное, то пошла писать губерния! Я и в Америку бегал, и в разбойники уходил, и в монастырь просился, и мальчишек нанимал, чтоб они меня мучили за Христа. И заметьте, вера у меня была всегда деятельная, не мертвая. Ежели я в Америку убегал, то не один, а совращал с собой еще кого-нибудь, такого же дурака, как я, и рад был, когда мерз за заставой и когда меня пороли; ежели в разбойники уходил, то возвращался непременно с разбитой рожей. Беспокойнейшее детство, я вам доложу! А когда меня отдали в гимназию и осыпали там всякими истинами вроде того, что земля ходит вокруг солнца, или что белый цвет не белый, а состоит из семи цветов, закружилась моя головушка! Всё у меня полетело кувырком: и Навин, остановивший солнце, и мать, во имя пророка Илии отрицавшая громоотводы, и отец, равнодушный к истинам, которые я узнал. Мое прозрение вдохновило меня. Как шальной, ходил я по дому, по конюшням, проповедовал свои истины, приходил в ужас от невежества, пылал ненавистью ко всем, кто в белом цвете видел только белое... Впрочем, всё это пустяки и мальчишество. Серьезные же, так сказать, мужественные увлечения начались у меня с университета. Вы, сударыня, изволили где-нибудь окончить курс?

– В Новочеркасске, в Донском институте.

– А на курсах не были? Стало быть, вы не знаете, что такое науки. Все науки, сколько их есть на свете, имеют один и тот же паспорт, без которого они считают себя немислимыми: стремление к истине! Каждая из них, даже какая-нибудь фармакогнозия, имеет своею целью не пользу, не удобства в жизни, а истину. Замечательно! Когда вы принимаетесь изучать какую-нибудь науку, то вас прежде всего поражает ее начало. Я вам скажу, нет ничего увлекательнее и грандиознее, ничто так не ошеломляет и не захватывает человеческого духа, как начало какой-нибудь науки. С первых же пяти-шести лекций вас уже окрыляют самые яркие надежды, вы уже кажетесь себе хозяином истины. И я отдался наукам беззаветно, страстно, как любимой женщине. Я был их рабом и, кроме них, не хотел знать никакого другого солнца. День и ночь, не разгибая спины, я зубрил, разорялся на книги, плакал, когда на моих глазах люди эксплуатировали науку ради личных целей. Но я не долго увлекался. Штука в том, что у каждой науки есть начало, но вовсе нет конца, всё равно, как у периодической дроби. Зоология открыла 35000 видов насекомых, химия насчитывает 60 простых тел. Если со временем к этим цифрам прибавится справа по десяти нолей, зоология и химия так же будут далеки от своего конца, как и теперь, а вся современная научная работа заключается именно в приращении цифр. Сей фокус я уразумел, когда открыл 35001-й вид и не почувствовал удовлетворения. Ну-с, разочарования я не успел пережить, так как скоро мною овладела новая вера. Я ударился в нигилизм с его прокламациями, черными переделами и всякими штуками. Ходил я в народ, служил на фабриках, в смазчиках, бурлаках. Потом, когда, шатаюсь по Руси, я понюхал русскую жизнь, я обратился в горячего поклонника этой жизни. Я любил русский народ до страдания, любил и веровал в его Бога, в язык, творчество... И так далее, и так далее... В свое время был я славянофилом, надоедал Аксакову письмами, и украинофилом, и археологом, и собирателем образцов народного творчества... увлекался я идеями, людьми, событиями, местами... увлекался без

перерыва! Пять лет тому назад я служил отрицанию собственности: последней моей верой было непротивление злу.

Саша прерывисто вздохнула и задвигалась. Лихарев поднялся и подошел к ней.

– Дружочек мой, не хочешь ли чаю? – спросил он нежно.

– Пей сам! – грубо ответила девочка.

Лихарев сконфузился и виноватой походкой вернулся к столу.

– Значит, вам весело жилось, – сказала Иловайская. – Есть о чем вспомнить.

– Ну, да, всё это весело, когда сидишь за чаем с доброй собеседницей и болтаешь, но вы спросите, во что мне обошлась эта веселость? Что стоило мне разнообразие моей жизни? Ведь я, сударыня, веровал не как немецкий доктор философии, не цирлих-манирлих, не в пустыне я жил, а каждая моя вера гнула меня в дугу, рвала на части мое тело. Судите вы сами. Был я богат, как братья, но теперь я нищий. В чаду увлечений я ухлопал и свое состояние и женино – массу чужих денег. Мне теперь 42 года, старость на носу, а я бесприютен, как собака, которая отстала ночью от обоза. Во всю жизнь мою я не знал, что такое покой. Душа моя непрерывно томилась, страдала даже надеждами... Я изнывал от тяжкого беспорядочного труда, терпел лишения, раз пять сидел в тюрьме, таскался по Архангельским и Тобольским губерниям... вспоминать больно! Я жил, но в чаду не чувствовал самого процесса жизни. Верите ли, я не помню ни одной весны, не замечал, как любила меня жена, как рождались мои дети. Что еще сказать вам? Для всех, кто любил меня, я был несчастьем... Моя мать вот уже 15 лет носит по мне траур, а мои гордые братья, которым приходилось из-за меня болеть душой, краснеть, гнуть свои спины, сорить деньгами, под конец возненавидели меня, как отраву.

Лихарев поднялся и опять сел.

– Если б я был только несчастлив, то я возблагодарил бы Бога, – продолжал он, не глядя на Иловайскую. – Мое личное несчастье уходит на задний план, когда я вспоминаю, как часто в своих увлечениях я был нелеп, далек от правды, несправедлив, жесток, опасен! Как часто я всей душой ненавидел и презирал тех, кого следовало бы любить, и – наоборот. Изменял я тысячу раз. Сегодня я верую, падаю ниц, а завтра уж я трусом бегу от сегодняшних моих богов и друзей и молча глотаю подлеца, которого пускают мне вслед. Бог один видел, как часто от стыда за свои увлечения я плакал и грыз подушку. Ни разу в жизни я умышленно не солгал и не сделал зла, но нечиста моя совесть! Сударыня, я не могу даже похвастать, что на моей совести нет ничьей жизни, так как на моих же глазах умерла моя жена, которую я изнурил своею бесшабашностью. Да, моя жена! Послушайте, у нас в общежитии преобладают теперь два отношения к женщинам. Одни измеряют женские черепа, чтоб доказать, что женщина ниже мужчины, ищут ее недостатков, чтоб глумиться над ней, оригинальничать в ее же глазах и оправдать свою животность. Другие же из всех сил стараются поднять женщину до себя, т.е. заставить ее зазубрить 35000 видов, говорить и писать те же глупости, какие они сами говорят и пишут...

Лицо Лихарева потемнело.

– А я вам скажу, что женщина всегда была и будет рабой мужчины, – заговорил он басом, стукнув кулаком по столу. – Она нежный, мягкий воск, из которого мужчина всегда лепил всё, что ему угодно. Господи Боже мой, из-за грошового мужского увлечения она стригла себе волосы, бросала семью, умирала на чужбине... Между идеями, для которых она жертвовала собой, нет ни одной женской... Беззаветная, преданная раба! Черепов я не измерял, а говорю это по тяжкому, горькому опыту. Самые гордые самостоятельные женщины, если мне удавалось сообщать им свое вдохновение, шли за мной, не рассуждая, не спрашивая и делая всё, что я хотел: из монашенки я

сделал нигилистку, которая, как потом я слышал, стреляла в жандарма; жена моя не оставляла меня в моих скитаниях ни на минуту и, как флюгер, меняла свою веру параллельно тому, как я менял свои увлечения.

Лихарев вскочил и заходил по комнате.

– Благородное, возвышенное рабство! – сказал он, всплескивая руками. – В нем-то именно и заключается высокий смысл женской жизни! Из страшного сумбура, накопившегося в моей голове за всё время моего общения с женщинами, в моей памяти, как в фильтре, уцелели не идеи, не умные слова, не философия, а эта необыкновенная покорность судьбе, это необычайное милосердие, всепрощение...

Лихарев сжал кулаки, уставился в одну точку и с каким-то страстным напряжением, точно обсасывая каждое слово, процедил сквозь сжатые зубы:

– Эта... эта великодушная выносливость, верность до могилы, поэзия сердца... Смысл жизни именно в этом безропотном мученичестве, в слезах, которые размягчают камень, в безграничной, всепрощающей любви, которая вносит в хаос жизни свет и теплоту...

Иловайская медленно поднялась, сделала шаг к Лихареву и впилась глазами в его лицо. По слезам, которые блестели на его ресницах, по дрожавшему, страстному голосу, по румянцу щек для нее ясно было, что женщины были не случайною и не простою темою разговора. Они были предметом его нового увлечения или, как сам он говорил, новой веры! Первый раз в жизни Иловайская видела перед собой человека увлеченного, горячо верующего. Жестикулируя, сверкая глазами, он казался ей безумным, иступленным, но в огне его глаз, в речи, в движениях всего большого тела чувствовалось столько красоты, что она, сама того не замечая, стояла перед ним, как вкопанная, и восторженно глядела ему в лицо.

– А возьмите вы мою мать! – говорил он, протягивая к ней руки и делая умоляющее лицо. – Я отравил ее существование, обесславил, по ее понятиям, род Лихаревых, причинил ей столько зла, сколько может причинить злейший враг, и – что же? Братья выдают ей гроши на просфоры и молебны, а она, насилуя свое религиозное чувство, копит эти деньги и тайком шлет их своему беспутному Григорию! Одна эта мелочь воспитает и облагородит душу гораздо сильнее, чем все теории, умные слова, 35000 видов! Я вам могу тысячу примеров привести. Да вот хоть бы вас взять! На дворе вьюга, ночь, а вы едете к брату и отцу, чтобы в праздник согреть их лаской, хотя они, быть может, не думают, забыли о вас. А погодите, полюбите человека, так вы за ним на северный полюс пойдете. Ведь пойдете?

– Да, если... полюблю.

– Вот видите! – обрадовался Лихарев и даже ногою притопнул. – Ей-богу, так я рад, что с вами познакомился! Такая добрая моя судьба, всё я с великолепными людьми встречаюсь. Что ни день, то такое знакомство, что за человека просто бы душу отдал. На этом свете хороших людей гораздо больше, чем злых. Вот подите же, так мы с вами откровенно и по душам поговорили, как будто сто лет знакомы. Иной раз, доложу я вам, лет десять креписься, молчишь, от друзей и жены скрытничаешь, а встретишь в вагоне кадета и всю ему душу выболтаешь. Вас я имею честь видеть только первый раз, а покался вам, как никогда не каялся. Отчего это?

Потирая руки и весело улыбаясь, Лихарев прошелся по комнате и опять заговорил о женщинах. Между тем зазвонили к заутрене.

– Господи! – заплакала Саша. – Он своими разговорами не дает мне спать!

– Ах, да! – спохватился Лихарев. – Виноват, дружочек. Спи, спи... Кроме нее, у меня еще двое мальчиков есть. – зашептал он. – Те, сударыня, у дяди живут, а эта не может и дня продышать без

отца. Страдает, ропщет, а липнет ко мне, как муха к меду. Я, сударыня, заболтался, а оно бы и вам не мешало отдохнуть. Не угодно ли, я сделаю вам постель?

Не дожидаясь позволения, он встряхнул мокрый салоп и растянул его по скамье, мехом вверх, подобрал разбросанные платки и шали, положил у изголовья свернутое в трубку пальто, и всё это молча, с выражением подобострастного благоговения на лице, как будто возился не с женскими тряпками, а с осколками освященных сосудов. Во всей его фигуре было что-то виноватое, конфузливое, точно в присутствии слабого существа он стыдился своего роста и силы...

Когда Иловайская легла, он потушил свечку и сел на табурет около печки.

– Так-то, сударыня, – шептал он, закуривая толстую папиросу и пуская дым в печку. – Природа вложила в русского человека необыкновенную способность верить, испытующий ум и дар мыслительства, но всё это разбивается в прах о беспечность, лень и мечтательное легкомыслие... Да-с...

Иловайская удивленно вглядывалась в потемки и видела только красное пятно на образе и мелькание печного света на лице Лихарева. Потемки, колокольный звон, рев метели, хромой мальчик, ропщущая Саша, несчастный Лихарев и его речи – всё это мешалось, выросло в одно громадное впечатление, и мир Божий казался ей фантастичным, полным чудес и чарующих сил. Всё только что слышанное звучало в ее ушах, и жизнь человеческая представлялась ей прекрасной, поэтической сказкой, в которой нет конца.

Громадное впечатление росло и росло, заволокло собой сознание и обратилось в сладкий сон. Иловайская спала, но видела лампадку и толстый нос, по которому прыгал красный свет.

Слышала она плач.

– Дорогой папа, – нежно умолял детский голос, – вернемся к дяде! Там елка! Там Степа и Коля!

– Дружочек мой, что же я могу сделать? – убеждал тихий мужской бас. – Пойми меня! Ну, пойми!

И к детскому плачу присоединился мужской. Этот голос человеческого горя среди воя непогоды коснулся слуха девушки такой сладкой, человеческой музыкой, что она не вынесла наслаждения и тоже заплакала. Слышала она потом, как большая черная тень тихо подходила к ней, поднимала с полу упавшую шаль и кутала ее ноги.

Разбудил Иловайскую странный рев. Она вскочила и удивленно поглядела вокруг себя. В окна, наполовину занесенные снегом, глядела синева рассвета. В комнате стояли серые сумерки, сквозь которые ясно вырисовывались и печка, и спавшая девочка, и Наср-Эддин. Печь и лампадка уже потухли. В раскрытую настежь дверь видна была большая трактирная комната с прилавком и столами. Какой-то человек, с тупым, цыганским лицом, с удивленными глазами, стоял посреди комнаты на луже растаявшего снега и держал на палке большую красную звезду. Его окружала толпа мальчишек, неподвижных, как статуи, и облепленных снегом. Свет звезды, проходя сквозь красную бумагу, румянил их мокрые лица. Толпа беспорядочно редела, и из ее рева Иловайская поняла только один куплет:

Гей, ты, хлопчик маненький,

Бери ножик тоненький,

Убьем, убьем жиду,

Прискорбного сына...

Около прилавка стоял Лихарев, глядел с умилением на певцов и притопывал в такт ногой. Увидев Иловайскую, он улыбнулся во всё лицо и подошел к ней. Она тоже улыбнулась.

– С праздником! – сказал он. – Я видел, вы хорошо спали.

Иловайская глядела на него, молчала и продолжала улыбаться.

После ночных разговоров он уж казался ей не высоким, не широкоплечим, а маленьким, подобно тому, как нам кажется маленьким самый большой пароход, про который говорят, что он проплыл океан.

– Ну, мне пора ехать. – сказала она. – Надо одеваться. Скажите, куда же вы теперь направляетесь?

– Я-с? На станцию Клинушки, оттуда в Сергиево, а из Сергиева 40 верст на лошадях в угольные шахты одного дурня, некоего генерала Шашковского. Там мне братья место управляющего нашли... Буду уголь копать.

– Позвольте, я эти шахты знаю. Ведь Шашковский мой дядя. Но... зачем вы туда едете? – спросила Иловайская, удивленно оглядывая Лихарева.

– В управляющие. Шахтами управлять.

– Не понимаю! – пожалла плечами Иловайская. – Вы едете в шахты. Но ведь там голая степь, безлюдье, скука такая, что вы дня не проживете! Уголь отвратительный, никто его не покупает, а мой дядя маньяк, деспот, банкрот... Вы и жалованья не будете получать!

– Всё равно, – сказал равнодушно Лихарев. – И за шахты спасибо.

Иловайская пожалла плечами и в волнении заходила по комнате.

– Не понимаю, не понимаю! – говорила она, шевеля перед своим лицом пальцами. – Это невозможно и... и неразумно! Вы поймите, что это... это хуже ссылки, это могила для живого человека! Ах, Господи, – горячо сказала она, подходя к Лихареву и шевеля пальцами перед его улыбающимся лицом; верхняя губа ее дрожала и колючее лицо побледнело. – Ну, представьте вы голую степь, одиночество. Там не с кем слова сказать, а вы... увлечены женщинами! Шахты и женщины!

Иловайская вдруг устыдилась своей горячности и, отвернувшись от Лихарева, отошла к окну.

– Нет, нет, вам туда нельзя ехать! – сказала она, быстро водя пальцем по стеклу.

Не только душой, но даже спиной ощущала она, что позади нее стоит бесконечно несчастный, пропавший, брошенный человек, а он, точно не сознавая своего несчастья, точно не он плакал ночью, глядел на нее и добродушно улыбался. Уж лучше бы он продолжал плакать! Несколько раз в волнении прошла она по комнате, потом остановилась в углу и задумалась. Лихарев что-то говорил, но она его не слышала. Повернувшись к нему спиной, она вытасила из портмоне четвертную бумажку, долго мяла ее в руках и, оглянувшись на Лихарева, покраснела и сунула бумажку к себе в карман.

За дверью послышался голос кучера. Иловайская молча, со строгим, сосредоточенным лицом, стала одеваться. Лихарев кутал ее и весело болтал, но каждое его слово ложилось на ее душу тяжестью. Невесело слушать, когда балагурят несчастные или умирающие.

Когда было кончено превращение живого человека в бесформенный узел, Иловайская оглядела в последний раз «проезжающую», постояла молча и медленно вышла. Лихарев пошел проводить ее...

А на дворе всё еще, Бог знает чего ради, злилась зима. Целые облака мягкого крупного снега беспокойно кружились над землей и не находили себе места. Лошади, сани, деревья, бык, привязанный к столбу, – всё было бело и казалось мягким, пушистым.

– Ну, дай Бог вам, – бормотал Лихарев, усаживая Иловайскую в сани. – Не поминайте лихом...

Иловайская молчала. Когда сани тронулись и стали объезжать большой сугроб, она оглянулась на Лихарева с таким выражением, как будто что-то хотела сказать ему. Тот подбежал к ней, но она не сказала ему ни слова, а только взглянула на него сквозь длинные ресницы, на которых висли снежинки...

Сумела ли в самом деле его чуткая душа прочесть этот взгляд или, быть может, его обмануло воображение, но ему вдруг стало казаться, что еще бы два-три хороших, сильных штриха, и эта девушка простила бы ему его неудачи, старость, бездолье и пошла бы за ним, не спрашивая, не рассуждая. Долго стоял он, как вкопанный, и глядел на след, оставленный полозьями. Снежинки жадно садились на его волосы, бороду, плечи... Скоро след от полозьев исчез, и сам он, покрытый снегом, стал походить на белый утес, но глаза его всё еще искали чего-то в облаках снега.

## Панихида

В церкви Одигитриевской Божией Матери, что в селе Верхних Запрудах, обедня только что кончилась. Народ задвигался и валит из церкви. Не двигается один только лавочник Андрей Андреич, верхнезапрудский интеллигент и старожил. Он облокотился о перила правого клироса и ждет. Его бритое, жирное и бугристое от когда-то бывших прыщей лицо на сей раз выражает два противоположных чувства: смирение перед неисповедимыми судьбами и тупое, безграничное высокомерие перед мимо проходящими чуйками и пестыми платками. По случаю воскресного дня он одет франтом. На нем суконное пальто с желтыми костяными пуговицами, синие брюки навыпуск и солидные калоши, те самые громадные, неуклюжие калоши, которые бывают на ногах только у людей положительных, рассудительных и религиозно убежденных.

Его заплывшие, ленивые глаза обращены на иконостас. Он видит давно уже знакомые лики святых, сторожа Матвея, надувающего щеки и тушащего свечи, потемневшие ставники, потертый ковер, дьячка Лопухова, стремительно выбегающего из алтаря и несущего ктитору просфору... Всё это давно уже видано и перевидано, как свои пять пальцев... Несколько, впрочем, странно и необыденно только одно: у северной двери стоит отец Григорий, еще не снимавший облачения, и сердито мигает своими густыми бровями.

«Кому это он мигает, дай Бог ему здоровья? — думает лавочник. — А, и пальцем закивал! И ногой топнул, скажи на милость... Что за оказия, Мать Царица? Кому это он?»

Андрей Андреич оглядывается и видит совсем уже опустевшую церковь. У дверей столпилось человек десять, да и те стоят спиной к алтарю.

— Иди же, когда зовут! Что стоишь, как изваяние? — слышит он сердитый голос отца Григория. — Тебя зову!

Лавочник глядит на красное, разгневанное лицо отца Григория и тут только соображает, что миганье бровей и киванье пальца могут относиться и к нему. Он вздрагивает, отделяется от клироса и нерешительно, гремя своими солидными калошами, идет к алтарю.

— Андрей Андреич, это ты подавал на проскомидию за упокой Марии? — спрашивает батюшка, сердито вскидывая глазами на его жирное, вспотевшее лицо.



— Точно так.

— Так, стало быть, ты это написал? Ты?

И отец Григорий сердито тычет к глазам его записочку. А на этой записочке, поданной Андреем Андреечем на проскомидию вместе с просфорой, крупными, словно шатающимися буквами написано:

«За упокой рабы божией блудницы Марии».

— Точно так... я-с написал... — отвечает лавочник.

— Как же ты смел написать это? — протяжно шепчет батюшка, и в его сиплом шёпоте слышатся гнев и испуг.

Лавочник глядит на него с тупым удивлением, недоумевает и сам пугается: отродясь еще отец Григорий не говорил таким тоном с верхнезапрудскими интеллигентами! Оба минуту молчат и засматривают друг другу в глаза. Недоумение лавочника так велико, что жирное лицо его расплывается во все стороны, как пролитое тесто.

— Как ты смел? — повторяет батюшка.

— Ко... кого-с? — недоумевает Андрей Андрееч.

— Ты не понимаешь?! — шепчет отец Григорий, в изумлении делая шаг назад и всплескивая руками. — Что же у тебя на плечах: голова или другой какой предмет? Подаешь записку к жертвеннику, а пишешь на ней слово, какое даже и на улице произносить непристойно! Что глаза пучишь? Нешто не знаешь, какой смысл имеет это слово?

— Это вы касательно блудницы-с? — бормочет лавочник, краснея и мигая глазами. — Но ведь Господь, по благодати своей, тово... это самое, простил блудницу... место ей уготовал, да и из жития преподобной Марии Египетской видать, в каких смыслах это самое слово, извините...

Лавочник хочет привести в свое оправдание еще какой-то аргумент, но путается и утирает губы рукавом.

— Вот как ты понимаешь! — всплескивает руками отец Григорий. — Но ведь Господь простил — понимаешь? — простил, а ты осуждаешь, поносишь, непристойным словом обзываешь, да еще кого! Усопшую дочь родную! Не только из священного, но даже из светского писания такого греха не вычитаешь! Повторяю тебе, Андрей: мудрствовать не нужно! Да, мудрствовать, брат, не нужно! Коли дал тебе Бог испытующий разум и ежели ты не можешь управлять им, то лучше уж не вникай... Не вникай и молчи!

— Но ведь она тово... извините, актерка была! — выговаривает ошеломленный Андрей Андрееч.

— Актерка! Да кто бы она ни была, ты всё после ее смерти забыть должен, а не то что на записках писать!

— Это точно... — соглашается лавочник.

— Наложить бы на тебя эпитимию, — басит из глубины алтаря дьякон, презрительно глядя на сконфуженное лицо Андрея Андрееча, — так перестал бы умствовать! Твоя дочь известная артистка была. Про ее кончину даже в газетах печатали... Философ!

— Оно, конечно... действительно... — бормочет лавочник, — слово неподходящее, но я не для осуждения, отец Григорий, а хотел по-божественному... чтоб вам видней было, за кого молить. Пишут же в поминальницах названия разные, вроде там младенца Иоанна, утопленницы Пелагеи, Егора-воина, убиенного Павла и прочее разное... Так и я желал.

— Неразумно, Андрей! Бог тебя простит, но в другой раз остерегись. Главное, не мудрствуй и мысли по примеру прочих. Положи десять поклонов и ступай.

— Слушаю, — говорит лавочник, радуясь, что нотация уже кончилась, и опять придавая своему лицу выражение важности и степенства. — Десять поклонов? Очень хорошо-с, понимаю. А теперь, батюшка, дозвоьте к вам с просьбой... Потому, как я все-таки отец ей... сами знаете, а она мне, какая там ни на есть, все-таки дочь, то я тово... извините, собираюсь просить вас сегодня отслужить панихиду. И вас дозвоьте просить, отец дьякон!

— Вот это хорошо! — говорит отец Григорий, разоблачаясь. — За это хвалю. Можно одобрить... Ну, ступай! Мы сейчас выйдем.

Андрей Андреич солидно шагает от алтаря и красный, с торжественно-панихидным выражением лица останавливается посреди церкви. Сторож Матвей ставит перед ним столик с коливом, и, немного погодя, панихида начинается.

В церкви тишина. Слышен только металлический звук кадила да протяжное пение... Возле Андрея Андреича стоят сторож Матвей, повитуха Макарьевна и ее сынишка, сухорукий Митька. Больше никого нет. Дьячок поет плохо, неприятным, глухим басом, но напев и слова так печальны, что лавочник мало-помалу теряет выражение степенства и погружается в грусть. Вспоминает он свою Машутку... Он помнит, что родилась она у него, когда он еще служил лакеем у верхнезапрудских господ. За лакейской суетой он и не замечал, как росла его девочка. Тот длинный период, когда она формировалась в грациозное создание с белокурой головкой и большими, как копейки, задумчивыми глазами, прошел для него незамеченным. Воспитывалась она, как и вообще все дети фаворитов-лакеев, в белом теле, около барышень. Господа, от нечего делать, выучили ее читать, писать, танцевать, он же в ее воспитание не вмешивался. Изредка разве, случайно, сойдясь с ней где-нибудь у ворот или на площадке лестницы, он вспоминал, что она его дочь, и начинал, насколько хватало досуга, учить ее молитвам и священной истории. О, и тогда еще он слыл за знатока уставов и св. писания! Девочка, как ни хмуро и ни солидно было лицо отца, охотно слушала его. Молитвы повторяла она за ним зевая, но зато, когда он, заикаясь в стараясь выражаться пофигуристее, начинал рассказывать ей истории, она вся превращалась в слух. Чечевица Исава, казнь Содома и бедствия маленького мальчика Иосифа заставляли ее бледнеть и широко раскрывать голубые глаза.

Затем, когда он бросил лакейство и на скопленные деньги открыл в селе лавочку, Машутка уехала с господами в Москву...

За три года до своей смерти она приезжала к отцу. Он едва узнал ее. Это была молодая, стройная женщина, с манерами барыни и одетая по-господски. Говорила она по-умному, словно по книге, курила табак, спала до полудня. Когда Андрей Андреич спросил ее, чем она занимается, она, смело глядя ему прямо в глаза, объявила: «Я актриса!» Такая откровенность показалась бывшему лакею верхом цинизма. Машутка начала было хвастать своими успехами и актерским житьем, но, видя, что отец только багровеет и разводит руками, умолкла. И молча, не глядя друг на друга, они прожили недели две, до самого отъезда. Перед отъездом она упросила отца пойти погулять с ней по берегу. Как ни жутко ему было гулять среди бела дня, на глазах всего честного народа с дочкой актрисой, но он уступил ее просьбам...

— Какие чудные у вас места! — восхищалась она, гуляя. — Что за овраги и болота! Боже, как хороша моя родина!

И она заплакала.

«Эти места только место занимают... — думал Андрей Андреич, тупо глядя на овраги и не понимая восторга дочери. — От них корысти, как от козла молока».

А она плакала, плакала и жадно дышала всей грудью, словно чувствовала, что ей недолго еще осталось дышать...

Андрей Андреич встряхивает головой, как укушенная лошадь, и, чтоб заглушить тяжелые воспоминания, начинает быстро креститься...

— Помяни, Господи, — бормочет он, — усопшую рабу твою блудницу Марию и прости ей вольная и невольная...

Непристойное слово опять срывается с его языка, но он не замечает этого: что прочно засело в сознания, того, знать, не только наставлениями отца Григория, но и гвоздем не выковыришь! Макарьевна вздыхает и что-то шепчет, втягивая в себя воздух, сухорукий Митька о чем-то задумался...

— ...идеже несть болезни, печалей и вздыхания... — гудит дьячок, прикрывая рукой правую щеку.

Из кадила струится синеватый дымок и купается в широком косом луче, пересекающем мрачную, безжизненную пустоту церкви. И кажется, вместе с дымом носится в луче душа самой усопшей. Струйки дыма, похожие на кудри ребенка, кружатся, несутся вверх к окну и словно сторонятся уныния и скорби, которыми полна эта бедная душа.

## Встреча

*А зачем у него светящиеся  
глаза, маленькое ухо, короткая и  
почти круглая голова, как у самых  
свирепых хищных животных?*

Максимов

Ефрем Денисов тоскливо поглядел кругом на пустынную землю. Его томила жажда, и во всех членах стояла ломота. Конь его, тоже утомленный, распаленный зноем и давно не евший, печально понурил голову. Дорога отлого спускалась вниз по бугру и потом убегала в громадный хвойный лес. Вершины деревьев сливались вдаль с синевой неба, и виден был только ленивый полет птиц да дрожание воздуха, какое бывает в очень жаркие летние дни. Лес громоздился террасами, уходя вдаль всё выше и выше, и казалось, что у этого страшного зеленого чудовища нет конца.

Ехал Ефрем из своего родного села Курской губернии собирать на погоревший храм. В телеге стоял образ Казанской божией матери, пожухлый и полупившийся от дождей и жара, перед ним большая жестяная кружка с вдавленными боками и с такой щелью на крышке, в какую смело мог бы пролезть добрый ржаной пряник. На белой вывеске, прибитой к задку телеги, крупными печатными буквами было написано, что такого-то числа и года в селе Малиновцах "по произволу Господа пламенем пожара истребило храм" и что мирской сход с разрешения и благословения надлежащих властей постановил послать "доброхотных желателей" за сбором подаяния на построение храма. Сбоку телеги на перекладке висел двадцатифунтовый колокол.

Ефрем никак не мог понять, где он находился, а лесная громада, куда исчезала дорога, не обещала ему близкого жилья. Постояв недолго, поправив шлею, он начал осторожно спускаться с бугра. Телега вздрогнула, и колокол издал звук, нарушивший ненадолго мертвую тишину знойного дня.

В лесу ждала Ефрема атмосфера удушливая, густая, насыщенная запахами хвои, мха и гниющих листьев. Слышен легкий звенящий стон назойливых комаров да глухие шаги самого

путника. Лучи солнца, пробиваясь сквозь листву, скользят по стволам, по нижним ветвям и небольшими кругами ложатся на темную землю, сплошь покрытую иглами. Кое-где у стволов мелькнет папоротник или жалкая костяника, а то хоть шаром покати.

Ефрем шел сбоку телеги и торопил лошадь. Колокол изредка, когда колеса наезжали на корневище, ползущее змеей через дорогу, жалобно позвякивал, как будто и ему хотелось на покой.

- Здорово, папаша! - услышал вдруг Ефрем резкий крикливый голос. Путь-дорога!

У самой дороги, положив голову на муравейный холмик, лежал длинноногий мужик лет 30-ти, в ситцевой рубаше и в узких, не мужицких штанах, засунутых в короткие рыжие голенища. Около головы его валялась форменная чиновничья фуражка, полинявшая до такой степени, что только по пятнышку, оставшемуся после кокарды, и можно было угадать ее первоначальный цвет. Лежал мужик непокойно: всё время, пока рассматривал его Ефрем, он дергал то руками, то ногами, точно его донимали комары или беспокоила чесотка. Но ни одежда, ни движения, ничто не было так странно в нем, как его лицо. Ефрем раньше во всю свою жизнь не видал таких лиц. Бледное, жидковолосое, с выдающимся вперед подбородком и с чубом на голове, оно в профиль походило на молодой месяц; нос и уши поражали своей мелкостью, глаза не мигали, глядели неподвижно в одну точку, как у дурачка или удивленного, и, в довершение странности лица, вся голова казалась сплюснутой с боков, так что затылочная часть черепа выдавалась назад правильным полукругом.

- Православный, - обратился к нему Ефрем, - далече ли тут до деревни?

- Нет, не далече. До села Малого верст пять осталось.

- Беда как пить хочется!

- Как не хотеть! - сказал странный мужик и усмехнулся. - Жарит не приведи Бог как! Жара, почитай, градусов в пятьдесят, а то и больше... Тебя как звать?

- Ефрем, парень...

- Ну, а меня - Кузьма... Чай, слыхал, как свахи говорят: я за своего Кузьму кого хочешь возьму.

Кузьма стал одной ногой на колесо, вытянул губы и приложился к образу.

- А далече едешь? - спросил он.

- Далече, православный! Был и в Курском, и в самой Москве был, а теперь спешаю в Нижний на ярманку.

- На храм собираешь?

- На храм, парень... Царице небесной Казанской... Погорел храм-то!

- Отчего погорел?

Лениво поворачивая языком, Ефрем стал рассказывать, как у них в Малиновцах под самый Ильин день молния ударила в церковь. Мужики и причт, как нарочно, были в поле.

- Ребята, которые остались, завидели дым, хотели было в набат ударить, да, зная, прогневался Илья-пророк, церковь была заперши, и колокольню всю как есть полымем обхватило, так что и не достанешь того набата... Приходим с поля, а церковь, Боже мой, так и пышет - подступиться страшно!

Кузьма шел рядом и слушал. Был он трезв, но шел, точно пьяный, размахивая руками, то сбоку телеги, то впереди...

- Ну, а ты как? На жалованье, что ли? - спросил он.

- Какое наше жалованье! За спасенье души ездим, мир послал...

- Так задаром и едешь?

- А кто ж будет платить? Не по своей охоте еду, мир послал, да ведь мир за меня и хлеб уберет, и рожь посеет, и повинности справит... Стало быть, не задаром!

- А живешь чем?

- Христа ради.

- Меринок-то у тебя мирской?

- Мирской...

- Та-ак, братец ты мой... Покурить у тебя нету?

- Не курю, парень.

- А ежели у тебя лошадь издохнет, что тогда делать станешь? На чем поедешь?

- Зачем ей дохнуть? Не надо дохнуть...

- Ну, а ежели... разбойники на тебя нападут?

И болтливый Кузьма спросил еще: куда денутся деньги и лошадь, если сам Ефрем умрет? куда народ будет класть монету, если кружка вдруг окажется полной? что, если у кружки дно провалится, и т. п. А Ефрем, не успевая отвечать, только отдувался и удивленно поглядывал на своего спутника.

- Какая она у тебя пузатая! - болтал Кузьма, толкая кулаком кружку. Ого, тяжелая! Небось, и серебра пропасть, а? А что, ежели б, скажем, тут одно только серебро было? Послушай, а много собрал за дорогу?

- Не считал, не знаю. Народ и медь кладет, и серебро, а сколько - мне не видать.

- А бумажки кладут?

- Которые поблагородней, господа или купцы, те и бумажки подают.

- Что ж? И бумажки в кружке держишь?

- Не, зачем? Бумажка мягкая, она потрется... На грудях держу...

- А много насбирал бумажками?

- Да рублей с двадцать шесть насбирал.

- 26 целковых! - сказал Кузьма и пожал плечами. - У нас в Качаброве, спроси кого хочешь, строили церкву, так за одни планты было дадено три тыщи - во! Твоих денег и на гвозди не хватит! По нынешнему времю 26 целковых раз плюнуть!.. Нынче, брат, купишь чай полтора целковых за фунт и пить не станешь... Сейчас вот, гляди, я курю табак... Мне он годится, потому я мужик, простой человек, а ежели какому офицеру или студенту...

Кузьма вдруг всплеснул руками и продолжал улыбаясь:

- С нами в арестантской сидел немец с железной дороги, так тот, братец ты мой, курил цыгары по десяти копеек штука! А-а? По десяти копеек! Ведь этак, дед, гляди, на сто целковых в месяце выкуришь!

Кузьма даже поперхнулся от приятного воспоминания, и неподвижные глаза его замигали.

- А нешто ты был в арестантской? - спросил Ефрем.

- Был, - ответил Кузьма и поглядел на небо. - Второго дня, как выпустили. Целый месяц сидел.

Вечер наступал, уже садилось солнце, а духота не уменьшалась. Ефрем изнемогал и едва слушал Кузьму. Но вот, наконец, встретился мужик, который сказал, что до Малого осталась одна верста; еще немного - и телега выехала из леса, открылась большая поляна, и перед путниками, точно по волшебству, раскинулась живая, полная света и звуков картина. Телега въехала прямо в стадо коров, овец и спутанных лошадей. За стадом зеленели луга, рожь, ячмень, белела цветущая греча, а там дальше видно было Малое с темной, точно к земле приплюснутой церковью. За селом далеко опять громоздился лес, казавшийся теперь черным.

- Вот и Малое! - сказал Кузьма. - Мужики хорошо живут, но разбойники.

Ефрем снял шапку и зазвонил в колокол. Тотчас же от колодца, который стоял у самого края села, отделились два мужика. Они подошли и приложились к образу. Начались обычные расспросы: куда едешь? откуда?

- Ну, родня, давай божьему человеку пить! - заболтал Кузьма, хлопая по плечу то одного, то другого. - Поворачивайся!

- Какая я тебе родня? По какому случаю?

- Хо-хо-хо! Ваш поп нашему попу двоюродный священник! Твоя баба моего деда из Красного села за чуб вела!

Всё время, пока телега ехала по селу, Кузьма неумоимо болтал и привязывался ко всем встречным. С одного он сорвал шапку, другому ткнул кулаком в живот, третьего потрогал за бороду. Баб называл он милыми, душечками, мамашами, а мужиков, соображаясь с особыми приметами, рыжими, гнедыми, носастыми, кривыми и т. п. Всё это возбуждало самый живой и искренний смех. Скоро у Кузьмы нашлись и знакомые. Послышались возгласы: "А, Кузьма Шкворень! Здравствуй, вешаный! Давно ли из острога вернулся?"

- Эй, вы, подавайте божьему человеку! - болтал Кузьма, размахивая руками. - Поворачивайся! Живо!

И он важно держался и покрикивал, как будто взял божьего человека под свое покровительство или же был его проводником.

Ефрему отвели для ночлега избу бабки Авдотьи, где обыкновенно останавливались странники и прохожие. Ефрем не спеша отпряг коня и сводил его на водопой к колодцу, где полчаса разговаривал с мужиками, а потом уж пошел на отдых. В избе поджидал его Кузьма.

- А, пришел! - обрадовался странный мужик. - Пойдешь в трактир чай пить?

- Чайку попить... оно бы ничего, - сказал Ефрем, почесываясь, - оно бы ничего, да денег нет, парень. Угостишь нешто?

- Угостишь... А на какие деньги?

Кузьма постоял, разочарованный, в раздумье и сел. Неуклюже поворачиваясь, вздыхая, почесываясь, Ефрем поставил икону и кружку под образами, разделся, разулся, посидел, затем поднялся и переставил кружку на лавку, опять сел и стал есть. Жевал он медленно, как коровы жуют жвачку, громко хлебая воду.

- Бедность наша! - вздохнул Кузьма. - Теперь бы водочки... чайку бы...

Два окошка, выходящих на улицу, слабо пропускали вечерний свет. На деревню легла уже большая тень, избы потемнели; церковь, сливаясь в потемках, росла в ширину и, казалось, уходила в

землю... Слабый красный свет, должно быть, отражение вечерней зари, ласково мигал на ее кресте. Поевши, Ефрем долго сидел неподвижно, сложив руки на коленях, и глядел на окно. О чем он думал? В вечерней тишине, когда видишь перед собой одно только тусклое окно, за которым тихо-тихо замирает природа, когда доносится сиплый лай чужих собак и слабый визг чужой гармоники, трудно не думать о далеком родном гнезде. Кто был странником, кого нужда, неволя или прихоть забрасывали далеко от своих, тот знает, как длинен и томителен бывает деревенский вечер на чужой стороне.

Потом Ефрем долго стоял перед своим образом и молился. Укладываясь на скамье спать, он глубоко вздохнул и проговорил как бы нехотя:

- Несообразный ты... Какой-то ты такой, Бог тебя знает...

- А что?

- А то... На настоящего человека не похож... Зубы скалишь, болтаешь непутевое, да вот из арестантской идешь...

- Легко ли дело! В арестантской бывает и хорошие господа сидят... Арестантская, брат, это ничего, пустяковое дело, хоть целый год сидеть могу, а вот ежели острог, то беда. Сказать по правде, я уже раза три в остроге сидел, и нет той недели, чтоб меня в волости не драли... Озлобились все, проклятые... Собирается общество в Сибирь сослать. Уж и приговор такой составили.

- Стало быть, хорош!

- А мне что? И в Сибири люди живут.

- Отец и мать-то у тебя есть?

- Ну их! Живы еще, не поколели...

- А чти отца твоего и мать твою?

- Пушай... Я так понимаю, что они первые мне злодеи и душегубцы. Кто против меня мир натравил? Они да дядька Степан. Больше некому.

- Много ты знаешь, дурак... Мир и без твоего дядьки Степана чувствует, какой ты человек есть. А за что это тебя здешние мужики вешаным зовут?

- А когда я мальчиком был, так наши мужики чуть было меня не убили. Повесили за шею на дерево, проклятые, да, спасибо, ермолинские мужики ехали мимо, отбили...

- Вредный член общества!.. - проговорил Ефрем и вздохнул.

Он повернулся лицом к стенке и скоро захрапел.

Когда он проснулся среди ночи, чтоб поглядеть на лошадь, Кузьмы в избе не было. Около открытой настежь двери стояла белая корова, заглядывала со двора в сени и стучала рогом о косяк. Собаки спали... В воздухе было тихо и спокойно. Где-то далеко, за теньями в ночной тишине, кричал дергач да протяжно всхлипывала сова.

А когда он проснулся в другой раз на рассвете, Кузьма сидел на скамье за столом и о чем-то думал. На его бледном лице застыла пьяная, блаженная улыбка. Какие-то радужные мысли бродили в его приплюснутой голове и возбуждали его; он дышал часто, точно запыхался от ходьбы на гору.

- А, божий человек! - сказал он, заметив пробуждение Ефрема, и ухмыльнулся. - Хочешь белой булки?

- Ты где был? - спросил Ефрем.

- Гы-ы! - засмеялся Кузьма. - Гы-ы!

Раз десять со своею странною, неподвижной улыбкой произнес он это "гы-ы!" и, наконец, затрясся от судорожного смеха.

- Чай... чай пил, - выговорил он сквозь смех. - Во... водку пил!

И он стал рассказывать длинную историю о том, как он в трактире с заезжими фурщиками пил чай и водку; и, рассказывая, вытаскивал из карманов спички, четвертку табаку, баранки...

- Чведские спички! - во! Пшш! - говорил он, сжигая подряд несколько спичек и закуривая папиросу. - Чведские, настоящие! Погляди!

Ефрем зевал и почесывался, но вдруг точно его что-то больно укусило, он вскочил, быстро поднял вверх рубаху и стал ощупывать голую грудь; потом, топчась около скамьи, как медведь, он перебрал и переглядел всё свое тряпье, заглянул под скамью, опять ощупал грудь.

- Деньги пропали! - сказал он.

Полминуты Ефрем стоял не шевелясь и тупо глядел на скамью, потом опять принялся искать.

- Мать пречистая, деньги пропали! Слышишь? - обратился он к Кузьме. Деньги пропали!

Кузьма внимательно рассматривал рисунок на коробке со спичками и молчал.

- Где деньги? - спросил Ефрем, делая шаг к нему.

- Какие деньги? - небрежно, сквозь зубы процедил Кузьма, не отрывая глаз от коробки.

- А те деньги... эти самые, что у меня на грудях были!..

- Чего пристал? Потерял, так ищи!

- Да где ищи? Где они?

Кузьма поглядел на багровое лицо Ефрема и сам побагровел.

- Какие деньги? - закричал он, вскакивая.

- Деньги! 26 рублей!

- Я их взял, что ли? Пристает, сволочь!

- Да что сволочь! Ты скажи, где деньги?

- А я их брал, твои деньги? Брал? Ты говори: брал? Я тебе, проклятый, покажу такие деньги, что ты отца-мать не узнаешь!

- Ежели ты не брал, зачем же ты харю воротишь? Стало быть, ты взял! Да и то сказать, на какие деньги всю ночь в трактире гулял и табак покупал? Глупый ты человек, несообразный! Нешто ты меня обидел? Ты бога обидел!

- Я... я брал? Когда я брал? - закричал высоким, визжащим голосом Кузьма, размахнулся и ударил кулаком по лицу Ефрема. - Вот тебе! Хочешь, чтоб еще влетело? Я не погляжу, что ты божий человек!

Ефрем только встряхнул головой и, не сказав ни слова, стал обуваться.

- Ишь, жулик! - продолжал кричать Кузьма, всё более возбуждаясь. - Сам пропил, а на людей путаешь, старая собака! Я судиться буду! За наговор ты у меня насидишься в остроге!

- Ты не брал, ну и молчи, - покойно ответил Ефрем.

- На, обыскивай!



- Ежели ты не брал, зачем же мне... тебя обыскивать? Не брал, ну и ладно... Кричать нечего, не перекричишь бога-то...

Ефрем обулся и вышел из избы. Когда он вернулся, Кузьма, всё еще красный, сидел у окна и дрожащими руками закуривал папиросу.

- Старый чёрт, - ворчал он. - Много вас тут ездит, людей морочит. Не на такого наскочил, брат! Меня не обжулишь. Я сам все эти самые дела отлично понимаю. Посылай за старостой!

- Зачем это?

- Протокол составить! Пушай нас в волостном рассудят!

- Нас нечего судить! Не мои деньги, Божьи... Ужо Бог рассудит.

Ефрем помолился и, взяв кружку и образ, вышел из избы.

Час спустя телега уже въезжала в лес. Малое с приплюснутой церковью, поляна и полосы ржи были уже позади и тонули в легком утреннем тумане. Солнце взошло, но не поднималось еще из-за леса и золотило только края облаков, обращенные к восходу.

Кузьма шел поодаль за телегой. Вид у него был такой, как будто его страшно и незаслуженно оскорбили. Ему очень хотелось говорить, но он молчал и ждал, когда начнет говорить Ефрем.

- Неохота связываться с тобой, а то загудел бы ты у меня, - проговорил он как бы про себя. - Я бы тебе показал, как на людей путать, чёрт лысый...

Прошло в молчании еще с полчаса. Божий человек, молившийся на ходу Богу, быстро закрестился, глубоко вздохнул и полез в телегу за хлебом.

- Вот в Телибеево приедем, - начал Кузьма, - там наш мировой живет. Подавай прошение!

- Зря болтаешь. акая надобность мировому? нешто его деньги? Деньги Божьи. Перед Богом ты ответчик.

- Зарядил: Божьи! Божьи! словно ворона. Такое дело, что ежели я украл, то пушай меня судят, а ежели я не украл, то тебя за наговор.

- Есть мне время по судам ходить!

- Стало быть, тебе денег не жалко?

- Что мне жалеть? Деньги не мои, Божьи...

Ефрем говорил неохотно, спокойно, и лицо его было равнодушно и бесстрастно, точно он в самом деле не жалел денег или же забыл о своей потере. Такое равнодушие к потере и к преступлению, видимо, смущало и раздражало Кузьму. Для него оно было непонятно.

Естественно, когда на обиду отвечают хитростью и силой, когда обида влечет за собою борьбу, которая самого обидчика ставит в положение обиженного. Если бы Ефрем поступил по-человечески, то есть обиделся, полез бы драться и жаловаться, если бы мировой присудил в тюрьму или решил: "доказательств нет", Кузьма успокоился бы; но теперь, идя за телегой, он имел вид человека, которому чего-то недостает.

- Я не брал у тебя денег! - сказал он.

- Не брал, ну и ладно.

- Доедем до Телибеева, я кликну старосту. Пушай... он разберет...

- Нечего ему разбирать. Не его деньги. А ты, парень, отстал бы. Иди своей дорогой! Опостылел!

Кузьма долго поглядывал на него искоса, не понимая его, желая разгадать, о чем он думает, какой страшный замысел таится в его душе, и наконец решился заговорить по-иному.

- Эх ты, пава, и посмеяться с тобой нельзя, сейчас и обижаешься... Ну, ну... возьми твои деньги! Я в шутку.

Кузьма достал из кармана несколько рублевых бумажек и подал их Ефрему. Тот не удивился и не обрадовался, а как будто ждал этого, взял деньги и, ни слова не говоря, сунул их в карман.

- Я посмеяться хотел, - продолжал Кузьма, пытливо вглядываясь в его бесстрастное лицо. - Попужать пришла охота. Думал так, попужаю и отдам поутру... Всех денег было 26 целковых, а тут десять, не то девять... Фурщики у меня отняли... Ты не серчай, дед... Не я пропил, фурщики... Ей-Богу!

- Что мне серчать? Деньги Божьи... Не меня ты обидел, а Царицу Небесную...

- Я, может, только целковый и пропил.

- Мне-то что? Хоть всё возьми да пропей... Целковый ли ты, копейку ли, для Бога всё единственно. Один ответ.

- А ты не серчай, дед. Право, не серчай. Чего там!

Ефрем молчал. Лицо Кузьмы заморгало и приняло детски-плачущее выражение.

- Прости Христа ради! - сказал он, умоляюще глядя Ефрему в затылок. Ты, дядя, не обижайся. Я это в шутку.

- Э, пристал! - сказал раздраженно Ефрем, - Говорю тебе: не мои деньги! Проси у Бога, чтоб простил, а мое дело сторона!

Кузьма поглядел на образ, на небо, на деревья, как бы ища Бога, и выражение ужаса перекосило его лицо. Под влиянием лесной тишины, суровых красок образа и бесстрастия Ефрема, в которых было мало обыденного и человеческого, он почувствовал себя одиноким, беспомощным, брошенным на произвол страшного, гневного Бога. Он забежал вперед Ефрема и стал глядеть ему в глаза, как бы желая убедиться, что он не один.

- Прости Христа ради! - сказал он, начиная дрожать всем телом. - Дед, прости!

- Отстань!

Кузьма еще раз быстро оглядел небо, деревья, телегу с образом и повалился в ноги Ефрему. В ужасе он бормотал неясные слова, стучал лбом о землю, хватал старика за ноги и плакал громко, как ребенок.

- Дедушка, родненький! Дяденька! Божий человек!

Ефрем сначала в недоумении пятился и отстранял его от себя руками, но потом и сам стал пугливо поглядывать на небо. Он почувствовал страх и жалость к вору.

- Постой, парень, слушай! - начал он убеждать Кузьму. - Да ты послушай, что я скажу тебе, дураку! Э, ревет, словно баба! Слушай, хочешь, чтоб Бог простил, - так, как приедешь к себе в деревню, сейчас к попу ступай... Слышишь?

Ефрем стал объяснять Кузьме, что нужно сделать, чтобы загладить грех: нужно покаяться попу, наложить на себя епитимию, потом собрать и выслать в Малиновцы украденные и пропитые деньги и в предбудущее время вести себя тихо, честно, трезво, по-христиански. Кузьма выслушал его, мало-помалу успокоился и уж, казалось, совсем забыл про свое горе: дразнил Ефрема, болтал... Ни на минуту не умолкая, он рассказывал опять про людей, живущих в свое удовольствие, про

арестантскую и немца, про острог, одним словом, про всё то, о чем рассказывал вчера. И он хохотал, всплескивал руками, благоговейно пяtilся, точно рассказывал что-нибудь новое. Выражался он складно, на манер бывалых людей, с прибаутками и поговорками, но слушать его было тяжело, так как он повторялся, то и дело останавливался, чтобы вспомнить внезапно потерянную мысль, и при этом морщил лоб и кружился на одном месте, размахивая руками. И как он хвастал, как лгал!

В полдень, когда телега остановилась в Телибееве, Кузьма пошел в кабак. Часа два отдыхал Ефрем, а он всё не выходил из кабака. Слышно было, как он бранился там, хвастал, стучал по прилавку и как смеялись над ним пьяные мужики. А когда Ефрем выезжал из Телибеева, в кабаке начиналась драка, и Кузьма звонким голосом грозил кому-то и кричал, что пошлет за урядником.

## На страстной неделе

- Иди, уже звонят. Да смотри не шали в церкви, а то Бог накажет.

Мать сует мне на расходы несколько медных монет и тотчас же, забыв про меня, бежит с остывшим утюгом в кухню. Я отлично знаю, что после исповеди мне не дадут ни есть, ни пить, а потому, прежде чем выйти из дому, насильно съедаю краюху белого хлеба, выпиваю два стакана воды. На улице совсем весна. Мостовые покрыты бурым месивом, на котором уже начинают обозначаться будущие тропинки; крыши и тротуары сухи; под заборами сквозь гнилую прошлогоднюю траву пробивается нежная, молодая зелень. В канавах, весело журча и пенясь, бежит грязная вода, в которой не брезгают купаться солнечные лучи. Щепочки, соломинки, скорлупа подсолнухов быстро несутся по воде, кружатся и цепляются за грязную пену. Куда, куда плывут эти щепочки? Очень возможно, что из канавы попадут они в реку, из реки в море, из моря в океан... Я хочу вообразить себе этот длинный, страшный путь, но моя фантазия обрывается, не дойдя до моря.

Проезжает извозчик. Он чмокает, дергает вожжи и не видит, что на задке его пролетки повисли два уличных мальчишка. Я хочу присоединиться к ним, но вспоминаю про исповедь, и мальчишки начинают казаться мне величайшими грешниками.

"На Страшном суде их спросят: зачем вы шалили и обманывали бедного извозчика? - думаю я. - Они начнут оправдываться, но нечистые духи схватят их и потащат в огонь вечный. Но если они будут слушаться родителей и подавать нищим по копейке или по бублику, то Бог сжадется над ними и пустит их в рай".

Церковная паперть суха и залита солнечным светом. На ней ни души. Нерешительно я открываю дверь и вхожу в церковь. Тут в сумерках, которые кажутся мне густыми и мрачными, как никогда, мною овладевает сознание греховности и ничтожества. Прежде всего бросаются в глаза большое распятие и по сторонам его божия мать и Иоанн Богослов. Паникадила и ставники одеты в черные, траурные чехлы, лампадки мерцают тускло и робко, а солнце как будто умышленно минует церковные окна. Богородица и любимый ученик Иисуса Христа, изображенные в профиль, молча глядят на невыносимые страдания и не замечают моего присутствия; я чувствую, что для них я чужой, лишний, незаметный, что не могу помочь им ни словом, ни делом, что я отвратительный, бесчестный мальчишка, способный только на шалости, грубости и ябедничество. Я вспоминаю всех людей, каких только я знаю, и все они представляются мне мелкими, глупыми, злыми и неспособными хотя бы на одну каплю уменьшить то страшное горе, которое я теперь вижу; церковные сумерки делаются гуще и мрачнее, и божия мать с Иоанном Богословом кажутся мне одинокими.

За свечным шкафом стоит Прокофий Игнатич, старый отставной солдат, помощник церковного старосты. Подняв брови и поглаживая бороду, он объясняет полупшепотом какой-то старухе:

- Утренняя будет сегодня с вечера, сейчас же после вечерни. А завтра к часам ударят в восьмом часу. Поняла? В восьмом.

А между двух широких колонн направо, там, где начинается придел Варвары Великомученицы, возле ширмы, ожидая очереди, стоят исповедники... Тут же и Митька, оборванный, некрасиво остриженный мальчик с оттопыренными ушами и маленькими, очень злыми глазами. Это сын вдовы поденщицы Настасьи, забияка, разбойник, хватающий с лотков у торговки яблоки и не раз отнимавший у меня бабки. Он сердито оглядывает меня и, мне кажется, злорадствует, что не я, а он первый пойдет за ширму. Во мне закипает злоба, я стараюсь не глядеть на него и в глубине души досаую на то, что этому мальчишке простятся сейчас грехи.

Впереди него стоит роскошно одетая красивая дама в шляпке с белым пером. Она заметно волнуется, напряженно ждет, и одна щека у нее от волнения лихорадочно зарумянилась.

Жду я пять минут, десять... Из-за ширм выходит прилично одетый молодой человек с длинной, тощей шеей и в высоких резиновых калошах; начинаю мечтать о том, как я вырасту большой и как куплю себе такие же калоши, непременно куплю! Дама вздрагивает и идет за ширмы. Ее очередь.

В шелку между двумя половинками ширмы видно, как дама подходит к аналою и делает земной поклон, затем поднимается и, не глядя на священника, в ожидании поникает головой. Священник стоит спиной к ширмам, а потому я вижу только его седые кудрявые волосы, цепочку от наперсного креста и широкую спину. А лица не видно. Вздохнув и не глядя на даму, он начинает говорить быстро, покачивая головой, то возвышая, то понижая свой шепот. Дама слушает покорно, как виноватая, коротко отвечает и глядит в землю.

"Чем она грешна? - думаю я, благоговейно посматривая на ее кроткое красивое лицо. - Боже, прости ей грехи! Пошли ей счастье!"

Но вот священник покрывает ее голову епитрахилью.

- И аз, недостойной иерей... - слышится его голос... - властью его, мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих...

Дама делает земной поклон, целует крест и идет назад. Уже обе щеки ее румяны, но лицо спокойно, ясно, весело.

"Она теперь счастлива, - думаю я, глядя то на нее, то на священника, простившего ей грехи. - Но как должен быть счастлив человек, которому дано право прощать".

Теперь очередь Митьки, но во мне вдруг вскипает чувство ненависти к этому разбойнику, я хочу пройти за ширму раньше его, я хочу быть первым... Заметив мое движение, он бьет меня свечой по голове, я отвечаю ему тем же, и полминуты слышится пыхтенье и такие звуки, как будто кто-то ломает свечи... Нас разнимают. Мой враг робко подходит к аналою, не сгибая колен, кланяется в землю, но, что дальше, я не вижу; от мысли, что сейчас после Митьки будет моя очередь, в глазах у меня начинают мешаться и расплываться предметы; оттопыренные уши Митьки растут и сливаются с темным затылком, священник колеблется, пол кажется волнистым...

Раздается голос священника:

- И аз, недостойный иерей...

Теперь уж и я двигаюсь за ширмы. Под ногами ничего не чувствую, точно иду по воздуху... Подхожу к аналою, который выше меня. На мгновение у меня в глазах мелькает равнодушное, утомленное лицо священника, но дальше я вижу только его рукав с голубой подкладкой, крест и край аналоя. Я чувствую близкое соседство священника, запах его рясы, слышу строгий голос, и моя щека, обращенная к нему, начинает гореть... Многого от волнения я не слышу, но на вопросы отвечаю искренне, не своим, каким-то странным голосом, вспоминаю одиноких Богородицу и Иоанна Богослова, распятие, свою мать, и мне хочется плакать, просить прощения.

- Тебя как зовут? - спрашивает священник, покрывая мою голову мягкой епитрахилью.

Как теперь легко, как радостно на душе!

Грехов уже нет, я свят, я имею право идти в рай! Мне кажется, что от меня уже пахнет так же, как от рясы, я иду из-за ширм к дьякону записываться и нюхаю свои рукава. Церковные сумерки уже не кажутся мне мрачными, и на Митьку я гляжу равнодушно, без злобы.

- Как тебя зовут? - спрашивает дьякон.

- Федя.

- А по отчеству?

- Не знаю.

- Как зовут твоего папашу?

- Иван Петрович.

- Фамилия?

Я молчу.

- Сколько тебе лет?

- Девятый год.

Придя домой, я, чтобы не видеть, как ужинают, поскорее ложусь в постель и, закрывши глаза, мечтаю о том, как хорошо было бы претерпеть мучения от какого-нибудь Ирода или Диоскора, жить в пустыне и, подобно старцу Серафиму, кормить медведей, жить в келии и питаться одной просфорой, раздать имущество бедным, илти в Киев. Мне слышно, как в столовой накрывают на стол - это собираются ужинать; будут есть винегрет, пирожки с капустой и жареного судака. Как мне хочется есть! Я согласен терпеть всякие мучения, жить в пустыне без матери, кормить медведей из собственных рук, но только сначала съесть бы хоть один пирожок с капустой!

- Боже, очисти меня грешного, - молюсь я, укрываясь с головой. Ангел-хранитель, защити меня от нечистого духа.

На другой день, в четверг, я просыпаюсь с душой ясной и чистой, как хороший весенний день. В церковь я иду весело, смело, чувствуя, что я причастник, что на мне роскошная и дорогая рубаха, сшитая из шелкового платья, оставшегося после бабушки. В церкви все дышит радостью, счастьем и весной: лица Богородицы и Иоанна Богослова не так печальны, как вчера, лица причастников озарены надеждой, и, кажется, все прошлое предано забвению, все прощено. Митька тоже причесан и одет по-праздничному. Я весело гляжу на его оттопыренные уши и, чтобы показать, что я против него ничего не имею, говорю ему:

- Ты сегодня красивый, и если бы у тебя не торчали волосы и если б ты не был так бедно одет, то все бы подумали, что твоя мать не прачка, а благородная. Приходи ко мне на пасху, будем в бабки играть.

Митька недоверчиво глядит на меня и грозит мне под полой кулаком.

А вчерашняя дама кажется мне прекрасной. На ней светло-голубое платье и большая сверкающая брошь в виде подковы. Я люблюсь ею и думаю, что когда я вырасту большой, то непременно женюсь на такой женщине, но, вспомнив, что жениться - стыдно, я перестаю об этом думать и иду на клирос, где дьячок уже читает часы.

## Перекати-поле

(ПУТЕВОЙ НАБРОСОК)

Я возвращался со всенощной. Часы на святогорской колокольне, в виде предисловия, проиграли свою тихую, мелодичную музыку и вслед за этим пробили двенадцать. Большой монастырский двор, расположенный на берегу Донца у подножия Святой Горы и огороженный, как стеною, высокими гостинными корпусами, теперь, в ночное время, когда его освещали только тусклые фонари, огоньки в окнах да звезды, представлял из себя живую кашу, полную движения, звуков и оригинальнейшего беспорядка. Весь он, от края до края, куда только хватало зрение, был густо запружен всякого рода телегами, кибитками, фургонами, арбами, колымагами, около которых толпились темные и белые лошади, рогатые волы, суетились люди, сновали во все стороны черные, длиннополые послушники; по возам, по головам людей и лошадей двигались тени и полосы света, бросаемые из окон, - и все это в густых сумерках принимало самые причудливые, капризные формы: то поднятые оглобли вытягивались до неба, то на морде лошади показывались огненные глаза, то у послушника вырастали черные крылья... Слышались говор, фырканье и жеванье лошадей, детский писк, скрип. В ворота входили новые толпы и въезжали запоздавшие телеги.

Сосны, которые громоздились на отвесной горе одна над другой и склонялись к крыше гостинного корпуса, глядели во двор, как в глубокую яму, и удивленно прислушивались; в их темной чаще, не умолкая, кричали кукушки и соловьи... Глядя на сумятицу, прислушиваясь к шуму, казалось, что в этой живой каше никто никого не понимает, все чего-то ищут и не находят и что этой массе телег, кибиток и людей едва ли удастся когда-нибудь разъехаться.

К дням Иоанна Богослова и Николая Чудотворца в Святые Горы стеклоь более десяти тысяч. Были битком набиты не только гостинные корпуса, но даже пекарня, швальня, столярная, каретная... Те, которые явились к ночи, в ожидании, пока им укажут место для ночлега, как осенние мухи, жались у стен, у колодцев или же в узких коридорчиках гостиницы. Послушники, молодые и старые, находились в непрерывном движении, без отдыха и без надежды на смену. Днем и поздней ночью они одинаково производили впечатление людей, куда-то спешащих и чем-то встревоженных, лица их, несмотря на крайнее изнеможение, одинаково были бодры и приветливы, голос ласков, движения быстры... Каждому приехавшему и пришедшему они должны были найти и указать место для ночлега, дать ему поесть и напиться; кто был глух, бестолков или щедр на вопросы, тому нужно было долго и мучительно объяснять, почему нет пустых номеров, в какие часы бывает служба, где продаются просфоры и т. д. Нужно было бегать, носить, неумолкаемо говорить, но мало того, нужно еще быть любезным, тактичным, стараться, чтобы мариупольские греки, живущие комфортабельнее, чем хохлы, помещались не иначе как с греками, чтобы какая-нибудь бахмутская или лисичанская мещанка, одетая "благородно", не попала в одно помещение с мужиками и не обиделась. То и дело слышались возгласы: "Батюшка, благословите кваску! Благословите сенца!" Или же: "Батюшка, можно мне после исповеди воды напиться?" И послушник должен был выдавать квас, сена или же отвечать: "Обратитесь, матушка, к духовнику. Мы не имеем власти разрешать". Следовал новый вопрос: "А где духовник?" И нужно было объяснять, где келия духовника... При такой хлопотливой деятельности хватало еще времени ходить в церковь на службу, служить на дворянской половине и

пространно отвечать на массу праздных и непраздных вопросов, какими любят сыпать интеллигентные богомольцы. Приглядываясь к ним в течение суток, трудно было понять, когда сидят и когда спят эти черные движущиеся фигуры.

Когда я, возвращаясь со всенощной, подошел к корпусу, в котором мне было отведено помещение, на пороге стоял монах-гостинник, а возле него толпилось на ступенях несколько мужчин и женщин в городском платье.

- Господин, - остановил меня гостинник, - будьте добры, позвольте вот этому молодому человеку переночевать в вашем номере! Сделайте милость! Народу много, а мест нет - просто беда!

И он указал на невысокую фигуру в легком пальто и в соломенной шляпе. Я согласился, и мой случайный сожитель отправился за мной. Отпирая у своей двери висячий замочек, я всякий раз, хочешь не хочешь, должен был смотреть на картину, висевшую у самого косяка на уровне моего лица. Эта картина с заглавием "Размышление о смерти" изображала коленапреклоненного монаха, который глядел в гроб и на лежавший в нем скелет; за спиной монаха стоял другой скелет, покрупнее и с косою.

- Кости такие не бывают, - сказал мой сожитель, указывая на то место скелета, где должен быть таз. - Вообще, знаете ли, духовная пища, которую подают народу, не первого сорта, - добавил он и испустил носом протяжный, очень печальный вздох, который должен был показать мне, что я имею дело с человеком, знающим толк в духовной пище.

Пока я искал спички и зажигал свечу, он еще раз вздохнул и сказал:

- В Харькове я несколько раз бывал в анатомическом театре и видел кости. Был даже в мертвецкой. Я не стесняю вас?

Мой номер был мал и тесен, без стола и стульев, весь занятый комодом у окна, печью и двумя деревянными диванчиками, стоявшими у стен друг против друга и отделенными узким проходом. На диванчиках лежали тощие, порыжевшие матрасики и мои вещи. Диванов было два, - значит, номер предназначался для двоих, на что я и указал сожителю.

- Впрочем, скоро зазвонят к обедне, - сказал он, - и мне недолго придется стеснять вас.

Всё еще думая, что он меня стесняет, и чувствуя неловкость, он виноватою походкою пробрался к своему диванчику, виновато вздохнул и сел. Когда сальная свечка, кивая своим ленивым и тусклым огнем, достаточно разгорелась и осветила нас обоих, я мог уже разглядеть его. Это был молодой человек лет двадцати двух, круглолицый, миловидный, с темными детскими глазами, одетый по-городски во всё серенькое и дешевое и, как можно было судить по цвету лица и по узким плечам, не знавший физического труда. Типа он казался самого неопределенного. Его нельзя было принять ни за студента, ни за торгового человека, ни тем паче за рабочего, а глядя на миловидное лицо и детские, ласковые глаза, не хотелось думать, что это один из тех праздношатаев-пройдох, которыми во всех общежительных пустынях, где кормят и дают ночлег, хоть пруд пруди и которые выдают себя за семинаристов, исключенных за правду, или за бывших певчих, потерявших голос... Было в его лице что-то характерное, типичное, очень знакомое, но что именно - я никак не мог ни понять, ни вспомнить.

Он долго молчал и о чем-то думал. Вероятно, после того, как я не оценил его замечания насчет костей и мертвецкой, ему казалось, что я сердит и не рад его присутствию. Вытащив из кармана колбасу, он повертел ее перед глазами и сказал нерешительно:

- Извините, я вас побеспокою... У вас нет ножика?

Я дал ему нож.

- Колбаса отвратительная, - поморщился он, отрезывая себе кусочек. - В здешней лавочке продают дрянь, но дерут ужасно... Я бы вам одолжил кусочек, но вы едва ли согласитесь кушать. Хотите?

В его "одолжил" и "кушать" слышалось тоже что-то типичное, имевшее очень много общего с характерным в лице, но что именно, я всё еще не мог никак понять. Чтобы внушить к себе доверие и показать, что я вовсе не сержусь, я взял предложенный им кусочек. Колбаса действительно была ужасная: чтобы сладить с ней, нужно было иметь зубы хорошей цепной собаки. Работая челюстями, мы разговорились. Начали с того, что пожаловались друг другу на продолжительность службы.

- Здешний устав приближается к афонскому, - сказал я, - но на Афоне обыкновенная всенощная продолжается 10 часов, а под большие праздники - 14. Вот там бы вам помолиться!

- Да! - сказал мой сожитель и покрутил головой. - Я здесь три недели живу. И знаете ли, каждый день служба, каждый день служба... В будни в 12 часов звонят к заутрени, в 5 часов к ранней обедне, в 9 - к поздней. Спать совсем невозможно. Днем же акафисты, правила, вечерни... А когда я говел, так просто падал от утомления. - Он вздохнул и продолжал: - А не ходить в церковь неловко... Дают монахи номер, кормят, и как-то, знаете ли, совестно не ходить. Оно ничего, день, два, пожалуй, можно постоять, но три недели тяжело! Очень тяжело! Вы надолго сюда?

- Завтра вечером уезжаю.

- А я еще две недели проживу.

- Но здесь, кажется, не принято так долго жить? - сказал я.

- Да, это верно, кто здесь долго живет и объедает монахов, того просят уехать. Судите сами, если позволить пролетариям жить здесь сколько им угодно, то не останется ни одного свободного номера, и они весь монастырь съедят. Это верно. Но для меня монахи делают исключение и, надеюсь, еще не скоро меня отсюда прогонят. Я, знаете ли, новообращенный.

- То есть?

- Я еврей, выкрест... Недавно принял православие.

Теперь я уже понял то, чего раньше никак не мог понять на его лице: и толстые губы, и манеру во время разговора приподнимать правый угол рта и правую бровь, и тот особенный маслянистый блеск глаз, который присущ одним только семитам, понял я и "одолжил", и "кушать"... Из дальнейшего разговора я узнал, что его зовут Александром Иванычем, а раньше звали Исааком, что он уроженец Могилевской губернии и в Святые Горы попал из Новочеркасска, где принимал православие.

Одолев колбасу, Александр Иваныч встал и, приподняв правую бровь, помолился на образ. Бровь так и осталась приподнятой, когда он затем опять сел на диванчик и стал рассказывать мне вкратце свою длинную биографию.

- С самого раннего детства я питал любовь к учению, - начал он таким тоном, как будто говорил не о себе, а о каком-то умершем великом человеке. - Мои родители - бедные евреи, занимаются грошовой торговлей, живут, знаете ли, по-нищенски, грязно. Вообще весь народ там бедный и суеверный, учения не любят, потому что образование, понятно, отдаляет человека от религии... Фанатики страшные... Мои родители ни за что не хотели учить меня, а хотели, чтобы я тоже занимался торговлей и не знал ничего, кроме талмуда... Но всю жизнь биться из-за куска хлеба, болтаясь в грязи, жевать этот талмуд, согласитесь, не всякий может. Бывало, в корчму к папаше заезжали офицеры и помещики, которые рассказывали много такого, чего я тогда и во сне не видел, ну, конечно, было соблазнительно и разбирала зависть. Я плакал и просил, чтобы меня отдали в школу, а меня выучили читать по-еврейски и больше ничего. Раз я нашел русскую газету, принес ее



домой, чтобы из нее сделать змей, так меня побили за это, хотя я и не умел читать по-русски. Конечно, без фанатизма нельзя, потому что каждый народ инстинктивно бережет свою народность, но я тогда этого не знал и очень возмутился...

Сказав такую умную фразу, бывший Исаак от удовольствия поднял правую бровь еще выше и поглядел на меня как-то боком, как петух на зерно, и с таким видом, точно хотел сказать: "Теперь наконец вы убедились, что я умный человек?" Поговорив еще о фанатизме и о своем непреодолимом стремлении к просвещению, он продолжал:

- Что было делать! Я взял и бежал в Смоленск.

А там у меня был двоюродный брат, который лудил посуду и делал жестянки. Понятно, я нанялся к нему в подмастерья, так как жить мне было нечем, ходил я босиком и оборванный... Думал так, что днем буду работать, а ночью и по субботам учиться. Я так и делал, но узнала полиция, что я без паспорта, и отправила меня по этапу назад к отцу...

Александр Иваныч пожал одним плечом и вздохнул.

- Что будешь делать! - продолжал он, и чем ярче воскресало в нем прошлое, тем сильнее чувствовался в его речи еврейский акцент.

Родители наказали меня и отдали дедушке, старому еврею-фанатику, на исправление. Но я ночью ушел в Шклов. А когда в Шклове ловил меня мой дядя, я пошел в Могилев; там пробыл два дня и с товарищем пошел в Стародуб.

Далее рассказчик перебрал в своих воспоминаниях Гомель, Киев, Белую Церковь, Умань, Балту, Бендеры и, наконец, добрался до Одессы.

- В Одессе я целую неделю ходил без деда и голодный, пока меня не приняли евреи, которые ходят по городу и покупают старое платье. Я уж умел тогда читать и писать, знал арифметику до дробей и хотел поступить куда-нибудь учиться, но не было средств. Что делать! Полгода ходил я по Одессе и покупал старое платье, но евреи, мошенники, не дали мне жалованья, я обиделся и ушел. Потом на пароходе я уехал в Перекоп.

- Зачем?

- Так. Один грек обещал мне дать там место. Одним словом, до 16 лет ходил я так, без определенного дела и без почвы, пока не попал в Полтаву. Тут один студент-еврей узнал, что я желаю учиться, и дал мне письмо к харьковским студентам. Конечно, я пошел в Харьков. Студенты посоветовались и начали готовить меня в техническое училище. И знаете, я вам скажу, студенты мне попались такие, что я не забуду их до самой смерти. Не говорю уж про то, что они дали мне квартиру и кусок хлеба, они поставили меня на настоящую дорогу, заставили меня мыслить, указали цель жизни. Между ними были умные, замечательные люди, которые уж и теперь известны. Например, вы слыхали про Грумахаера?

- Нет, не слыхал.

- Не слыхали... Писал очень умные статьи в харьковских газетах и готовился в профессора. Ну, я много читал, участвовал в студенческих кружках, где не услышишь пошлостей. Приготовлялся я полгода, но так как для технического училища нужно знать весь гимназический курс математики, то Грумахаера посоветовал мне готовиться в ветеринарный институт, куда принимают из шестого класса гимназии. Конечно, я стал готовиться. Я не желал быть ветеринаром, но мне говорили, что кончивших курс в институте принимают без экзамена на третий курс медицинского факультета. Я выучил всего Кюнера, уж читал аливервер (17) Корнелия Непота и по греческому языку прошел почти всего Курциуса, но, знаете ли, то да се... студенты разъехались, неопределенность положения, а тут еще я услышал, что приехала моя мамаша и ищет меня по всему Харькову. Тогда я взял и уехал.

Что будешь делать! Но, к счастью, я узнал, что здесь на Донецкой дороге есть горное училище. Отчего не поступить? Ведь вы знаете, горное училище дает права штегера - должность великолепная, а я знаю шахты, где штегера получают полторы тысячи в год. Отлично... Я поступил...

Александр Иванович с выражением благоговейного страха на лице перечислил дюжины две замысловатых наук, преподаваемых в горном училище, и описал самое училище, устройство шахт, положение рабочих... Затем он рассказал страшную историю, похожую на вымысел, но которой я не мог не поверить, потому что уж слишком искренен был тон рассказчика и слишком откровенно выражение ужаса на его семитическом лице.

- А во время практических занятий, какой однажды был со мной случай! рассказывал он, подняв обе брови. - Был я на одних шахтах тут, в Донецком округе. А вы ведь видели, как люди спускаются в самый рудник. Помните, когда гонят лошадь и приводят в движение ворот, то по блоку одна бадья спускается в рудник, а другая поднимается, когда же начнут поднимать первую, тогда опускается вторая - всё равно, как в колодце с двумя ушатами. Ну, сел я однажды в бадью, начинаю спускаться вниз, и можете себе представить, вдруг слышу - трррр! Цепь разорвалась, и я полетел к чёрту вместе с бадьей и обрывком цепи... Упал с трехсаженной вышины прямо грудью и животом, а бадья, как более тяжелая вещь, упала раньше меня, и я ударился вот этим плечом об ее ребро. Лежу, знаете, огорошенный, думаю, что убится насмерть, и вдруг вижу - новая беда: другая бадья, что поднималась вверх, потеряла противовес и с грохотом опускается вниз прямо на меня... Что будете делать? Видя такой факт, я прижался к стене, съезжился, жду, что вот-вот сейчас эта бадья со всего размаха трахнет меня по голове, вспоминаю папашу и мамашу, и Могилев, и Грумахера... молюсь Богу, но, к счастью... Даже вспомнить страшно.

Александр Иванович насильно улыбнулся и вытер ладонью лоб.

- Но, к счастью, она упала возле и только слегка зацепила этот бок... Содрала, знаете, с этого бока сюртук, сорочку и кожу... Сила страшная. Потом я был без чувств. Меня вытащили и отправили в больницу. Лечился я четыре месяца, и доктора сказали, что у меня будет чахотка. Я теперь всегда кашляю, грудь болит и страшное психологическое расстройство... Когда я остаюсь один в комнате, мне бывает очень страшно. Конечно, при таком здоровье уже нельзя быть штегером. Пришлось бросить горное училище...

- А теперь чем вы занимаетесь? - спросил я.

- Я держал экзамен на сельского учителя. Теперь ведь я православный и имею право быть учителем. В Новочеркасске, где я крестился, во мне приняли большое участие и обещали место в церковно-приходской школе. Через две недели поеду туда и опять буду просить.

Александр Иванович снял пальто и остался в одной сорочке с вышитым русским воротом и с шерстяным поясом.

- Спать пора, - сказал он, кладя в изголовье свое пальто и зевая. - Я, знаете ли, до последнего времени совсем не знал Бога. Я был атеист. Когда лежал в больнице, я вспомнил о религии и начал думать на эту тему. По моему мнению, для мыслящего человека возможна только одна религия, а именно христианская. Если не веришь в Христа, то уж больше не во что верить... Не правда ли? Иудаизм отжил свой век и держится еще только благодаря особенностям еврейского племени. Когда цивилизация коснется евреев, то из иудаизма не останется и следа. Вы заметьте, все молодые евреи уже атеисты. Новый завет есть естественное продолжение Ветхого. Не правда ли?

Я стал выведывать у него причины, побудившие его на такой серьезный и смелый шаг, как перемена религии, но он твердил мне только одно, что "Новый завет есть естественное продолжение Ветхого" - фразу, очевидно, чужую и заученную и которая совсем не разъясняла вопроса. Как я ни бился и ни хитрил, причины остались для меня темными. Если можно было верить, что он, как

утверждал, принял православие по убеждению, то в чем состояло и на чем зиждилось это убеждение -из его слов понять было невозможно; предположить же, что он переменял веру ради выгоды, было тоже нельзя: дешевая, поношенная одежка, проживание на монастырских хлебах и неопределенное будущее мало походило на выгоды. Оставалось только помириться на мысли, что переменить религию побудил моего сожителя тот же самый беспокойный дух, который бросал его, как Щепку, из города в город и который он, по общепринятому шаблону, называл стремлением к просвещению.

Перед тем как ложиться спать, я вышел в коридор, чтобы напиться воды. Когда я вернулся, мой сожитель стоял среди номера и испуганно глядел на меня. Лицо его было бледно-серо, и на лбу блестел пот.

- У меня ужасно нервы расстроены, - пробормотал он, болезненно улыбаясь, - ужасно! Сильное психологическое расстройство. Впрочем, всё это пустяки.

И он опять стал толковать о том, что Новый завет есть естественное продолжение Ветхого, что иудаизм отжил свой век. Подбирая фразы, он как будто старался собрать все силы своего убеждения и заглушить ими беспокойство души, доказать себе, что, переменяв религию отцов, он не сделал ничего страшного и особенного, а поступил, как человек мыслящий и свободный от предрассудков, и что поэтому он смело может оставаться в комнате один на один со своею совестью. Он убеждал себя и глазами просил у меня помощи...

Между тем на сальной свечке нагорел большой, неуклюжий фитиль. Уже светало. В хмурое, посиневшее окошко видны были уже ясно оба берега Донца и дубовая роща за рекой. Нужно было спать.

- Завтра здесь будет очень интересно, - сказал мой сожитель, когда я потушил свечку и лег.

После ранней обедни крестный ход поедет на лодках из монастыря в скит.

Подняв правую бровь и склонив голову на бок, он помолился образу и, не раздеваясь, лег на свой диванчик.

- Да, - сказал он, повернувшись на другой бок.

- Что - да? - спросил я.

- Когда я в Новочеркасске принял православие, моя мамаша искала меня в Ростове. Она чувствовала, что я хочу переменить веру. - Он вздохнул и продолжал: - Уже шесть лет как я не был там, в Могилевской губернии. Сестра, должно быть, уже замуж вышла.

Помолчав немного и видя, что я еще не уснул, он стал тихо говорить о том, что скоро, слава Богу, ему дадут место, и он наконец будет иметь свой угол, определенное положение, определенную пищу на каждый день... Я же, засыпая, думал, что этот человек никогда не будет иметь ни своего угла, ни определенного положения, ни определенной пищи. Об учительском месте он мечтал вслух, как об обетованной земле; подобно большинству людей, он питал предубеждение к скитальчеству и считал его чем-то необыкновенным, чуждым и случайным, как болезнь, и искал спасения в обыкновенной будничной жизни. В тоне его голоса слышались сознание своей ненормальности и сожаление. Он как будто оправдывался и извинялся.

Не далее как на аршин от меня лежал скиталец; за стенами в номерах и во дворе, около телег, среди богомольцев не одна сотня таких же скитальцев ожидала утра, а еще дальше, если сумеет представить себе всю русскую землю, какое множество таких же перекасти-поле, ища где лучше, шагало теперь по большим и проселочным дорогам или, в ожидании рассвета, дремало в постоянных дворах, корчмах, гостиницах, на траве под небом... Засыпая, я воображал себе, как бы удивились и,

быть может, даже обрадовались все эти люди, если бы нашлись разум и язык, которые сумели бы доказать им, что их жизнь так же мало нуждается в оправдании, как и всякая другая.

Во сне я слышал, как за дверями жалобно, точно заливаясь горячими слезами, прозвонил колокольчик и послушник прокричал несколько раз:

- Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас! Пожалуйте к обедне!

Когда я проснулся, моего сожителя уже не было в номере. Было солнечно, и за окном шумел народ. Выйдя, я узнал, что обедня уже кончилась, и крестный ход давно уже отправился в скит. Народ толпами бродил по берегу и, чувствуя себя праздным, не знал, чем занять себя; есть и пить было нельзя, так как в скиту еще не кончилась поздняя обедня; монастырские лавки, где богомольны так любят толкаться и прицениваться, были еще заперты. Многие, несмотря на утомление, от скуки брели в скит. Тропинка от монастыря до скита, куда я отправился, змеей вилась по высокому крутому берегу то вверх, то вниз, огибая дубы и сосны. Внизу блестел Донец и отражал в себе солнце,верху белел меловой скалистый берег и ярко зеленела на нем молодая зелень дубов и сосен, которые, нависая друг над другом, как-то ухитряются расти почти на отвесной скале и не падать. По тропинке гуськом тянулись богомольцы. Всего больше было хохлов из соседних уездов, но было много и дальних, пришедших пешком из Курской и Орловской губерний; в пестрой веренице попадались и мариупольские греки-хуторяне, сильные, степенные и ласковые люди, далеко не похожие на тех своих хилых и вырождающихся единоплеменников, которые наполняют наши южные приморские города; были тут и донцы с красными лампасами, и тавричане, выселенцы из Таврической губернии. Было здесь много богомольцев и неопределенного типа, вроде моего Александра Иваныча: что они за люди и откуда, нельзя было понять ни по лицам, ни по одежде, ни по речам.

Тропинка оканчивалась у маленького плота, от которого, прорезывая гору, шло влево к скиту неширокое шоссе. У плота стояли две большие, тяжелые лодки, угрюмого вида, вроде тех новозеландских пирог, которые можно видеть в книгах Жюль Верна. Одна лодка, с коврами на скамьях, предназначалась для духовенства и певчих, другая, без ковров - для публики. Когда крестный ход плыл обратно в монастырь, я находился в числе избранных, сумевших протиснуться во вторую. Избранных набралось так много, что лодка еле двигалась, и всю дорогу приходилось стоять, не шевелиться и спасать свою шляпу от ломки. Путь казался прекрасным. Оба берега - один высокий, крутой, белый с нависшими соснами и дубами, с народом, спешившим обратно по тропинке, и другой - отлогий, с зелеными лугами и дубовой рощей, - залитые светом, имели такой счастливый и восторженный вид, как будто только им одним было обязано майское утро свою прелестью. Отражение солнца в быстро текущем Донце дрожало, расползлось во все стороны, и его длинные лучи играли на ризах духовенства, на хоругвях, в брызгах, бросаемых веслами. Пение пасхального канона, колокольный звон, удары весел по воде, крик птиц - всё это мешалось в воздухе в нечто гармоническое и нежное. Лодка с духовенством и хоругвями плыла впереди. На ее корме неподвижно, как статуя, стоял черный послушник.

Когда крестный ход приближался к монастырю, я заметил среди избранных Александра Иваныча. Он стоял впереди всех и, раскрыв рот от удовольствия, подняв вверх правую бровь, глядел на процессию. Лицо его сияло; вероятно, в эти минуты, когда кругом было столько народу и так светло, он был доволен и собой, и новой верой, и своею совестью.

Когда немного погода мы сидели в номере и пили чай, он всё еще сиял довольством; лицо его говорило, что он доволен и чаем, и мной, вполне ценит мою интеллигентность, но что и сам не ударит лицом в грязь, если речь пойдет о чем-нибудь этаком...

- Скажите, какую бы мне почитать психологию? - начал он умный разговор, сильно морща нос.

- А для чего вам?

- Без знания психологии нельзя быть учителем. Прежде чем учить мальчика, я должен узнать его душу.

Я сказал ему, что одной психологии мало для того, чтобы узнать душу мальчика, и к тому же психология для такого педагога, который еще не усвоил себе технических приемов обучения грамоте и арифметике, является такою же роскошью, как высшая математика. Он охотно согласился со мной и стал описывать, как тяжела и ответственна должность учителя, как трудно искоренить в мальчике склонность к злу и суеверию, заставить его мыслить самостоятельно и честно, внушить ему истинную религию, идею личности, свободы и проч. В ответ на это я сказал ему что-то. Он опять согласился. Вообще он очень охотно соглашался. Очевидно, всё "умное" непрочно сидело в его голове.

До самого моего отъезда мы вместе слонялись около монастыря и коротали длинный жаркий день. Он не отставал от меня ни на шаг; привязался ли он ко мне, или же боялся одиночества, бог его знает! Помню, мы сидели вместе под кустами желтой акации в одном из садилов, разбросанных по горе.

- Через две недели я уйду отсюда, - сказал он. - Пора!

- Вы пешком?

- Отсюда до Славянска пешком, потом по железной дороге до Никитовки. От Никитовки начинается ветвь Донецкой дороги. По этой ветви я до Хацепетовки дойду пешком, а там дальше провезет меня знакомый кондуктор.

Я вспомнил голую, пустынную степь между Никитовкой и Хацепетовкой и вообразил себе шагающего по ней Александра Иваныча с его сомнениями, тоской по родине и страхом одиночества... Он прочел на моем лице скуку и вздохнул.

"А сестра, должно быть, уже замуж вышла!" - подумал он вслух, и тотчас же, желая отвязаться от грустных мыслей, указал на верхушку скалы и сказал:

- С этой горы Изюм видно.

Во время прогулки по горе с ним случилось маленькое несчастье: вероятно, спотыкнувшись, он порвал свои сарпинковые брюки и сбил с башмака подошву.

- Гс... - поморщился он, снимая башмак и показывая босую ногу без чулка. - Неприятно... Это, знаете ли, такое осложнение, которое... Да!

Вертя перед глазами башмак и как бы не веря, что подошва погибла навеки, он долго морщился, вздыхал и причмокивал. У меня в чемодане были полуштилеты старые, но модные, с острыми носами и тесемками; я брал их с собою на всякий случай и носил только в сырую погоду. Вернувшись в номер, я придумал фразу подипломатичнее и предложил ему эти полуштилеты. Он принял и сказал важно:

- Я бы поблагодарил вас, но знаю, что вы благодарность считаете предрассудком.

Острые носы и тесемки полуштилетов растрогали его, как ребенка, и даже изменили его планы.

- Теперь я пойду в Новочеркасск не через две недели, а через неделю, размышлял он вслух. - В таких башмаках не совестно будет явиться к крестному папаше. Я, собственно, не уезжал отсюда потому, что у меня приличной одежды нет...

Когда ящик выносил мой чемодан, вошел послушник с хорошим насмешливым лицом, чтобы подмести в номере. Александр Иваныч как-то заторопился, сконфузился и робко спросил у него:

- Мне здесь оставаться или в другое место идти?

Он не решался занять свою особую целый номер и, по-видимому, уже стыдился того, что жил на монастырских хлебах. Ему очень не хотелось расставаться со мной; чтобы по возможности отдалить одиночество, он попросил позволения проводить меня.

Дорога из монастыря, прорытая к меловой горе и стоившая немалых трудов, шла вверх, в обезд горы почти спирально, по корням, под нависшими суровыми соснами... Сначала скрылся с глаз Донец, за ним монастырский двор с тысячами людей, потом зеленые крыши... Оттого, что я поднимался, всё казалось мне исчезающим в яме. Соборный крест, раскаленный от лучей заходящего солнца, ярко сверкнул в пропасти и исчез. Остались одни только сосны, дубы и белая дорога. Но вот коляска въехала на ровное поле, и всё это осталось внизу и позади: Александр Иваныч спрыгнул и, грустно улыбнувшись, взглянув на меня в последний раз своими детскими глазами, стал спускаться вниз и исчез для меня навсегда...

Святогорские впечатления стали уже воспоминаниями, и я видел новое: ровное поле, беловато-бурую даль, рощицу у дороги, а за нею ветряную мельницу, которая стояла не шевелясь и, казалось, скучала оттого, что по случаю праздника ей не позволяют махать крыльями.

## Свирель

Разморенный духотою еловой чащи, весь в паутине и в хвойных иглах, пробирался с ружьем к опушке приказчик из Дементьева хутора, Мелитон Шишкин. Его Дамка - помесь дворняги с сеттером - необыкновенно худая и беременная, поджимая под себя мокрый хвост, плелась за хозяином и всячески старалась не наколоть себе носа. Утро было нехорошее, пасмурное. С деревьев, окутанных легким туманом, и с папоротника сыпались крупные брызги, лесная сырость издавала острый запах гнили.

Впереди, где кончалась чаща, стояли березы, а сквозь их стволы и ветви видна была туманная даль. Кто-то за березами играл на самодельной, пастушеской свирели. Игрок брал не более пяти-шести нот, лениво тянул их, не стараясь связать их в мотив, но тем не менее в его писке слышалось что-то суровое и чрезвычайно тоскливое.

Когда чаща поредела и елки уже мешались с молодой березой, Мелитон увидел стадо. Спутанные лошади, коровы и овцы бродили между кустов и, потрескивая сучьями, обнюхивали лесную траву. На опушке, прислонившись к мокрой березке, стоял старик пастух, тощий, в рваной сермяге и без шапки. Он глядел в землю, о чем-то думал и играл на свирели, по-видимому, машинально.

- Здравствуй, дед! Бог помощь! - приветствовал его Мелитон тонким, сиплым голосом, который совсем не шел к его громадному росту и большому, мясистому лицу. - А ловко ты на дудочке дудишь! Чье стадо пасешь?

- Артамоновское, - нехотя ответил пастух и сунул свирель за пазуху.

- Стало быть, и лес артамоновский? - спросил Мелитон, оглядываясь. И впрямь артамоновский, скажи на милость... Совсем было заблудился. Всю харю себе в чепыге исцарапал.

Он сел на мокрую землю и стал лепить из газетной бумаги папиросу.

Подобно жиденькому голоску, все у этого человека было мелко и не соответствовало его росту, ширине и мясистому лицу: и улыбка, и глазки, и пуговики, и картузик, едва державшийся на жирной стриженной голове. Когда он говорил и улыбался, то в его бритом, пухлом лице и во всей фигуре чувствовалось что-то бабье, робкое и смиренное.

- Ну, погода, не дай Бог! - сказал он и покрутил головой. - Люди еще овса не убрали, а дождик словно нанялся, Бог с ним.

Пастух поглядел на небо, откуда моросил дождь, на лес, на мокрую одежду приказчика, подумал и ничего не сказал.

- Все лето такое было... - вздохнул Мелитон. - И мужикам плохо, и господам никакого удовольствия.

Пастух еще раз поглядел на небо, подумал и сказал с расстановкой, точно разжевывая каждое слово:

- Все к одному клонится... Добра не жди.

- Как у вас тут? - спросил Мелитон, закуривая. - Не видал в Артамоновской сечи тетеревиных выводков?

Пастух ответил не сразу. Он опять поглядел на небо и в стороны, подумал, поморгал глазами... По-видимому, своим словам придавал он не малое значение и, чтобы усугубить им цену, старался произносить их вразтяжку, с некоторою торжественностью. Выражение лица его было старчески острое, степенное и, оттого, что нос перехвачен поперек седлообразной выемкой и ноздри глядели кверху, казалось хитрым и насмешливым.

- Нет, кажись, не видал, - ответил он. - Наш охотник, Еремка, сказывал, будто на Ильин день согнал около Пустошья один выводок, да, должно, брешет. Мало птицы.

- Да, брат, мало... Везде мало! Охота, ежели здравомысленно рассудить, ничтожная и нестоящая. Дичи совсем нет, а которая есть, так об ту сейчас нечего и рук марать - не выросла еще! Такая еще мелочь, что глядеть совестно.

Мелитон усмехнулся и махнул рукой.

- Такое делается на этом свете, что просто смех, да и только! Птица нынче стала несообразная, поздно на яйца садится, и есть такие, которые еще на Петров день с яиц не вставали. Ей-богу!

- Все к одному клонится, - сказал пастух, поднимая вверх лицо. Летошний год мало дичи было, в этом году еще меньше, а лет через пять, почитай, ее вовсе не будет. Я так примечаю, что скоро не то что дичи, а никакой птицы не останется.

- Да, - согласился Мелитон, подумав. - Это верно.

Пастух горько усмехнулся и покачал головой.

- Удивление! - сказал он. - И куда оно все девалось? Лет двадцать назад, помню, тут и гуси были, и журавли, и утки, и тетерева - туча тучей! Бывало, съедутся господа на охоту, так только и слышишь: пу-пу-пу! пу-пу-пу! Дупелям, бекасам да кроншпилям переводу не было, а мелкие чирята да кулики все равно, как скворцы или, скажем, воробцы - видимо-невидимо! И куда оно все девалось! Даже злой птицы не видать. Пошли прахом и орлы, и соколы, и филины... Меньше стало и всякого зверья. Нынче, брат, волк и лисица в диковинку, а не то что медведь или норка. А ведь прежде даже лоси были! Лет сорок я примечаю из года в год Божьи дела и так понимаю, что все к одному клонится.

- К чему?

- К худу, паря. Надо думать, к гибели... Пришла пора божьему миру погибать.

Старик надел картуз и стал глядеть на небо.

- Жалко! - вздохнул он после некоторого молчания. - И, Боже, как жалко! Оно, конечно, Божья воля, не нами мир сотворен, а все-таки, братушка, жалко. Ежели одно дерево высохнет или, скажем, одна корова падет, и то жалость берет, а каково, добрый человек, глядеть, коли весь мир идет прахом? Сколько добра, Господи Иисусе! И солнце, и небо, и леса, и реки, и твари - все ведь это сотворено, приспособлено, друг к дружке прилажено. Всякое до дела доведено и свое место знает. И всему этому пропадать надо!

На лице пастуха вспыхнула грустная улыбка, и веки его заморгали.

- Ты говоришь - миру погибель... - сказал Мелитон, думая. - Может, и скоро конец света, а только нельзя по птице судя. Это навряд, чтобы птица могла обозначать.

- Не одни птицы, - сказал пастух. - И звери тоже, и скотина, и пчелы, и рыба... Мне не веришь, спроси стариков; каждый тебе скажет, что рыба теперь совсем не та, что была. И в морях, и в озерах, и в реках рыбы из года в год все меньше и меньше. В нашей Песчанке, помню, щука в аршин ловилась, и налимы водились; и язь, и лещ, и у каждой рыбины видимость была, а нынче ежели и поймал щуренка или окунька в четверть, то благодари бога. Даже ерша настоящего нет. С каждым годом все хуже и хуже, а погоди немного, так и совсем рыбы не будет. А взять таперя реки... Реки-то небось сохнут!

- Это верно, что сохнут.

- То-то вот и есть. С каждым годом все мельче и мельче, и уж, братушка, нет тех омутов, что были. Эвона, видишь кусты? - спросил старик, указывая в сторону. - За ними старое русло, заводиною называется: при отце моем там Песчанка текла, а таперя погляди, куда ее нечистые занесли! Меняет русло и, гляди, доменяется до той поры, покеда совсем высохнет. За Кургасовым болота и пруда были, а нынче где они? А куда ручьи девались? У нас вот в этом самом лесу ручей тек, и такой ручей, что мужики в нем верши ставили и щук ловили, дикая утка около него зимовала, а нынче в нем и в половодье не бывает путевой воды. Да, брат, куда ни взглянь, везде худо. Везде!

Наступило молчание. Мелитон задумался и уставил глаза в одну точку. Ему хотело вспомнить хоть одно место в природе, которого еще не коснулась всеохватывающая гибель. По туману и косым дождевым полосам, как по матовым стеклам, заскользили светлые пятна, но тотчас же угасли - это восходившее солнце старалось пробиться сквозь облака и взглянуть на землю.

- Да и леса тоже... - пробормотал Мелитон.

- И леса тоже... - повторил пастух. - И рубят их, и горят они, и сохнут, а новое не растет. Что и вырастет, то сейчас его рубят; сегодня взошло, а завтра, гляди, и срубили люди - так без конца-краю, покеда ничего не останется. Я, добрый человек, с самой воли хожу с общественным стадом, до воли тоже был у господ в пастухах, пас на этом самом месте и, покеда живу, не помню того летнего дня, чтобы меня тут не было. И все время я божьи дела примечаю. Пригляделся я, брат, за свой век и так теперь понимаю, что всякая растения на убыль пошла. Рожь ли взять, овощ ли, цветик ли какой, все к одному клонится.

- Зато народ лучше стал, - заметил приказчик.

- Чем это лучше?

- Умней. - Умней-то умней, это верно, паря, да что с того толку? На кой прах людям ум перед погибелью-то? Пропадать и без всякого ума можно. К чему охотнику ум, коли дичи нет? Я так рассуждаю, что Бог человеку ум дал, а силу взял. Слаб народ стал, до чрезвычайности слаб. К



примеру меня взять... Грош мне цена, во всей деревне я самый последний мужик, а все-таки, паря, сила есть. Ты вот гляди, мне седьмой десяток, а я день-деньской пасу, да еще ночное стерегу за двугривенный и спать не сплю, и не зябну; сын мой умней меня, а поставь его вместо меня, так он завтра же прибавки запросит или лечиться пойдет. Так-тось. Я, акроме хлебушка, ничего не потребляю, потому хлеб наш насушенный даждь нам днесь, и отец мой, акроме хлеба, ничего не ел, и дед, а нынешнему мужику и чаю давай, и водки, и булки, и чтобы спать ему от зари до зари, и лечиться, и всякое баловство. А почему? Слаб стал, силы в нем нет вытерпеть. Он и рад бы не спать, да глаза липнут - ничего не поделаешь.

- Это верно, - согласился Мелитон. - Настоящий нынче мужик.

- Нечего греха таить, плошаем из года в год. Ежели теперича в рассуждении господ, то тебе пуще мужика ослабли. Нынешний барин все превзошел, такое знает, чего бы и знать не надо, а что толку? Поглядеть на него, так жалость берет... Худенький, мозглявенький, словно венгерец какой или француз, ни важности в нем, ни вида - одно только звание, что барин. Нет у него, сердешного, ни места, ни дела, и не разберешь, что ему надо. Али оно с удочкой сидит и рыбку ловит, али оно лежит вверх пузом и книжку читает, али промеж мужиков топчется и разные слова говорит, а которое голодное, то в писаря нанимается. Так и живет пустяком, и нет того в уме, чтобы себя к настоящему делу приспособить. Прежние баре наполовину генералы были, а нынешние - сплошной мездрюшка!

- Обедняли сильно, - сказал Мелитон.

- Потому и обедняли, что Бог силу отнял. Супротив Бога-то не пойдешь.

Мелитон опять уставился в одну точку. Подумав немного, он вздохнул, как вздыхают степенные, рассудительные люди, покачал головой и сказал:

- А все отчего? Грешим много, Бога забыли... и такое, значит, время подошло, чтобы всему конец. И то сказать, не век же миру вековать - пора и честь знать.

Пастух вздохнул и, как бы желая прекратить неприятный разговор, отошел от березы и стал считать глазами коров.

- Ге-ге-гей! - крикнул он. - Ге-ге-гей! А чтоб вас, нет на вас переводу! Занесла в чепыгу нечистая сила! Тю-лю-лю!

Он сделал сердитое лицо и пошел к кустам собирать стадо. Мелитон поднялся и тихо побрел по опушке. Он глядел себе под ноги и думал: ему все еще хотелось вспомнить хоть что-нибудь, чего еще не коснулась бы смерть. По косым дождевым полосам опять поползли светлые пятна; они прыгнули на верхушки леса и угасли в мокрой листве. Дамка нашла под кустом ежа и, желая обратить на него внимание хозяина, подняла воющий лай.

- Было у вас затмение аль нет? - крикнул из-за кустов пастух.

- Было! - ответил Мелитон.

- Так. Везде народ жалуется, что было. Значит, братушка, и в небе не порядок-то! Недаром оно... Ге-ге-гей! гей!

Согнав стадо на опушку, пастух прислонился к березе, поглядел на небо, не спеша вытащил из-за пазухи свирель и заиграл. По-прежнему играл он машинально и брал не больше пяти-шести нот; как будто свирель попала ему в руки только первый раз, звуки вылетали из нее нерешительно, в беспорядке, не сливаясь в мотив, но Мелитону, думавшему о погибели мира, слышалось в игре что-то очень тоскливое и противное, чего бы он охотно не слушал. Самые высокие пискливые ноты, которые дрожали и обрывались, казалось, неутешно плакали, точно свирель была больна и испугана,

а самые нижние ноты почему-то напоминали туман, унылые деревья, серое небо. Такая музыка казалась к лицу и погоде, и старику, и его речам.

Мелитону захотелось жаловаться. Он подошел к старику и, глядя на его грустное, насмешливое лицо и на свирель, забормотал:

- И жить хуже стало, дед. Совсем неумоготу жить. Неурожаи, бедность... падежи то и дело, болезни... Одолела нужда.

Пухлое лицо приказчика побагровело и приняло тоскующее, бабье выражение. Он пошевелил пальцами, как бы ища слов, чтобы передать свое неопределенное чувство, и продолжал:

- Восемь человек детей, жена... и мать еще живая, а жалованья всего-навсего десять рублей в месяц на своих харчах. От бедности жена осатанела... сам я запоем. Человек я рассудительный, степенный, образование имею. Мне бы дома сидеть, в спокойствии, а я целый день, как собака, с ружьем, потому нет никакой моей возможности: опротивел дом!

Чувствуя, что язык бормочет вовсе не то, что хотелось бы высказать, приказчик махнул рукой и сказал с горечью:

- Коли погибать миру, так уж скорей бы! Нечего канитель и людей попусту мучить...

Старик отнял от губ свирель и, прищутив один глаз, поглядел в ее малое отверстие. Лицо его было грустное и, как слезами, покрыто крупными брызгами. Он улыбнулся и сказал:

- Жалко, братушка! И, Боже, как жалко! Земля, лес, небо... тварь всякая - все ведь это сотворено, приспособлено, во всем умственность есть. Пропадает все ни за грош. А пуще всего людей жалко.

В лесу, приближаясь к опушке, зашумел крупный дождь. Мелитон поглядел в сторону шума, застегнулся на все пуговицы и сказал:

- Пойду на деревню. Прощай, дед. Тебя как звать?

- Лука Бедный.

- Ну, прощай, Лука! Спасибо на добром слове. Дамка, иси!

Простившись с пастухом, Мелитон поплелся по опушке, а потом вниз по лугу, который постепенно переходил в болото. Под ногами всхлипывала вода, и ржавая осока, все еще зеленая и сочная, склонялась к земле, как бы боясь, что ее затопчут ногами. За болотом на берегу Песчанки, о которой говорил дед, стояли ивы, а за ивами в тумане синела господская рига. Чувствовалась близость того несчастного, ничем не предотвратимого времени, когда поля становятся темны, земля грязна и холодна, когда плакучая ива кажется еще печальнее и по стволу ее ползут слезы, и лишь одни журавли уходят от общей беды, да и те, точно боясь оскорбить унылую природу выражением своего счастья, оглашают поднебесье грустной, тоскливой песней.

Мелитон плелся к реке и слушал, как позади него мало-помалу замирали звуки свирели. Ему все еще хотелось жаловаться. Печально поглядывал он по сторонам, и ему становилось невыносимо жаль и небо, и землю, и солнце, и лес, и свою Дамку, а когда самая высокая нотка свирели пронеслось протяжно в воздухе и задрожала, как голос плачущего человека, ему стало чрезвычайно горько и обидно на непорядок, который замечался в природе.

Высокая нотка задрожала, оборвалась, и свирель смолкла.

# Степь

## (ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОЕЗДКИ)

### I

Из N., уездного города Z-ой губернии, ранним июльским утром выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная, ошарпанная бричка, одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники. Она тархтела и взвизгивала при малейшем движении; ей угрюмо вторило ведро, привязанное к ее задку, - и по одним этим звукам да по жалким кожаным тряпочкам, болтавшимся на ее облезлом теле, можно было судить о ее ветхости и готовности идти в слом.

В бричке сидело двое N-ских обывателей: N-ский купец Иван Иванович Кузьмичов, бритый, в очках и в соломенной шляпе, больше похожий на чиновника, чем на купца, и другой - отец Христофор Сирийский, настоятель N-ской Николаевской церкви, маленький длинноволосый старичок в сером парусиновом кафтане, в широкополом цилиндре и в шитом, цветном поясе. Первый о чем-то сосредоточенно думал и встряхивал головою, чтобы прогнать дремоту; на лице его привычная деловая сухость боролась с благодушием человека, только что простившегося с родней и хорошо выпившего; второй же влажными глазками удивленно глядел на мир божий и улыбался так широко, что, казалось, улыбка захватывала даже поля цилиндра; лицо его было красно и имело озябший вид. Оба они, как Кузьмичов, так и о. Христофор, ехали теперь продавать шерсть. Прощаясь с домочадцами, они только что сытно закусили пышками со сметаной и, несмотря на раннее утро, выпили... Настроение духа у обоих было прекрасное.

Кроме только что описанных двух и кучера Дениски, неутомимо стегавшего по паре шустрых гнедых лошадок, в бричке находился еще один пассажир мальчик лет девяти, с темным от загара и мокрым от слез лицом. Это был Егорушка, племянник Кузьмичова. С разрешения дяди и с благословения о. Христофора, он ехал куда-то поступать в гимназию. Его мамаша, Ольга Ивановна, вдова коллежского секретаря и родная сестра Кузьмичова, любившая образованных людей и благородное общество, умолила своего брата, ехавшего продавать шерсть, взять с собою Егорушку и отдать его в гимназию; и теперь мальчик, не понимая, куда и зачем он едет, сидел на облучке рядом с Дениской, держался за его локоть, чтоб не свалиться, и подпрыгивал, как чайник на конфорке. От быстрой езды его красная рубаха пузырем вздувалась на спине и новая ямщицкая шляпа с павлиньим пером то и дело сползала на затылок. Он чувствовал себя в высшей степени несчастным человеком и хотел плакать.

Когда бричка проезжала мимо острога, Егорушка взглянул на часовых, тихо ходивших около высокой белой стены, на маленькие решетчатые окна, на крест, блестящий на крыше, и вспомнил, как неделю тому назад, в день Казанской божией матери, он ходил с мамашей в острожную церковь на престольный праздник; а еще ранее, на Пасху, он приходил в острог с кухаркой Людмилой и с Дениской и приносил сюда куличи, яйца, пироги и жареную говядину; арестанты благодарили и крестились, а один из них подарил Егорушке оловянные запонки собственного изделия.

Мальчик всматривался в знакомые места, а ненавистная бричка бежала мимо и оставляла все позади. За острогом промелькнули черные, закопченные кузницы, за ними уютное, зеленое кладбище, обнесенное оградой из булыжника; из-за ограды весело выглядывали белые кресты и памятники, которые прячутся в зелени вишневых деревьев и издали кажутся белыми пятнами. Егорушка вспомнил, что, когда цветет вишня, эти белые пятна мешаются с вишневыми цветами в белое море; а когда она спеет, белые памятники и кресты бывают усыпаны багряными, как кровь, точками. За оградой под вишнями день и ночь спали Егорушкин отец и бабушка Зинаида Даниловна. Когда бабушка умерла, ее положили в длинный, узкий гроб и прикрыли двумя пятаками ее глаза,

которые не хотели закрываться. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком, теперь же она спит, спит...

А за кладбищем дымились кирпичные заводы. Густой, черный дым большими клубами шел из-под длинных камышовых крыш, приплюснутых к земле, и лениво поднимался вверх. Небо над заводами и кладбищем было смугло, и большие тени от клубов дыма ползли по полю и через дорогу, В дыму около крыш двигались люди и лошади, покрытые красной пылью...

За заводами кончался город и начиналось поле. Егорушка в последний раз оглянулся на город, припал лицом к локтю Дениски и горько заплакал...

- Ну, не отревелся еще, рева! - сказал Кузьмичов. - Опять, баловник, слюни распустил! Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силой не тянет!

- Ничего, ничего, брат Егор, ничего... - забормотал скороговоркой о. Христофор. - Ничего, брат... Призывай бога... Не за худом едешь, а за добром. Ученье, как говорится, свет, а неученье - тьма... Истинно так.

- Хочешь вернуться? - спросил Кузьмичов.

- Хо... хочу... - ответил Егорушка, всхлипывая.

- И вернулся бы. Все равно попусту едешь, за семь верст киселя хлебать.

- Ничего, ничего, брат... - продолжал о. Христофор. - Бога призывай... Ломоносов так же вот с рыбаками ехал, однако из него вышел человек на всю Европу. Умственность, воспринимаемая с верой, дает плоды, богу угодные. Как сказано в молитве? Создателю во славу, родителям же нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу... Так-то.

- Польза разная бывает... - сказал Кузьмичов, закуривая дешевую сигару. - Иной двадцать лет обучается, а никакого толку.

- Это бывает.

- Кому наука в пользу, а у кого только ум путается. Сестра - женщина непонимающая, норовит все по благородному и хочет, чтоб из Егорки ученый вышел, а того не понимает, что я и при своих занятиях мог бы Егорку на век осчастливить. Я это к тому вам объясняю, что ежели все пойдут в ученые да в благородные, тогда некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают.

- А ежели все будут торговать и хлеб сеять, тогда некому будет учения постигать.

И думая, что оба они сказали нечто убедительное и веское, Кузьмичов и о. Христофор сделали серьезные лица и одновременно кашляли. Дениска, прислушивавшийся к их разговору и ничего не понявший, встряхнул головой и, приподнявшись, стегнул по обеим гнедым. Наступило молчание.

Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает в лиловой дали; едешь-едешь и никак не разберешь, где она начинается и где кончается... Солнце уже выглянуло сзади из-за города и тихо, без хлопот принялось за свою работу. Сначала, далеко впереди, где небо сходится с землею, около курганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа на маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле широкая ярко-желтая полоса; через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, поползла вправо и охватила холмы; что-то теплое коснулось Егорушкиной спины, полоса света, подкравшись сзади, шмыгнула через бричку и лошадей, понеслась навстречу другим полосам, и вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю полутьму, улыбнулась и засверкала росой.

Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля - все, побуревшее от зноя, рыжее и полумертвое, теперь омытое росой и обласканное солнцем, оживало, чтоб вновь зацвести. Над дорогой с веселым криком носились старички, в траве перекликались суслики, где-то далеко влево плакали чибисы. Стадо куропаток, испуганное брйчкой, вспорхнуло и со своим мягким "тррр" полетело к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затаили в траве свою скрипучую, монотонную музыку.

Но прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и обманутая степь приняла свой унылый июльский вид. Трава поникла, жизнь замерла. Загорелые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со своими покойными, как тень, тонами, равнина с туманной далью и опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких гор, кажется страшно глубоким и прозрачным, представлялись теперь бесконечными, оцепеневшими от тоски...

Как душно и уныло! Брйчка бежит, а Егорушка видит все одно и то же небо, равнину, холмы... Музыка в траве приутихла. Старички улетели, куропаток не видно. Над поблекшей травой, от нечего делать, носятся грачи; все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной.

Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни, потом встряхивает крыльями и стрелою несется над степью, и непонятно, зачем он летает и что ему нужно. А вдали машет крыльями мельница...

Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник; вырастет на мгновение серая каменная баба или высохшая ветла с синей ракшей на верхней ветке, перебежит дорогу суслик, и -опять бегут мимо глаз бурьян, холмы, грачи...

Но вот, слава Богу, навстречу едет воз со снопами. На самом верху лежит девка. Сонная, изморенная зноем, поднимает она голову и глядит на встречающих. Дениска зазевался на нее, гнедые протягивают морды к снопам, брйчка, взвизгнув, целуется с возом, и колючие колосья, как веником, проезжают по цилиндру о. Христофора.

- На людей едешь, пухлая! - кричит Дениска. - Ишь, рожу-то раскорячило, словно шмель укусил!

Девка сонно улыбается и, пошевелив губами, опять ложится... А вот на холме показывается одинокий тополь; кто его посадил и зачем он здесь - Бог его знает. От его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужа и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра, а главное - всю жизнь один, один... За тополем ярко-желтым ковром, от верхушки холма до самой дороги, тянутся полосы пшеницы. На холме хлеб уже скошен и убран в копны, а внизу еще только косят... Шесть косарей стоят рядом и взмахивают косами, а косы весело сверкают и в такт, все вместе издают звук: "Вжжи, вжжи!" По движениям баб, вяжущих снопы, по лицам косарей, по блеску кос видно, что зной жжет и душил. Черная собака с высунутым языком бежит от косарей навстречу к брйчке, вероятно с намерением залаять, но останавливается на полдороге и равнодушно глядит на Дениску, грозящего ей кнутом: жарко лаять! Одна баба поднимается и, взявшись обеими руками за измученную спину, провожает глазами кумачовую рубаху Егорушки. Красный ли цвет ей понравился, или вспомнила она про своих детей, только долго стоит она неподвижно и смотрит вслед...

Но вот промелькнула и пшеница. Опять тянется выжженная равнина, загорелые холмы, знойное небо, опять носится над землею коршун. Вдали по-прежнему машет крыльями мельница и все еще она похожа на маленького человечка, размахивающего руками. Надоело глядеть на нее и кажется, что до нее никогда не доедешь, что она бежит от брйчки.

О. Христофор и Кузьмичов молчали. Дениска стегал по гнедым и покрикивал, а Егорушка уж не плакал, а равнодушно глядел по сторонам. Зной и степная скука утомили его. Ему казалось, что он давно уже едет и подпрыгивает, что солнце давно уже печет ему в спину. Не проехали еще и десяти верст, а он уже думал: "Пора бы отдохнуть!" С лица дяди мало-помалу сошло благодушие и осталась одна только деловая сухость, а бритому, тощему лицу, в особенности когда оно в очках, когда нос и виски покрыты пылью, эта сухость придает неумолимое, инквизиторское выражение. Отец же Христофор не переставал удивленно глядеть на мир божий и улыбаться. Молча, он думал о чем-то хорошем и веселом, и добрая, благодушная улыбка застыла на его лице. Казалось, что и хорошая, веселая мысль застыла в его мозгу от жары...

- А что, Дениска, догоним нынче обозы? -спросил Кузьмичов.

Дениска поглядел на небо, приподнялся, стегнул по лошадям и потом уже ответил:

- К ночи, Бог даст, догоним...

Послышался собачий лай. Штук шесть громадных степных овчарок вдруг, выскочив точно из засады, с свирепым воющим лаем бросились навстречу бричке. Все они, необыкновенно злые, с мохнатыми паучьими мордами и с красными от злобы глазами, окружили бричку и, ревниво толкая друг друга, подняли хриплый рев. Они ненавидели страстно и, кажется, готовы были изорвать в клочья и лошадей, и бричку, и людей... Дениска, любивший дразнить и стегать, обрадовался случаю и, придав своему лицу злорадное выражение, перегнулся и хлестнул кнутом по овчарке. Псы пуще захрипели, лошади понесли; и Егорушка, еле державшийся на передке, глядя на глаза и зубы собак, понимал, что, свались он, его моментально разнесут в клочья, но страха не чувствовал, а глядел так же злорадно, как Дениска, и жалел, что у него в руках нет кнута.

Бричка поравнялась с отарой овец.

- Стой! - закричал Кузьмичов. - Держи! Тпрр...

Дениска подался всем туловищем назад и осадил гнедых. Бричка остановилась.

- Поди сюда! - крикнул Кузьмичов чебану. - Уйми собак, будь они прокляты!

Старик-чебан, оборванный и босой, в теплой шапке, с грязным мешком у бедра и с крючком на длинной палке - совсем ветхозаветная фигура -унял собак и, снявши шапку, подошел к бричке. Точно такая же ветхозаветная фигура стояла, не шевелясь, на другом краю отары и равнодушно глядела на проезжих.

- Чья это отара? - спросил Кузьмичов.

- Варламовская! - громко ответил старик.

- Варламовская! - повторил чебан, стоявший на другом краю отары.

- Что, проезжал тут вчерась Варламов или нет?

- Никак нет... Приказчик ихний проезжали, это точно...

- Трогай!

Бричка покатила дальше, и чебаны со своими злыми собаками остались позади. Егорушка нехотя глядел вперед на лиловую даль, и ему уже начинало казаться, что мельница, машущая крыльями, приближается. Она становилась все больше и больше, совсем выросла, и уж можно было отчетливо разглядеть ее два крыла. Одно крыло было старое, заплатанное, другое только недавно сделано из нового дерева и лоснилось на солнце.

Бричка ехала прямо, а мельница почему-то стала уходить влево. Ехали, ехали, а она все уходила влево и не исчезала из глаз.

- Славный ветряк поставил сыну Болтва! - заметил Дениска.

- А что-то хутора его не видать.

- Он туда, за балочкой.

Скоро показался и хутор Болтвы, а ветряк все еще не уходил назад, не отставал, глядел на Егорушку своим лоснящимся крылом и махал. Какой колдун!

## II

Около полудня бричка свернула с дороги вправо, проехала немного шагом и остановилась. Егорушка услышал тихое, очень ласковое журчанье и почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух. Из холма, склеенного природой из громадных, уродливых камней, сквозь трубочку из болиголова, вставленную каким-то неведомым благодетелем, тонкой струйкой бежала вода. Она падала на землю и, прозрачная, веселая, сверкающая на солнце и тихо ворча, точно воображая себя сильным и бурным потоком, быстро бежала куда-то влево. Недалеко от холма маленькая речка расплзлась в лужицу; горячие лучи и раскаленная почва, жадно выпивая ее, отнимали у нее силу; но немножко далее она, вероятно, сливалась с другой такою же речонкой, потому что шагах в ста от холма по ее течению зеленела густая, пышная осока, из которой, когда подъезжала бричка, с криком вылетело три бекаса.

Путники расположились у ручья отдыхать и кормить лошадей. Кузьмичов, о. Христофор и Егорушка сели в жидкой тени, бросаемой бричкою и распряженными лошадьми, на разостланном войлоке и стали закусывать. Хорошая, веселая мысль, застывшая от жары в мозгу о. Христофора, после того, как он напился воды и съел одно печеное яйцо, запросилась наружу. Он ласково взглянул на Егорушку, пожевал и начал:

- Я сам, брат, учился. С самого раннего возраста Бог вложил в меня смысл и понятие, так что я не в пример прочим, будучи еще таким, как ты, утешал родителей и наставников своим разумением. Пятнадцати лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по-латынски все равно как по-русски. Помню, был я жезлоносцем у преосвященного Христофора. Раз после обедни, как теперь помню, в день тезоименитства благочестивейшего государя Александра Павловича Благословенного, он разоблачался в алтаре, поглядел на меня ласково и спрашивает: "Puer bone, quam appellaris?" А я отвечаю: "Christophorus sum". А он: "Ergo conpominati sumus", то есть, мы, значит, тезки... Потом спрашивает по-латынски:

"Чей ты?" Я и отвечаю тоже по-латынски, что я сын диакона Сирийского в селе Лебединском. Видя такую мою скороспешность и ясность ответов, преосвященный благословил меня и сказал:

"Напиши отцу, что я его не оставлю, а тебя буду иметь в виду". Протоиереи и священники, которые в алтаре были, слушая латинский диспут, тоже немало удивлялись, и каждый в похвалу мне изъявил свое удовольствие. Еще у меня усов не было, а я уж, брат, читал и по-латынски, и по-гречески, и по-французски, знал философию, математику, гражданскую историю и все науки. Память мне Бог дал на удивление. Бывало, которое прочту раза два, наизусть помню. Наставники и благодетели мои удивлялись и так предполагали, что из меня выйдет ученейший муж, светильник церкви. Я и сам думал в Киев ехать, науки продолжать, да родители не благословили. "Ты, говорил отец, весь век учиться будешь, когда же мы тебя дождемся?" Слыша такие слова, я бросил науки и поступил на место. Оно, конечно, ученый из меня не вышел, да зато я родителей не ослушался, старость их успокоил, похоронил с честью. Послушание паче поста и молитвы!

- Должно быть, вы уж все науки забыли! - заметил Кузьмичов.

- Как не забыть? Слава Богу, уж восьмой десяток пошел! Из философии и риторики кое-что еще помню, а языки и математику совсем забыл.

О. Христофор зажмурил глаза, подумал и сказал вполголоса:

- Что такое существо? Существо есть вещь самобытна, не требуя иного ко своему исполнению.

Он покрутил головой и засмеялся от умиления.

- Духовная пища! - сказал он. - Истинно, материя питает плоть, а духовная пища душу!

- Науки науками, - вздохнул Кузьмичов, - а вот как не догоним Варламова, так и будет нам наука.

- Человек - не иголка, найдем. Он теперь в этих местах кружится.

Над осокой пролетели знакомые три бекаса, и в их писке слышались тревога и досада, что их согнали с ручья. Лошади степенно жевали и пофыркивали; Дениска ходил около них и, стараясь показать, что он совершенно равнодушен к огурцам, пирогам и яйцам, которые ели хозяева, весь погрузился в избиение слепней и мух, облеплявших лошадиные животы и спины. Он аппетитно, издавая горлом какой-то особенный, ехидно-победный звук, хлопал по своим жертвам, а в случае неудачи досадливо кричал и провожал глазами всякого счастливец, избежавшего смерти.

- Дениска, где ты там! Поди ешь! - сказал Кузьмичов, глубоко вздыхая и тем давая знать, что он уже наелся.

Дениска несмело подошел к войлоку и выбрал себе пять крупных и желтых огурцов, так называемых "желтяков" (выбрать помельче и посвежее он посоветился), взял два печеных яйца, черных и с трещинами, потом нерешительно, точно боясь, чтобы его не ударили по протянутой руке, коснулся пальцем пирожка.

- Бери, бери! - поторопил его Кузьмичов.

Дениска решительно взял пирог и, отойдя далеко в сторону, сел на земле, спиной к бричке. Тотчас же послышалось такое громкое жеванье, что даже лошади обернулись и подозрительно поглядели на Дениску.

Закусивши, Кузьмичов достал из брички мешок с чем-то и сказал Егорушке:

- Я буду спать, а ты поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили.

О. Христофор снял рясу, пояс и кафтан, и Егорушка, взглянув на него, замер от удивления. Он никак не предполагал, что священники носят брюки, а на о. Христофоре были настоящие парусинковые брюки, засунутые в высокие сапоги, и кургузая пестрядинная курточка. Глядя на него, Егорушка нашел, что в этом неподобающем его сану костюме он, со своими длинными волосами и бородой, очень похож на Робинзона Крузе. Разоблачившись, о. Христофор и Кузьмичов легли в тень под бричкой, лицом друг к другу, и закрыли глаза. Дениска, кончив жевать, растянулся на припеке животом вверх и тоже закрыл глаза.

- Поглядывай, чтоб кто коней не увел! - сказал он Егорушке и тотчас же заснул.

Наступила тишина. Слышно было только, как фыркали и жевали лошади да похрапывали спящие; где-то не близко плакал один чибис и изредка раздавался писк трех бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрощенные гости; мягко картавя, журчал ручеек, но все эти звуки не нарушали тишины, не будили застывшего воздуха, а, напротив, вгоняли природу в дремоту.

Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался теперь после еды, побежал к осоке и отсюда оглядел местность. Увидел он то же самое, что видел и до полудня: равнину, холмы, небо, лиловую даль; только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая осталась далеко назад. Из-за скалистого холма, где тек ручей, возвышался другой, поглаже и пошире; на нем



лепился небольшой поселок из пяти-шести дворов. Около изб не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней, точно поселок задохнулся в горячем воздухе и высох. От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, поднес его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. Когда надоела музыка, он погнался за толпой желтых бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять возле брички. Дядя и о. Христофор крепко спали; сон их должен был продолжаться часа два-три, пока не отдохнут лошади... Как же убить это длинное время и куда деваться от зноя! Задача мудреная... Машинально Егорушка подставил рот под струйку, бежавшую из трубочки; во рту его стало холодно и запахло болиголовом; пил он сначала с охотой, потом через силу и до тех пор, пока острый холод изо рта не побежал по всему телу и пока вода не полилась по сорочке. Затем он подошел к брочке и стал глядеть на спящих. Лицо дяди по-прежнему выражало деловую сухость. Фанатик своего дела, Кузьмичов всегда, даже во сне и за молитвой в церкви, когда пели "Иже херувимы", думал о своих делах, ни на минуту не мог забыть о них, и теперь, вероятно, ему снились тюки с шерстью, подводы, цены, Варламов... Отец же Христофор, человек мягкий, легкомысленный и смешливый, во всю свою жизнь не знал ни одного такого дела, которое, как удав, могло бы сковать его душу. Во всех многочисленных делах, за которые он брался на своем веку, его прельщало не столько само дело, сколько суэта и общение с людьми, присущие всякому предприятию. Так, в настоящей поездке его интересовали не столько шерсть, Варламов и цены, сколько длинный путь, дорожные разговоры, спанье под брочкой, еда не вовремя... И теперь, судя по его лицу, ему снились, должно быть, преосвященный Христофор, латинский диспут, его попадьа, пышки со сметаной и все такое, что не могло сниться Кузьмичову.

В то время, как Егорушка смотрел на сонные лица, неожиданно послышалось тихое пение. Где-то не близко пела женщина, а где именно и в какой стороне, трудно было понять. Песня тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел. Егорушка оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня; потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава; в своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что Она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя...

Егорушка послушал немного и ему стало казаться, что от заунывной, тягучей песни воздух сделался душнее, жарче и неподвижнее... Чтобы заглушить песню, он, напевая и стараясь стучать ногами, побежал к осоке. Отсюда он поглядел во все стороны и нашел того, кто пел. Около крайней избы поселка стояла баба в короткой исподнице, длинноногая и голенастая, как цапля, и что-то просеивала; из-под ее решета вниз по бугру лениво шла белая пыль. Теперь было очевидно, что пела она. На сажень от нее неподвижно стоял маленький мальчик в одной сорочке и без шапки. Точно очарованный песнею, он не шевелился и глядел куда-то вниз, вероятно, на кумачовую рубаху Егорушки.

Песня стихла. Егорушка поплелся к брочке и опять, от нечего делать, занялся струйкой воды.

И опять послышалась тягучая песня. Пела все та же голенастая баба за бугром в поселке. К Егорушке вдруг вернулась его скука. Он оставил трубочку и поднял глаза вверх. То, что увидел он, было так неожиданно, что он немножко испугался. Над его головой на одном из больших неуклюжих камней стоял маленький мальчик в одной рубахе, пухлый, с большим, оттопыренным животом и на тоненьких ножках, тот самый, который раньше стоял около бабы. С тупым удивлением и не без страха, точно видя перед собой выходцев с того света, он, не мигая и разинув рот, оглядывал кумачовую рубаху Егорушки и брочку. Красный цвет рубахи манил и ласкал его, а брочка и спавшие под ней люди возбуждали его любопытство; быть может, он и сам не заметил, как приятный красный

цвет и любопытство притянули его из поселка вниз, и, вероятно, теперь удивлялся своей смелости. Егорушка долго оглядывал его, а он Егорушку. Оба молчали и чувствовали некоторую неловкость.

После долгого молчания Егорушка спросил:

- Тебя как звать?

Щеки незнакомца еще больше распухли; он прижался спиной к камню, выпучил глаза, пошевелил губами и ответил сиплым басом:

- Тит.

Больше мальчики не сказали друг другу ни слова. Помолчав еще немного и не отрывая глаз от Егорушки, таинственный Тит задрал вверх одну ногу, нащупал пяткой точку опоры и взобрался на камень; отсюда он, пятясь назад и глядя в упор на Егорушку, точно боясь, чтобы тот не ударил его сзади, поднялся на следующий камень и так поднимался до тех пор, пока совсем не исчез за верхушкой бугра.

Проводив его глазами, Егорушка обнял колени руками и склонил голову... Горячие лучи жгли ему затылок, шею и спину. Заунывная песня то замирала, то опять пронеслась в стоячем, душном воздухе, ручей монотонно журчал, лошади жевали, а время тянулось бесконечно, точно и оно застыло и остановилось. Казалось, что с утра прошло уже сто лет... Не хотел ли Бог, чтобы Егорушка, бричка и лошади замерли в этом воздухе и, как холмы, окаменели бы и остались навеки на одном месте?

Егорушка поднял голову и посоловевшими глазами поглядел вперед себя; лиловая даль, бывшая до сих пор неподвижной, закачалась и вместе с небом понеслась куда-то еще дальше... Она потянула за собою бурую траву, осоку, и Егорушка понесся с необычайною быстротою за убежавшею далью. Какая-то сила бесшумно влекла его куда-то, а за ним вдогонку неслись зной и томительная песня. Егорушка склонил голову и закрыл глаза...

Первый проснулся Дениска. Его что-то укусило, потому что он вскочил, быстро почесал плечо и проговорил:

- Анафема идолова, нет на тебя погибели!

Затем он подошел к ручью, напился и долго умывался. Его фырканье и плеск воды вывели Егорушку из забытья. Мальчик поглядел на его мокрое лицо, покрытое каплями и крупными веснушками, которые делали лицо похожим на мрамор, и спросил:

- Скоро поедем?

Дениска поглядел, как высоко стоит солнце, и ответил:

- Должно, скоро.

Он вытерся подолом рубахи и, сделав очень серьезное лицо, запрыгал на одной ноге.

- А ну-ка, кто скорей доскачет до осоки! -сказал он.

Егорушка был изнеможен зноем и полусном, но все-таки поскакал за ним. Дениске было уже около 20-ти лет, служил он в кучерах и собирался жениться, но не перестал еще быть маленьким. Он очень любил пускать змеи, гонять голубей, играть в бабки, бегать вдогонки и всегда вмешивался в детские игры и ссоры. Нужно было только хозяевам уйти или уснуть, чтобы он занялся чем-нибудь вроде прыганья на одной ножке или подбрасыванья камешков. Всякому взрослому, при виде того искреннего увлечения, с каким он резвился в обществе малолетков, трудно было удержаться, чтобы не проговорить: "Этакая дубина!" Дети же во вторжении большого кучера в их область не видели ничего странного: пусть играет, лишь бы не дрался! Точно так маленькие собаки не видят ничего

странного, когда в их компанию затесывается какой-нибудь большой, искренний пес и начинает играть с ними.

Дениска перегнал Егорушку и, по-видимому, остался этим очень доволен. Он подмигнул глазом и, чтобы показать, что он может проскакать на одной ножке какое угодно пространство, предложил Егорушке, не хочет ли тот проскакать с ним по дороге и оттуда, не отдыхая, назад к бричке? Егорушка отклонил это предложение, потому что очень запыхался и ослабел.

Вдруг Дениска сделал очень серьезное лицо, какого он не делал, даже когда Кузьмичов распекал его или замахивался на него палкой; прислушиваясь, он тихо опустился на одно колено, и на лице его показалось выражение строгости и страха, какое бывает у людей, слышащих ересь. Он нацелился на одну точку глазами, медленно поднял вверх кисть руки, сложенную лодочкой, и вдруг упал животом на землю и хлопнул лодочкой по траве.

- Есть! - прохрипел он торжествуя и, вставши, поднес к глазам Егорушки большого кузнечика.

Думая, что это приятно кузнечнику, Егорушка и Дениска погладили его пальцами по широкой зеленой спине и потрогали его усики. Потом Дениска поймал жирную муху, насосавшуюся крови, и предложил ее кузнечнику. Тот очень равнодушно, точно давно уже был знаком с Дениской, задвигал своими большими, похожими на забрало челюстями и отъел мухе живот. Его выпустили, он сверкнул розовой подкладкой своих крыльев и, опустившись в траву, тотчас же затрещал свою песню. Выпустили и муху; она расправила крылья и без живота полетела к лошадям.

Из-под брочки послышался глубокий вздох. Это проснулся Кузьмичов. Он быстро поднял голову, беспокойно поглядел вдаль, и по этому взгляду, безучастно скользнувшему мимо Егорушки и Дениски, видно было, что, проснувшись, он думал о шерсти и Варлаамове.

- Отец Христофор, вставайте, пора! - заговорил он встревоженно. - Будет спать, и так уж дело проспало! Дениска, запрягай!

О. Христофор проснулся с такою же улыбкою, с какою уснул. Лицо его от сна помялось, поморщилось и, казалось, стало вдвое меньше. Умывшись и одевшись, он не спеша вытащил из кармана маленький засаленный псалтирь и, став лицом к востоку, начал шепотом читать и креститься.

- Отец Христофор! - сказал укоризненно Кузьмичов. - Пора ехать, уж лошади готовы, а вы ей-Богу...

- Сейчас, сейчас... - забормотал о. Христофор. - Кафизмы почитать надо... Не читал еще нынче.

- Можно и после с кафизмами.

- Иван Иваныч, на каждый день у меня положение... Нельзя.

- Бог не взыскал бы.

Целую четверть часа о. Христофор стоял неподвижно лицом к востоку и шевелил губами, а Кузьмичов почти с ненавистью глядел на него и нетерпеливо пожимал плечами. Особенно его сердило, когда о. Христофор после каждой "славы" втягивал в себя воздух, быстро крестился и намеренно громко, чтоб другие крестились, говорил трижды:

- Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Наконец он улыбнулся, поглядел вверх на небо и, кладя псалтирь в карман, сказал:

- Fini!

Через минуту бричка тронулась в путь. Точно она ехала назад, а не дальше, путники видели то же самое, что и до полудня. Холмы все еще тонули в лиловой дали, и не было видно их конца; мелькал бурьян, булыжник, проносились сжатые полосы, и все те же грачи да коршун, солидно взмахивающий крыльями, летали над степью. Воздух все больше застывал от зноя и тишины, покорная природа цепенела в молчании... Ни ветра, ни бодрого, свежего звука, ни облачка.

Но вот, наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух не выдержали гнета и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго. Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью - я, мол, готово - и нахмурилось. Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, черным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекасти-поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и, обратившись там в черную точку, исчезло из виду. За ним понеслось другое, потом третье, и Егорушка видел, как два перекасти-поле столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке.

У самой дороги вспорхнул стрепет. Мелькая крыльями и хвостом, он, залитый солнцем, походил на рыболовную блесну или на прудового мотылька, у которого, когда он мелькает над водой, крылья сливаются с усиками и кажется, что усики растут у него и спереди, и сзади, и с боков... Дрожа в воздухе, как насекомое, играя своей пестротой, стрепет поднялся высоко вверх по прямой линии, потом, вероятно испуганный облаком пыли, понесся в сторону и долго еще было видно его мелькание...

А вот, встревоженный вихрем и не понимая, в чем дело, из травы вылетел коростель. Он летел за ветром, а не против, как все птицы; от этого его перья взъерошились, весь он раздулся до величины курицы и имел очень сердитый, внушительный вид. Одни только грачи, состарившиеся в степи и привыкшие к степным переполохам, покойно носились над травой или же равнодушно, ни на что не обращая внимания, долбили своими толстыми клювами черствую землю.

За холмами глухо прогремел гром; подуло свежестью. Дениска весело свистнул и стегнул по лошадям. О. Христофор и Кузьмичов, придерживая свои шляпы, устремили глаза на холмы... Хорошо, если бы брызнул дождь!

Еще бы, кажется, небольшое усилие, одна потуга, и степь взяла бы верх. Но невидимая гнетущая сила мало-помалу сковала ветер и воздух, уложила пыль, и опять, как будто ничего не было, наступила тишина. Облако спряталось, загорелые холмы нахмурились, воздух покорно застыл и одни только встревоженные чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу...

Затем скоро наступил вечер.

### III

В вечерних сумерках показался большой одноэтажный дом с ржавой железной крышей и с темными окнами. Этот дом назывался постоялым двором, хотя возле него никакого двора не было и стоял он посреди степи, ничем не огороженный. Несколько в стороне от него темнел жалкий вишневый садик с плетнем, да под окнами, склонив свои тяжелые головы, стояли спавшие подсолнечники. В садике трещала маленькая мельничка, поставленная для того, чтобы пугать стуком зайцев. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кроме степи.

Едва бричка остановилась около крылечка с навесом, как в доме послышались радостные голоса - один мужской, другой женский, - завизжала дверь на блоке, и около брички в одно мгновение выросла высокая тощая фигура, размахивавшая руками и фалдами. Это был хозяин

постоялого двора Мойсей Мойсеич, немолодой человек с очень бледным лицом и с черной, как тушь, красивой бородой. Одет он был в поношенный черный сюртук, который болтался на его узких плечах, как на вешалке, и взмахивал фалдами, точно крыльями, всякий раз, как Мойсей Мойсеич от радости или в ужасе всплескивал руками. Кроме сюртука, на хозяине были еще широкие белые панталоны навыпуск и бархатная жилетка с рыжими цветами, похожими на гигантских клопов.

Мойсей Мойсеич, узнав приехавших, сначала замер от наплыва чувств, потом всплеснул руками и простонал. Сюртук его взмахнул фалдами, спина согнулась в дугу и бледное лицо покривилось такой улыбкой, как будто видеть бричку для него было не только приятно, но и мучительно сладко.

- Ах, Боже мой, Боже мой! - заговорил он тонким певучим голосом, задыхаясь, суетясь и своими телодвижениями мешая пассажирам вылезти из брочки. - И такой сегодня для меня счастливый день! Ах, да что же я таперичка должен делать! Иван Иваныч! Отец Христофор! Какой же хорошенький паничок сидит на козлах, накажи меня бог! Ах, боже ж мой, да что же я стою на одном месте и не зову гостей в горницу? Пожалуйста, покорнейше прошу... милости просим! Давайте мне все ваши вещи... Ах, боже мой!

Мойсей Мойсеич, шаря в брочке и помогая приезжим вылезать, вдруг обернулся назад и закричал таким диким, придушенным голосом, как будто тонул и звал на помощь:

- Соломон! Соломон!

- Соломон! Соломон! - повторил в доме женский голос.

Дверь на блоке завизжала, и на пороге показался невысокий молодой еврей, рыжий, с большим птичьим носом и с плешью среди жестких кудрявых волос; одет он был в короткий, очень поношенный пиджак, с закругленными фалдами и с короткими рукавами, и в короткие триковые брючки, отчего сам казался коротким и кургузым, как ощипанная птица. Это был Соломон, брат Мойсея Мойсеича. Он молча, не здороваясь, а только как-то странно улыбаясь, подошел к брочке.

- Иван Иваныч и отец Христофор приехали! - сказал ему Мойсей Мойсеич таким тоном, как будто боялся, что тот ему не поверит. - Ай, вай, удивительное дело, такие хорошие люди взяли да приехали! Ну, бери, Соломон, вещи! Пожалуйста, дорогие гости!

Немного погодя Кузьмичов, о. Христофор и Егорушка сидели уже в большой, мрачной и пустой комнате за старым дубовым столом. Этот стол был почти одинок, так как в большой комнате, кроме него, широкого дивана с дырявой клеенкой да трех стульев, не было никакой другой мебели. Да и стулья не всякий решился бы назвать стульями. Это было какое-то жалкое подобие мебели с отжившей свой век клеенкой и с неестественно сильно загнутыми назад спинками, придававшими стульям большое сходство с детскими санями. Трудно было понять, какое удобство имел в виду неведомый столяр, загибая так немилосердно спинки, и хотелось думать, что тут виноват не столяр, а какой-нибудь проезжий силач, который, желая похвастать своей силой, согнул стульям спины, потом взялся поправлять и еще больше согнул. Комната казалась мрачной. Стены были серы, потолок и карнизы закопчены, на полу тянулись щели и зияли дыры непонятного происхождения (думалось, что их пробил каблуком все тот же силач), и казалось, если бы в комнате повесили десяток ламп, то она не перестала бы быть темной. Ни на стенах, ни на окнах не было ничего похожего на украшения. Впрочем, на одной стене в серой деревянной раме висели какие-то правила с двуглавым орлом, а на другой, в такой же раме, какая-то гравюра с надписью: "Равнодушие человеков". К чему человеки были равнодушны - понять было невозможно, так как гравюра сильно потускнела от времени и была щедро засижена мухами. Пахло в комнате чем-то затхлым и кислым.

Введя гостей в комнату, Мойсей Мойсеич продолжал изгибаться, всплескивать руками, пожиматься и радостно восклицать - все это считал он нужным проделывать для того, чтобы казаться необыкновенно вежливым и любезным.

- Когда проехали тут наши подводы? - спросил его Кузьмичов.

- Одна партия проехала нынче утречком, а другая, Иван Иваныч, отдыхала тут в обед и перед вечером уехала.

- А... Проезжал тут Варламов или нет?

- Нет, Иван Иваныч. Вчера утречком проезжал его приказчик Григорий Егорыч и говорил, что он, надо быть, таперичка на хуторе у молокана.

- Отлично. Значит, мы сейчас догоним обозы, а потом и к молокану.

- Да Бог с вами, Иван Иваныч! - ужаснулся Мойсей Мойсеич, всплескивая руками. - Куда вы на ночь поедете? Вы поужинайте на здоровьечко и переночуйте, а завтра, бог даст, утречком поедете и догоните кого надо!

- Некогда, некогда... Извините, Мойсей Мойсеич, в другой раз как-нибудь, а теперь не время. Посидим четверть часика и поедем, а переночевать и у молокана можно.

- Четверть часика! - взвизгнул Мойсей Мойсеич. - Да побойтесь вы Бога, Иван Иваныч! Вы меня заставите, чтоб я ваши шапке спрятал и запер на замок дверь! Вы хоть закусите и чаю покушайте!

- Некогда нам с чаями да с сахарами, - сказал Кузьмичов.

Мойсей Мойсеич склонил голову набок, согнул колени и выставил вперед ладони, точно обороняясь от ударов, и с мучительно-сладкой улыбкой стал умолять:

- Иван Иваныч! Отец Христофор! Будьте же такие добрые, покушайте у меня чайку! Неужели я уж такой нехороший человек, что у меня нельзя даже чай пить? Иван Иваныч!

- Что ж, чайку можно попить, - сочувственно вздохнул отец Христофор. Это не задержит.

- Ну, ладно! - согласился Кузьмичов.

Мойсей Мойсеич встрепнулся, радостно ахнул и, пожимаясь так, как будто он только что выскочил из холодной воды в тепло, побежал к двери и закричал диким придушенным голосом, каким раньше звал Соломона:

- Роза! Роза! Давай самовар!

Через минуту отворилась дверь и в комнату с большим подносом в руках вошел Соломон. Ставя на стол поднос, он насмешливо глядел куда-то в сторону и по-прежнему странно улыбался. Теперь при свете лампочки можно было разглядеть его улыбку; она была очень сложной и выражала много чувств, но преобладающим в ней было одно - явное презрение. Он как будто думал о чем-то смешном и глупом, кого-то терпеть не мог и презирал, чему-то радовался и ждал подходящей минуты, чтобы уязвить насмешкой и покатиться со смеху. Его длинный нос, жирные губы и хитрые выпученные глаза, казалось, были напряжены от желания расхохотаться. Взглянув на его лицо, Кузьмичов насмешливо улыбнулся и спросил:

- Соломон, отчего же ты этим летом не приезжал к нам в N. на ярмарку жидов представлять?

Года два назад, что отлично помнил и Егорушка, Соломон в N. на ярмарке, в одном из балаганов, рассказывал сцены из еврейского быта и пользовался большим успехом. Напоминание об

этом не произвело на Соломона никакого впечатления. Ничего не ответив, он вышел и немного погодя вернулся с самоваром.

Сделав около стола свое дело, он пошел в сторону и, скрестив на груди руки, выставив вперед одну ногу, уставился своими насмешливыми глазами на о. Христофора. В его позе было что-то вызывающее, надменное и презрительное и в то же время в высшей степени жалкое и комическое, потому что чем внушительнее становилась его поза, тем ярче выступали на первый план его короткие брючки, куцый пиджак, карикатурный нос и вся его птичья, ошипанная фигурка.

Мойсей Мойсеич принес из другой комнаты табурет и сел на некотором расстоянии от стола.

- Приятного аппетита! Чай да сахар! - начал он занимать гостей. Кушайте на здоровьечко. Такие редкие гости, такие редкие, а отца Христофора я уж пять годов не видал. И никто не хочет мне сказать, чей это такой паничок хороший? - спросил он, нежно поглядывая на Егорушку.

- Это сынок сестры Ольги Ивановны, - ответил Кузьмичов.

- А куда же он едет?

- Учиться. В гимназию его везем.

Мойсей Мойсеич из вежливости изобразил на лице своем удивление и значительно покрутил головой.

- О, это хорошо! - сказал он, грозя самовару пальцем. - Это хорошо! Из гимназии выйдешь такой господин, что все мы будем шапку снимать. Ты будешь умный, богатый, с амбицией, а маменька будет радоваться. О, это хорошо!

Он помолчал немного, погладил себе колени и заговорил в почтительно-шутливом тоне:

- Уж вы меня извините, отец Христофор, а я собираюсь написать бумагу архиерею, что вы у купцов хлеб отбиваете. Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значит, своих грошей мало, что он занялся коммерцией и стал шерсть продавать.

- Да, вздумал вот на старости лет... - сказал о. Христофор и засмеялся. - Записался, брат, из попов в купцы. Теперь бы дома сидеть да Богу молиться, а я скачу, аки фараон на колеснице... Суета!

- Зато грошей будет много!

- Ну да! Дулю мне под нос, а не гроши. Товар-то ведь не мой, а зятя Михайлы!

- Отчего же он сам не поехал?

- А оттого... Матернее молоко на губах еще не обсохло. Купить-то купил шерсть, а чтоб продать - ума нет, молод еще. Все деньги свои потратил, хотел нажиться и пыль пустить, а сунулся туда-сюда, ему и своей цены никто не дает. Этак помыкался парень с год, потом приходит ко мне и - "Папаша, продайте шерсть, сделайте милость! Ничего я в этих делах не понимаю!" То-то вот и есть. Как что, так сейчас и папаша, а прежде и без папаша можно было. Когда покупал, не спрашивался, а теперь, как приспичило, так и папаша. А что папаша? Коли б не Иван Иваныч, так и папаша ничего б не сделал. Хлопоты с ними!

- Да, хлопотно с детьми, я вам скажу! - вздохнул Мойсей Мойсеич. - У меня у самого шесть человек. Одного учи, другого лечи, третьего на руках носи, а когда вырастут, так еще больше хлопот. Не только таперичка, даже в священном писании так было. Когда у Иакова были маленькие дети, он плакал, а когда они выросли, еще хуже стал плакать!

- М-да... - согласился о. Христофор, задумчиво глядя на стакан. Мне-то, собственно, нечего бога гневить, я достиг предела своей жизни, как дай бог всякому... Дочек за хороших людей определил, сынов в люди вывел и теперь свободен, свое дело сделал, хоть на все четыре стороны

иди. Живу со своей попадьею потихоньку, кушаю, пью да сплю, на внучат радуюсь да богу молюсь, а больше мне ничего и не надо. Как сыр в масле катаюсь и знать никого не хочу. Отродясь у меня никакого горя не было и теперь ежели б, скажем, царь спросил: "Что тебе надобно? Чего хочешь?" Да ничего мне не надобно! Все у меня есть и все слава богу. Счастливей меня во всем городе человека нет. Только вот грехов много, да ведь и то сказать, один бог без греха. Ведь верно?

- Стало быть, верно.

- Ну, конечно, зубов нет, спину от старости ломит, то да се... одышка и всякое там... Болею, плоть немощна, ну да ведь, сам посуди, пожил! Восьмой десяток! Не век же вековать, надо и честь знать.

О. Христофор вдруг что-то вспомнил, приснул в стакан и закашлялся от смеха. Мойсей Мойсеич из приличия тоже засмеялся и закашлялся.

- Потеха! - сказал о. Христофор и махнул рукой.

- Приезжает ко мне в гости старший сын мой Гаврила. Он по медицинской части и служит в Черниговской губернии в земских докторрах... Хорошо-с... Я ему и говорю: "Вот, говорю, одышка, то да се... Ты доктор, лечи отца!" Он сейчас меня раздел, постукал, послушал, разные там штуки... живот помял, потом и говорит: "Вам, папаша, надо, говорит, лечиться сжатым воздухом".

О. Христофор захохотал судорожно, до слез и поднялся.

- А я ему и говорю: "Бог с ним, с этим сжатым воздухом!" - выговорил он сквозь смех и махнул обеими руками. - Бог с ним, с этим сжатым воздухом!

Мойсей Мойсеич тоже поднялся и, взявшись за живот, залился тонким смехом, похожим на лай болонки.

- Бог с ним, с этим сжатым воздухом! - повторил о. Христофор, хохоча.

Мойсей Мойсеич взял двумя нотами выше и закатился таким судорожным смехом, что едва устоял на ногах.

- О, Боже мой... - стонал он среди смеха. - Дайте вздохнуть... Так насмешили, что... ох!.. - смерть моя.

Он смеялся и говорил, а сам между тем пугливо и подозрительно посматривал на Соломона. Тот стоял в прежней позе и улыбался. Судя по его глазам и улыбке, он презирал и ненавидел серьезно, но это так не шло к его ошипанной фигурке, что, казалось Егорушке, вызывающую позу и едкое, презрительное выражение придал он себе нарочно, чтобы разыграть шута и насмешить дорогих гостей.

Выпив молча стаканов шесть, Кузьмичов расчистил перед собой на столе место, взял мешок, тот самый, который, когда он спал под бичиком, лежал у него под головой, развязал на нем веревочку и потряс им. Из мешка посыпались на стол пачки кредитных бумажек.

- Пока время есть, давайте, отец Христофор, посчитаем, - сказал Кузьмичов.

Увидев деньги, Мойсей Мойсеич сконфузился, встал и, как деликатный человек, не желающий знать чужих секретов, на цыпочках и балансируя руками, вышел из комнаты. Соломон остался на своем месте.

- В рублевых пачках по сколько? - начал о. Христофор.

- По пятьдесят... В трехрублевых по девяносто...



Четвертные и сторублевые по тысячам сложены. Вы отсчитайте семь тысяч восемьсот для Варламова, а я буду считать для Гусевича. Да глядите, не просчитайте...

Егорушка отродясь не видал такой кучи денег, какая лежала теперь на столе. Денег, вероятно, было очень много, так как пачка в семь тысяч восемьсот, которую о. Христофор отложил для Варламова, в сравнении со всей кучей казалась очень маленькой. В другое время такая масса денег, быть может, поразила бы Егорушку и вызвала его на размышления о том, сколько на эту кучу можно купить бубликов, бабок, маковников; теперь же он глядел на нее безучастно и чувствовал только противный запах гнилых яблок и керосина, шедший от кучи. Он был измучен тряской ездой на бричке, утомился и хотел спать. Его голову тянуло вниз, глаза слипались и мысли путались, как нитки. Если б можно было, он с наслаждением склонил бы голову на стол, закрыл бы глаза, чтоб не видеть лампы и пальцев, двигавшихся над кучей, и позволил бы своим вялым, сонным мыслям еще больше запутаться. Когда он силился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились, самовар качался, а запах гнилых яблок казался еще острее и противнее.

- Ах, деньги, деньги! - вздыхал о. Христофор, улыбаясь. - Горе с вами! Теперь мой Михайло, небось, спит и видит, что я ему такую кучу привезу.

- Ваш Михайло Тимофеич человек непонимающий, - говорил вполголоса Кузьмичов, - не за свое дело берется, а вы понимаете и можете рассудить. Отдали бы вы мне, как я говорил, вашу шерсть и ехали бы себе назад, а я б вам, так и быть уж, дал бы по полтиннику поперх своей цены, да и то только из уважения...

- Нет, Иван Иванович, - вздыхал о. Христофор.

- Благодарим вас за внимание... Конечно, ежели б моя воля, я б и разговаривать не стал, а то ведь, сами знаете, товар не мой...

Вошел на цыпочках Мойсей Мойсеич. Стараясь из деликатности не глядеть на кучу денег, он подкрался к Егорушке и дернул его сзади за рубаху.

- А пойдем-ка, паничок, - сказал он вполголоса, - какого я тебе медведика покажу! Такой страшный, сердитый! У-у!

Сонный Егорушка встал и лениво поплелся за Мойсеем Мойсеичем смотреть медведя. Он вошел в небольшую комнатку, где, прежде чем он увидел что-нибудь, у него захватило дыхание от запаха чего-то кислого и затхлого, который здесь был гораздо гуще, чем в большой комнате, и, вероятно, отсюда распространялся по всему дому. Одна половина комнатки была занята большою постелью, покрытой сальным стеганым одеялом, а другая комодом и горами всевозможного тряпья, начиная с жестко накрахмаленных юбок и кончая детскими штанишками и помочами. На комодке горела сальная свечка.

Вместо обещанного медведя Егорушка увидел большую, очень толстую еврейку с распущенными волосами и в красном фланелевом платье с черными крапинками; она тяжело поворачивалась в узком проходе между постелью и комодом и издавала протяжные, стонущие вздохи, точно у нее болели зубы. Увидев Егорушку, она сделала плачущее лицо, протяжно вздохнула и, прежде чем он успел оглядеться, поднесла к его рту ломоть хлеба, вымазанный медом.

- Кушай, детка, кушай! - сказала она. - Ты здесь без маменьке, и тебя некому покормить. Кушай.

Егорушка стал есть, хотя после леденцов и маковников, которые он каждый день ел у себя дома, не находил ничего хорошего в меду, наполовину смешанном с воском и с пчелиными крыльями. Он ел, а Мойсей Мойсеич и еврейка глядели и вздыхали.

- Ты куда едешь, детка? - спросила еврейка.

- Учиться, - ответил Егорушка.

- А сколько вас у маменьке?

- Я один. Больше нету никого.

- А-ох! - вздохнула еврейка и подняла вверх глаза. - Бедная маменьке, бедная маменьке! Как же она будет скучать и плакать! Через год мы тоже повезем в ученье своего Наума! Ох!

- Ах, Наум, Наум! - вздохнул Мойсей Мойсеич, и на его бледном лице нервно задрожала кожа. - А он такой больной.

Сальное одеяло зашевелилось, и из-под него показалась кудрявая детская голова на очень тонкой шее; два черных глаза блеснули и с любопытством уставились на Егорушку. Мойсей Мойсеич и еврейка, не переставая вздыхать, подошли к комоду и стали говорить о чем-то по-еврейски. Мойсей Мойсеич говорил вполголоса, низким баском, и в общем его еврейская речь походила на непрерывное "гал-гал-гал-гал...", а жена отвечала ему тонким индюшечьим голоском, и у нее выходило что-то вроде "ту-ту-ту-ту...". Пока они совещались, из-под сального одеяла выглянула другая кудрявая головка на тонкой шее, за ней третья, потом четвертая... Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая гидра.

- Гал-гал-гал-гал... - говорил Мойсей Мойсеич.

- Ту-ту-ту-ту... - отвечала ему еврейка.

Совещание кончилось тем, что еврейка с глубоким вздохом полезла в комод, развернула там какую-то зеленую тряпку и достала большой ржаной пряник, в виде сердца.

- Возьми, детка, - сказала она, подавая Егорушке пряник. - У тебя теперь нету маменьке, некому тебе гостинца дать.

Егорушка сунул в карман пряник и попятился к двери, так как был уже не в силах дышать затхлым и кислым воздухом, в котором жили хозяева. Вернувшись в большую комнату, он поудобней примостился на диване и уж не мешал себе думать.

Кузьмичов только что кончил считать деньги и клал их обратно в мешок. Обращался он с ними не особенно почтительно и валил их в грязный мешок без всякой церемонии с таким равнодушием, как будто это были не деньги, а бумажный хлам.

О. Христофор беседовал с Соломоном.

- Ну, что, Соломон премудрый? - спрашивал он, зевая и крестя рот. - Как дела?

- Это вы про какие дела говорите? - спросил Соломон и поглядел так ехидно, как будто ему намекали на какое-нибудь преступление.

- Вообще... Что подельываешь?

- Что я подельываю? - переспросил Соломон и пожал плечами. - То же, что и все... Вы видите: я лакей. Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающие лакеи у Варламова, а если бы я имел десять миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем.

- То есть почему же это он был бы у тебя лакеем?

- Почему? А потому, что нет такого барина или миллионера, который из-за лишней копейки не стал бы лизать рук у жида пархатого. Я теперь жид пархатый и нищий, все на меня смотрят, как на собаке, а если б у меня были деньги, то Варламов передо мной ломал бы такого дурака, как Мойсей перед вами.

О. Христофор и Кузьмичов переглянулись. Ни тот, ни другой не поняли Соломона. Кузьмичов строго и сухо поглядел на него и спросил:

- Как же ты, дурак этакой, равняешь себя с Варламовым?

- Я еще не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым, - ответил Соломон, насмешливо оглядывая своих собеседников. - Варламов хоть и русский, но в душе он жид пархатый: вся жизнь у него в деньгах и в наживе, а я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтоб меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умней вашего Варламова и больше похож на человека!

Немного погодя Егорушка сквозь полусон слышал, как Соломон голосом глухим и сиплым от душившей его ненависти, картавя и спеша, заговорил об евреях; сначала говорил он правильно, по-русски, потом же впал в тон рассказчиков из еврейского быта и стал говорить, как когда-то в балагане, с утрированным еврейским акцентом.

- Постой... - перебил его о. Христофор. - Если тебе твоя вера не нравится, так ты ее перемени, а смеяться грех; тот последний человек, кто над своей верой глумится.

- Вы ничего не понимаете! - грубо оборвал его Соломон. - Я вам говорю одно, а вы другое...

- Вот и видно сейчас, что ты глупый человек, - вздохнул о. Христофор. Я тебя наставляю, как умею, а ты сердишься. Я тебе по-стариковски, потихоньку, а ты, как индюк: бла-бла-бла! Чудак, право...

Вошел Мойсей Мойсеич. Он встревоженно поглядел на Соломона и на своих гостей, и опять на его лице нервно задрожала кожа. Егорушка встряхнул головой и поглядел вокруг себя; мельком он увидел лицо Соломона и как раз в тот момент, когда оно было обращено к нему в три четверти и когда тень от его длинного носа пересекала всю левую щеку; презрительная улыбка, смешанная с этою тенью, блестящие, насмешливые глаза, надменное выражение и вся его ошипанная фигурка, двоясь и мелькая в глазах Егорушки, делали его теперь похожим не на шута, а на что-то такое, что иногда снится, - вероятно, на нечистого духа.

- Какой-то он у вас бесноватый, Мойсей

Мойсеич, Бог с ним! - сказал с улыбкой о. Христофор. - Вы бы его пристроили куда-нибудь, или женили, что ли... На человека не похож...

Кузьмичов сердито нахмурился. Мойсей Мойсеич опять встревоженно и пытливо поглядел на брата и на гостей.

- Соломон, выйди отсюда! - строго сказал он. - Выйди!

И он прибавил еще что-то по-еврейски. Соломон отрывисто засмеялся и вышел.

- А что такое? - испуганно спросил Мойсей Мойсеич о. Христофора.

- Забывается, - ответил Кузьмичов. - Грубиян и много о себе понимает.

- Так и знал! - ужаснулся Мойсей Мойсеич, всплескивая руками. - Ах, Боже мой! Боже мой! - забормотал он вполголоса. - Уж вы будьте добрые, извините и не сердчайте. Это такой человек, такой человек! Ах, Боже мой! Боже мой! Он мне родной брат, но кроме горя я от него ничего не видел. Ведь он, знаете...

Мойсей Мойсеич покрутил пальцем около лба и продолжал:

- Не в своем уме... пропащий человек. И что мне с ним делать, не знаю! Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится... Знаете, над всеми смеется, говорит глупости, всякому в глаза тычет. Вы не можете поверить, раз приехал сюда Варламов, а Соломон такое ему сказал, что тот

ударил кнутом и его и мене... А мене за что? Разве я виноват? Бог отнял у него ум, значит, это божья воля, а я разве виноват?

Прошло минут десять, а Мойсей Мойсеич все еще бормотал вполголоса и вздыхал:

- Ночью он не спит и все думает, думает, думает, а о чем он думает, бог его знает. Подойдешь к нему ночью, а он сердится и смеется. Он и меня не любит... И ничего он не хочет! Папаша, когда помирал, оставил ему и мне по шести тысяч рублей. Я купил себе постоянный двор, женился и таперичка деточек имею, а он спалил свои деньги в печке. Так жалко, так жалко! Зачем палить? Тебе не надо, так отдай мне, а зачем же палить?

Вдруг завизжала дверь на блоке и задрожал пол от чьих-то шагов. На Егорушку пахло легким ветерком, и показалось ему, что какая-то большая черная птица пронеслась мимо и у самого лица его взмахнула крыльями. Он открыл глаза... Дядя с мешком в руках, готовый в путь, стоял возле дивана. О. Христофор, держа широкополый цилиндр, кому-то кланялся и улыбался не мягко и не умиленно, как всегда, а почтительно и натянуто, что очень не шло к его лицу. А Мойсей Мойсеич, точно его тело разломалось на три части, балансировал и всячески старался не рассыпаться. Один только Соломон, как ни в чем не бывало, стоял в углу, скрестив руки, и по-прежнему презрительно улыбался.

- Ваше сиятельство, извините, у нас не чисто! - стонал Мойсей Мойсеич с мучительно-сладкой улыбкой, уже не замечая ни Кузьмичова, ни о. Христофора, а только балансируя всем телом, чтобы не рассыпаться. - Мы люди простые, ваше сиятельство!

Егорушка протер глаза. Посреди комнаты стояло, действительно, сиятельство в образе молодой, очень красивой и полной женщины в черном платье и в соломенной шляпе. Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее черты, ему почему-то пришел на память тот одинокий, стройный тополь, который он видел днем на холме.

- Проезжал здесь сегодня Варламов? - спросил женский голос.

- Нет, ваше сиятельство! - ответил Мойсей Мойсеич.

- Если завтра увидите его, то попросите, чтобы он ко мне заехал на минутку.

Вдруг, совсем неожиданно, на полвершка от своих глаз, Егорушка увидел черные, бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные женские щеки с ямочками, от которых, как лучи от солнца, по всему лицу разливалась улыбка. Чем-то великолепно запахло.

- Какой хорошенький мальчик! - сказала дама.

- Чей это? Казимир Михайлович, посмотрите, какая прелесть! Боже мой, он спит! Бутуз ты мой милый...

И дама крепко поцеловала Егорушку в обе щеки, и он улыбнулся и, думая, что спит, закрыл глаза. Дверной блок завизжал, и послышались торопливые шаги: кто-то входил и выходил.

- Егорушка! Егорушка! - раздался густой шепот двух голосов. - Вставай, ехать!

Кто-то, кажется, Дениска, поставил Егорушку на ноги и повел его за руку; на пути он открыл наполовину глаза и еще раз увидел красивую женщину в черном платье, которая целовала его. Она стояла посреди комнаты и, глядя, как он уходил, улыбалась и дружелюбно кивала ему головой. Подходя к двери, он увидел какого-то красивого и плотного брюнета в шляпе котелком и в крагах. Должно быть, это был провожатый дамы.

- Тпрр! - донеслось со двора.

У порога дома Егорушка увидел новую, роскошную коляску и пару черных лошадей. На козлах сидел лакей в ливрее и с длинным хлыстом в руках. Провожать уезжающих вышел один только Соломон. Лицо его было напряжено от желания расхохотаться; он глядел так, как будто с большим нетерпением ждал отъезда гостей, чтобы вволю посмеяться над ними.

- Графиня Драницкая, - прошептал о. Христофор, ползая в бричку.

- Да, графиня Драницкая, - повторил Кузьмичов тоже шепотом.

Впечатление, произведенное приездом графини, было, вероятно, очень сильно, потому что даже Дениска говорил шепотом и только тогда решился стегнуть по гнедым и крикнуть, когда бричка проехала с четверть версты и когда далеко назад вместо постоянного двора виден уж был один только тусклый огонек.

#### IV

Кто же, наконец, этот неуловимый, таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого презирает Соломон и который нужен даже красивой графине? Севши на передок рядом с Дениской, полусонный Егорушка думал именно об этом человеке. Он никогда не видел его, но очень часто слышал о нем и нередко рисовал его в своем воображении. Ему известно было, что Варламов имеет несколько десятков тысяч десятин земли, около сотни тысяч овец и очень много денег; об его образе жизни и занятиях Егорушке было известно только то, что он всегда "кружился в этих местах" и что его всегда ищут.

Много слышал у себя дома Егорушка и о графине Драницкой. Она тоже имела несколько десятков тысяч десятин, много овец, конский завод и много денег, но не "кружилась", а жила у себя в богатой усадьбе, про которую знакомые и Иван Иванович, не раз бывавший у графини по делам, рассказывали много чудесного; так, говорили, что в графининой гостиной, где висят портреты всех польских королей, находились большие столовые часы, имевшие форму утеса, на утесе стоял дыбом золотой конь с бриллиантовыми глазами, а на коне сидел золотой всадник, который всякий раз, когда часы били, взмахивал шашкой направо и налево. Рассказывали также, что раза два в год графиня давала бал, на который приглашались дворяне и чиновники со всей губернии и приезжал даже Варламов; все гости пили чай из серебряных самоваров, ели все необыкновенное (например, зимою, на Рождество, подавались малина и клубника) и плясали под музыку, которая играла день и ночь...

"А какая она красивая!" - думал Егорушка, вспоминая ее лицо и улыбку.

Кузьмичов, вероятно, тоже думал о графине, потому что, когда бричка проехала версты две, он сказал:

- Да и здорово же обирает ее этот Казимир Михайлыч! В третьем годе, когда я у нее, помните, шерсть покупал, он на одной моей покупке тысячи три нажил.

- От ляха иного и ждать нельзя, - сказал о. Христофор.

- А ей и горюшка мало. Сказано, молодая да глупая. В голове ветер так и ходит!

Егорушке почему-то хотелось думать только о Варламове и графине, в особенности о последней. Его сонный мозг совсем отказался от обыкновенных мыслей, туманился и удерживал одни только сказочные, фантастические образы, которые имеют то удобство, что как-то сами собой, без всяких хлопот со стороны думающего, зарождаются в мозгу и сами - стоит только хорошенько встряхнуть головой - исчезают бесследно; да и все, что было кругом, не располагало к обыкновенным мыслям. Направо темнели холмы, которые, казалось, заслоняли собой что-то неведомое и страшное, налево все небо над горизонтом было залито багровым заревом, и трудно было понять, был ли то где-нибудь пожар или же собиралась восходить луна. Даль была видна, как и

днем, но уж ее нежная лиловая окраска, затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мгле, как дети Мойсея Мойсеича под одеялом.

В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и коростели, не поют в лесных балочках соловьи, не пахнет цветами, но степь все еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдет солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, все прощено, и степь легко вздыхает широкою грудью. Как будто от того, что траве не видно в потемках своей старости, в ней поднимается веселая, молодая трескотня, какой не бывает днем; треск, подсвистыванье, царапанье, степные басы, тенора и дисканты - все мешается в непрерывный, монотонный гул, под который хорошо вспоминать и грустить. Однообразная трескотня убаюкивает, как колыбельная песня; едешь и чувствуешь, что засыпаешь, но вот откуда-то доносится отрывистый, тревожный крик неуснувшей птицы, или раздастся неопределенный звук, похожий на чей-то голос, вроде удивленного "а-а!", и дремота опускает веки. А то, бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птица, которую степняки зовут сплюком, кому-то кричит: "Сплю! сплю! сплю!", а другая хохочет или заливается истерическим плачем - это сова. Для кого они кричат и кто их слушает на этой равнине, бог их знает, но в крике их много грусти и жалобы... Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цветами, но запах густ, сладко-приторен и нежен.

Сквозь мглу видно все, но трудно разобрать цвет и очертания предметов. Все представляется не тем, что оно есть. Едешь и вдруг видишь, впереди у самой дороги стоит силуэт, похожий на монаха; он не шевелится, ждет и что-то держит в руках... Не разбойник ли это? Фигура приближается, растет, вот она поравнялась с бричкой, и вы видите, что это не человек, а одинокий куст или большой камень. Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры стоят на холмах, прячутся за курганами, выглядывают из бурьяна, и все они походят на людей и внушают подозрение.

А когда восходит луна, ночь становится бледной и томной. Мглы как не бывало. Воздух прозрачен, свеж и тепел, всюду хорошо видно и даже можно различить у дороги отдельные стебли бурьяна. На далекое пространство видны черепа и камни. Подозрительные фигуры, похожие на монахов, на светлом фоне ночи кажутся чернее и смотрят угрюмее. Чаше и чаще среди монотонной трескотни, тревожа неподвижный воздух, раздастся чье-то удивленное "а-а!" и слышится крик неуснувшей или бредящей птицы. Широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго всматриваться в нее, высятся и громоздятся друг на друга туманные, причудливые образы... Немножко жутко. А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачка, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух недвижим, почему природа настороже и боится шевельнуться: ей жутко и жаль утратить хоть одно мгновение жизни. О необъятной глубине и безграничности неба можно судить только на море да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково, глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова.

Едешь час-другой... Попадается на пути молчаливый старик-курган или каменная баба, поставленная бог ведает кем и когда, бесшумно пролетит над землею ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и все то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в глубоком небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!

- Тпрр! Здорово. Пантелей! Все благополучно?

- Слава богу, Иван Иваныч!

- Не видали, ребята, Варламова?

- Нет, не видали.

Егорушка проснулся и открыл глаза. Бричка стояла. Направо по дороге далеко вперед тянулся обоз, около которого сновали какие-то люди. Все возы, потому что на них лежали большие тюки с шерстью, казались очень высокими и пухлыми, а лошади - маленькими и коротконогими.

- Так мы, значит, теперь к молокану поедем! - громко говорил Кузьмичов. - Жид сказывал, что Варламов у молокана ночует. В таком случае прощайте, братцы! С богом!

- Прощайте, Иван Иваныч! - ответило несколько голосов.

- Вот что, ребята, - живо сказал Кузьмичов, - вы бы взяли с собой моего парнишку! Что ему с нами зря болтаться? Посади его, Пантелей, к себе на тюк и пусть себе едет помаленьку, а мы догоним. Ступай, Егор! Иди, ничего!..

Егорушка слез с передка. Несколько рук подхватило его, подняло высоко вверх, и он очутился на чем-то большом, мягком и слегка влажном от росы. Теперь ему казалось, что небо было близко к нему, а земля далеко.

- Эй, возьми свою пальтишку! - крикнул где-то далеко внизу Дениска.

Пальто и узелок, подброшенные снизу, упали возле Егорушки. Он быстро, не желая ни о чем думать, положил под голову узелок, укрылся пальто и, протягивая ноги во всю длину, пожимаясь от росы, засмеялся от удовольствия.

"Спать, спать, спать..." - думал он.

- Вы же, черти, его не забижайте! - послышался снизу голос Дениски.

- Прощайте, братцы! С богом! - крикнул Кузьмичов. - Я на вас надеюсь!

- Будьте покойны, Иван Иваныч!

Дениска ахнул на лошадей, бричка взвизгнула и покатила, но уж не по дороге, а куда-то в сторону. Минуты две было тихо, точно обоз уснул, и только слышалось, как вдали мало-помалу замирало лязганье ведра, привязанного к задку брички. Но вот впереди обоза кто-то крикнул:

- Кирюха, тро-о-гай!

Заскрипел самый передний воз, за ним другой, третий... Егорушка почувствовал, как воз, на котором он лежал, покачнулся и тоже заскрипел. Обоз тронулся. Егорушка крепче взялся рукой за веревку, которою был перевязан тюк, еще засмеялся от удовольствия, поправил в кармане пряник и стал засыпать так, как он обыкновенно засыпал у себя дома в постели...

Когда он проснулся, уже восходило солнце; курган заслонял его собою, а оно, стараясь брызнуть светом на мир, напряженно паялило свои лучи во все стороны и заливало горизонт золотом. Егорушке показалось, что оно было не на своем месте, так как вчера оно восходило сзади за его спиной, а сегодня много левее... Да и вся местность не походила на вчерашнюю. Холмов уже не было, а всюду, куда ни взглянешь, тянулась без конца бурая, невеселая равнина; кое-где на ней высились небольшие курганы, и летали вчерашние грачи. Далеко впереди белели колокольни и избы какой-то деревни; по случаю воскресного дня хохлы сидели дома, пекли и варили - это видно было по дыму, который шел изо всех труб и сизой прозрачной пеленой висел над деревней. В промежутках между изб и за церковью синела река, а за нею туманилась даль. Но ничто не походило так мало на вчерашнее, как дорога. Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги; то была серая полоса, хорошо выезженная и покрытая пылью, как

все дороги, но шириною в несколько десятков сажен. Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно. Можно, в самом деле, подумать, что на Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди, вроде Ильи Муромца и Соловья Разбойника, и что еще не вымерли богатырские кони. Егорушка, взглянув на дорогу, вообразил штук шесть высоких, рядом скачущих колесниц, вроде тех, какие он видывал на рисунках в священной истории; заложены эти колесницы в шестерки диких, бешеных лошадей и своими высокими колесами поднимают до неба облака пыли, а лошадьми правят люди, какие могут сниться или вырастать в сказочных мыслях. И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороге, если бы они существовали!

По правой стороне дороги на всем ее протяжении стояли телеграфные столбы с двумя проволоками. Становясь все меньше и меньше, они около деревни исчезали за избами и зеленью, а потом опять показывались в лиловой дали в виде очень маленьких, тоненьких палочек, похожих на карандаши, воткнутые в землю. На проволоках сидели ястребы, кобчики и вороны и равнодушно глядели на двигавшийся обоз.

Егорушка лежал на самом заднем возу и мог поэтому видеть весь обоз. Всех подвод в обозе было около двадцати и на каждые три подводы приходилось по одному возчику. Около заднего воза, где был Егорушка, шел старик с седой бородой, такой же тощий и малорослый, как о. Христофор, но с лицом, бурым от загара, строгим и задумчивым. Очень может быть, что этот старик не был ни строг, ни задумчив, но его красные веки и длинный, острый нос придавали его лицу строгое, сухое выражение, какое бывает у людей, привыкших думать всегда о серьезном и в одиночку. Как и на о. Христофоре, на нем был широкополый цилиндр, но не барский, а войлочный и бурый, похожий скорее на усеченный конус, чем на цилиндр. Ноги его были босы. Вероятно, по привычке, приобретенной в холодные зимы, когда не раз, небось, приходилось ему мерзнуть около обоза, он на ходу похлопывал себя по бедрам и притопывал ногами. Заметив, что Егорушка проснулся, он поглядел на него и сказал, пожимаясь, как от мороза:

- А, проснулся, молодчик! Сыном Ивану Ивановичу-то доводишься?

- Нет, племянник...

- Ивану Иванычу-то? А я вот сапожки снял и босиком прыгаю. Ножки у меня большие, стуженые, а без сапогов оно выходит слободнее... Слободнее, молодчик... То есть без сапогов-то... Значит, племянник? А он хороший человек, ничего... Дай Бог здоровья... Ничего... Я про Ивана Иваныча-то... К молокану поехал... О, господи, помилуй!

Старик и говорил так, как будто было очень холодно, с расстановками и не раскрывая как следует рта; и губные согласные выговаривал он плохо, заикаясь на них, точно у него замерзли губы. Обращаясь к Егорушке, он ни разу не улыбнулся и казался строгим.

Дальше через две подводы шел с кнутом в руке человек в длинном рыжем пальто, в картузе и сапогах с опустившимися голенищами. Этот был не стар, лет сорока. Когда он оглянулся, Егорушка увидел длинное красное лицо с жидкой козлиной бородкой и с губчатой шишкой под правым глазом. Кроме этой, очень некрасивой шишки, у него была еще одна особая примета, резко бросавшаяся в глаза: в левой руке держал он кнут, а правую помахивал таким образом, как будто дирижировал невидимым хором; изредка он брал кнут под мышку и тогда уж дирижировал обеими руками и что-то гудел себе под нос.

Следующий за ним подводчик представлял из себя длинную, прямолинейную фигуру с сильно покатыми плечами и с плоской, как доска, спиной. Он держался прямо, как будто маршировал или проглотил аршин, руки у него не болтались, а отвисали, как прямые палки, и шагал он как-то деревянно, на манер игрушечных солдатиков, почти не сгибая колен и стараясь сделать шаг



возможно пошире; когда старик или обладатель губчатой шишки делали по два шага, он успевал делать только один и потому казалось, что он идет медленнее всех и отстает. Лицо у него было подвязано тряпкой и на голове торчало что-то вроде монашеской скуфейки; одет он был в короткую хохлацкую чумарку, всю усыпанную латками, и в синие шаровары навывпуск, а обут в лапти.

Тех, кто был дальше, Егорушка уже не разглядывал. Он лег животом вниз, расковырял в туке дырочку и от нечего делать стал вить из шерсти ниточки. Старик, шагавший внизу, оказался не таким строгим и серьезным, как можно было судить по его лицу. Раз начавши разговор, он уж не прекращал его.

- Ты куда же едешь? - спросил он, притопывая ногами.

- Учиться, - ответил Егорушка.

- Учиться? Ага... Ну, помогай Царица Небесная.

Так. Ум хорошо, а два лучше. Одному человеку Бог один ум дает, а другому два ума, а иному и три... Иному три, это верно... Один ум, с каким мать родила, другой от учения, а третий от хорошей жизни. Так вот, братуша, хорошо, ежели у которого человека три ума. Тому не то что жить, и помирать легче. Помирать-то... А порем все как есть.

Старик почесал себе лоб, взглянул красными глазами вверх на Егорушку и продолжал:

- Максим Николаич, барин из-под Славяносербска, в прошлом году тоже повез своего парнишку в учение. Не знаю, как он там в рассуждении наук, а парнишка ничего, хороший... Дай Бог здоровья, славные господа. Да, тоже вот повез в ученье... В Славяносербском нету такого заведения, чтоб, стало быть, до науки доводить. Нету... А город ничего, хороший... Школа обыкновенная, для простого звания есть, а чтоб насчет большого ученья, таких нету... Нету, это верно. Тебя как звать?

- Егорушка.

- Стало быть, Егорий... Святого великомученика Егоргия Победоносца числа двадцать третьего апреля. А мое святое имя Пантелей... Пантелей Захаров Холодов... Мы Холодовы будем... Сам я уроженный, может, слыхал, из Тима, Курской губернии. Браты мои в мещане отписались и в городе мастерством занимаются, а я мужик... Мужиком остался. Годов семь назад ездил я туда... домой то есть. И в деревне был, и в городе... В Тиме, говорю, был. Тогда, благодарить бога, все живы и здоровы были, а теперь не знаю... Может, кто и помер... А помирать уж время, потому все старые, есть которые постаршее меня. Смерть ничего, оно хорошо, да только бы, конечно, без покаяния не помереть. Нет пуще лиха, как наглая смерть. Наглая-то смерть бесу радость. А коли хочешь с покаянием помереть, чтобы, стало быть, в чертоги божии запрету тебе не было, Варваре великомученице молись. Она ходатайница. Она, это верно... Потому ей Бог в небесех такое положение определил, чтоб, значит, каждый имел полную праву ее насчет покаяния молить.

Пантелей бормотал и, по-видимому, не заботился о том, слышит его Егорушка или нет. Говорил он вяло, себе под нос, не повышая и не понижая голоса, но в короткое время успел рассказать о многом. Все рассказанное им состояло из обрывков, имевших очень мало связи между собой и совсем неинтересных для Егорушки. Быть может, он говорил только для того, чтобы теперь утром после ночи, проведенной в молчании, произвести вслух проверку своим мыслям: все ли они дома? Кончив о покаянии, он опять заговорил о каком-то Максиме Николаевиче из-под Славяносербска:

- Да, повез парнишку... Повез, это верно...

Один из подводчиков, шедших далеко впереди, рванулся с места, побежал в сторону и стал хлестать кнутом по земле. Это был рослый, широкоплечий мужчина лет тридцати, русский, кудрявый и, по-видимому, очень сильный и здоровый. Судя по движениям его плеч и кнута, по жадности,

которую выражала его поза, он бил что-то живое. К нему подбежал другой подводчик, низенький и коренастый, с черной окладистой бородой, одетый в жилетку и рубаху навыпуск. Этот разразился басистым кашляющим смехом и закричал:

- Братцы, Дымов змея убил! Ей-богу!

Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху. Чернобородый принадлежал именно к таким счастливым: в его голосе и смехе чувствовалась непроходимая глупость. Кончив хлестать, русский Дымов поднял кнутом с земли и со смехом швырнул к подводам что-то похожее на веревку.

- Это не змея, а уж, - крикнул кто-то.

Деревянно шагнувший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой змее, взглянул на нее и всплеснул своими палкообразными руками.

- Каторжный! - закричал он глухим, плачущим голосом. - За что ты ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? Ишь, ужика убил! А ежели бы тебя так?

- Ужа нельзя убивать, это верно... - покойно забормотал Пантелей. Нельзя... Это не гадюка. Он хоть по виду змея, а тварь тихая, безвинная... Человека любит... Уж-то...

Дымову и чернобородому, вероятно, стало совестно, потому что они громко засмеялись и, не отвечая на ропот, лениво поплелись к своим возам. Когда задняя подвода поравнялась с тем местом, где лежал убитый уж, человек с подвязанным лицом, стоящий над ужом, обернулся к Пантелею и спросил плачущим голосом:

- Дед, ну за что он убил ужика?

Глаза у него, как теперь разглядел Егорушка, были маленькие, тусклые, лицо серое, болезненное и тоже как будто тусклое, а подбородок был красен и представлялся сильно опухшим.

- Дед, ну за что убил? - повторил он, шагая рядом с Пантелеем.

- Глупый человек, руки чешутся, оттого и убил, - ответил старик. - А ужа бить нельзя... Это верно...

Дымов, известно, озорник, все убьет, что под руку попадется, а Кирюха не вступился. Вступить бы надо, а он - ха-ха-ха, да хо-хо-хо... А ты, Вася, не сердчай... Зачем сердчать? Убили, ну и бог с ними... Дымов озорник, а Кирюха от глупого ума... Ничего... Люди глупые, непонимающие, ну и бог с ними. Вот Емельян никогда не тронет, что не надо. Никогда, это верно... Потому человек образованный, а они глупые... Емельян-то... Он не тронет.

Подводчик в рыжем пальто и с губчатой шишкой, дирижировавший невидимым хором, услышав свое имя, остановился и, выждав, когда Пантелей и Вася поровнялись с ним, пошел рядом.

- О чем разговор? - спросил он сиплым, придушенным голосом.

- Да вот Вася сердчает, - сказал Пантелей. - Я ему разные слова, чтобы он не сердчал, значит... Эх, ножки мои больные, стуженые! Э-эх! Раззуделись ради воскресенья, праздничка господня!

- Это от ходьбы, - заметил Вася.

- Не, паря, не... Не от ходьбы. Когда хожу, словно легче, когда ложусь да согреюсь - смерть моя. Ходить мне вольготней.

Емельян в рыжем пальто стал между Пантелеем и Васей и замахал рукой, как будто те собирались петь. Помахав немножко, он опустил руку и безнадежно крикнул.

- Нету у меня голоса! - сказал он. - Чистая напасть! Всю ночь и утро мерещится мне тройное "Господи, помилуй", что мы на венчании у Мариновского пели; сидит оно в голове и в глотке... так бы, кажется, и спел, а не могу! Нету голосу!

Он помолчал минуту, о чем-то думая, и продолжал:

- Пятнадцать лет был в певчих, во всем Луганском заводе, может, ни у кого такого голоса не было, а как, чтоб его шут, выкупался в третьем году в Донце, так с той поры ни одной ноты не могу взять чисто. Глотку застудил. А мне без голоса все равно, что работнику без руки.

- Это верно, - согласился Пантелей.

- Об себе я так понимаю, что я пропащий человек и больше ничего.

В это время Вася нечаянно увидел Егорушку.

Глаза его замаслились и стали еще меньше.

- И паничек с нами едет! - сказал он и прикрыл нос рукавом, точно застыдившись. - Какой извозчик важный! Оставайся с нами, будешь с обозом ездить, шерсть возить.

Мысль о совместимости в одном теле паничка с извозчиком показалась ему, вероятно, очень курьезной и остроумной, потому что он громко захихикал и продолжал развивать эту мысль. Емельян тоже взглянул вверх на Егорушку, но мельком и холодно. Он был занят своими мыслями, и если бы не Вася, то не заметил бы присутствия Егорушки. Не прошло и пяти минут, как он опять замахал рукой, потом, расписывая своим спутникам красоты венчального "Господи, помилуй", которое ночью пришло ему на память, взял кнут под мышку и замахал обеими руками.

За версту от деревни обоз остановился около колодца с журавлем. Опуская в колодезь свое ведро, чернобородый Кирюха лег животом на сруб и сунул в темную дыру свою мохнатую голову, плечи и часть груди, так что Егорушке были видны одни только его короткие ноги, едва касавшиеся земли; увидев далеко на дне колодца отражение своей головы, он обрадовался и залился глупым, басовым смехом, а колодезное эхо ответило ему тем же; когда он поднялся, его лицо и шея были красны, как кумач. Первый подбежал пить Дымов. Он пил со смехом, часто отрываясь от ведра и рассказывая Кирюхе о чем-то смешном, потом поперхнулся и громко, на всю степь, произнес штук пять нехороших слов. Егорушка не понимал значения подобных слов, но что они были дурные, ему было хорошо известно. Он знал об отвращении, которое молчаливо питали к ним его родные и знакомые, сам, не зная почему, разделял это чувство и привык думать, что одни только пьяные да буйные пользуются привилегией произносить громко эти слова. Он вспомнил убийство ужа, прислушался к смеху Дымова и почувствовал к этому человеку что-то вроде ненависти. И как нарочно, Дымов в это время увидел Егорушку, который слез с воза и шел к колодцу; он громко засмеялся и крикнул:

- Братцы, старик ночью мальчишку родил!

Кирюха закашлялся от басового смеха. Засмеялся и еще кто-то, а Егорушка покраснел и окончательно решил, что Дымов очень злой человек.

Русый, с кудрявой головой, без шапки и с расстегнутой на груди рубахой, Дымов казался красивым и необыкновенно сильным; в каждом его движении виден был озорник и силач, знающий себе цену. Он поводил плечами, подбоченивался, говорил и смеялся громче всех и имел такой вид, как будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и удивить этим весь мир. Его шальной насмешливый взгляд скользил по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы еще убить от нечего делать и над чем бы посмеяться. По-видимому, он никого не боялся, ничем не стеснял себя и, вероятно, совсем не интересовался мнением Егорушки...

А Егорушка уж всей душой ненавидел его русую голову, чистое лицо и силу, с отвращением и страхом слушал его смех и придумывал, какое бы бранное слово сказать ему в отместку.

Пантелей тоже подошел к ведру. Он вынул из кармана зеленый лампадный стаканчик, вытер его тряпочкой, зачерпнул им из ведра и выпил, потом еще раз зачерпнул, завернул стаканчик в тряпочку и положил его обратно в карман.

- Дед, зачем ты пьешь из лампадки? - удивился Егорушка.

- Кто пьет из ведра, а кто из лампадки, - ответил уклончиво старик. Каждый по-своему... Ты из ведра пьешь, ну и пей на здоровье...

- Голубушка моя, матушка-красавица, -заговорил вдруг Вася ласковым, плачущим голосом.

- Голубушка моя!

Глаза его были устремлены вдаль, они замаслились, улыбались, и лицо приняло такое же выражение, какое у него было ранее, когда он глядел на Егорушку.

- Кому это ты? - спросил Кирюха.

- Лисичка-матушка... легла на спину и играет, словно собачка...

Все стали смотреть вдаль и искать глазами лисицу, но ничего не нашли. Один только Вася видел что-то своими мутными серыми глазками и восхищался. Зрение у него, как потом убедился Егорушка, было поразительно острое. Он видел так хорошо, что бурая пустынная степь была для него всегда полна жизни и содержания. Стоило ему только взглянуть в даль, чтобы увидеть лисицу, зайца, дрохву или другое какое-нибудь животное, держащее себя подальше от людей. Немудрено увидеть убегающего зайца или летящую дрохву -это видел всякий, проезжавший степью, - но не всякому доступно видеть диких животных в их домашней жизни, когда они не бегут, не прячутся и не глядят встревоженно по сторонам. А Вася видел играющих лисиц, зайцев, умывающихся лапками, дрохв, расправляющих крылья, стрепетов, выбивающих свои "точки". Благодаря такой остроте зрения, кроме мира, который видели все, у Васи был еще другой мир, свой собственный, никому не доступный и, вероятно, очень хороший, потому что, когда он глядел и восхищался, трудно было не завидовать ему.

Когда обоз тронулся дальше, в церкви зазвонили к обедне.

## V

Обоз расположился в стороне от деревни на берегу реки. Солнце жгло по-вчерашнему, воздух был неподвижен и уныл. На берегу стояло несколько верб, но тень от них падала не на землю, а на воду, где пропадала даром, в тени же под возами было душно и скучно. Вода, голубая оттого, что в ней отражалось небо, страстно манила к себе.

Подводчик Степка, на которого только теперь обратил внимание Егорушка, восемнадцатилетний мальчик-хохол, в длинной рубахе, без пояса и в широких шароварах навывпуск, болтавшихся при ходьбе как флаги, быстро разделся, сбегал вниз по крутому бережку и бултыхнулся в воду. Он раза три нырнул, потом поплыл на спине и закрыл от удовольствия глаза. Лицо его улыбалось и морщилось, как будто ему было щекотно, больно и смешно.

В жаркий день, когда некуда деваться от зноя и духоты, плеск воды и громкое дыхание купающегося человека действуют на слух, как хорошая музыка. Дымов и Кирюха, глядя на Степку, быстро разделись и, один за другим, с громким смехом и предвкушая наслаждение, попадали в воду. И тихая, скромная речка огласилась фырканьем, плеском и криком. Кирюха кашлял, смеялся и кричал так, как будто его хотели утопить, а Дымов гонялся за ним и старался схватить его за ногу.

- Ге-ге-ге! - кричал он. - Лови, держи его!

Кирюха хохотал и наслаждался, но выражение лица у него было такое же, как и на суше: глупое, ошеломленное, как будто кто незаметно подкрался к нему сзади и хватил его обухом по голове. Егорушка тоже разделся, но не спускался вниз по бережку, а разбежался и полетел с полуторасаженной вышины. Описав в воздухе дугу, он упал в воду, глубоко погрузился, но дна не достал; какая-то сила, холодная и приятная на ощупь, подхватила его и понесла обратно наверх. Он вынырнул и, фыркая, пуская пузыри, открыл глаза; но на реке как раз возле его лица отражалось солнце. Сначала ослепительные искры, потом радуги и темные пятна заходили в его глазах; он поспешил опять нырнуть, открыл в воде глаза и увидел что-то мутно-зеленое, похожее на небо в лунную ночь. Опять та же сила, не давая ему коснуться дна и побыть в прохладе, понесла его наверх, он вынырнул и вздохнул так глубоко, что стало просторно и свежо не только в груди, но даже в животе. Потом, чтобы взять от воды все, что только можно взять, он позволял себе всякую роскошь: лежал на спине и нежился, брызгался, кувырчался, плавал и на животе, и боком, и на спине, и встоячую - как хотел, пока не утомился. Другой берег густо порос камышом, золотился на солнце, и камышовые цветы красивыми кистями наклонились к воде. На одном месте камыш вздрагивал, кланялся своими цветами и издавал треск - то Степка и Кирюха "драли" раков.

- Рак! Гляди, братцы: рак! - закричал торжествуя Кирюха и показал действительно рака.

Егорушка поплыл к камышу, нырнул и стал шарить около камышовых кореньев. Копаясь в жидком, ослизлом иле, он нащупал что-то острое и противное, может быть, и в самом деле рака, но в это время кто-то схватил его за ногу и потащил наверх. Захлебываясь и кашляя, Егорушка открыл глаза и увидел перед собой мокрое смеющееся лицо озорника Дымова. Озорник тяжело дышал и, судя по глазам, хотел продолжать шалить. Он крепко держал Егорушку за ногу и уж поднял другую руку, чтобы схватить его за шею, но Егорушка с отвращением и со страхом, точно брезгуя и боясь, что силач его утопит, рванулся от него и проговорил:

- Дурак! Я тебе в морду дам!

Чувствуя, что этого недостаточно для выражения ненависти, он подумал и прибавил:

- Мерзавец! Сукин сын!

А Дымов, как ни в чем не бывало, уже не замечал Егорушки, а плыл к Кирюхе и кричал:

- Ге-ге-гей! Давайте рыбу ловить! Ребята, рыбу ловить!

- А что ж? - согласился Кирюха. - Должно, тут много рыбы...

- Степка, побегии на деревню, попроси у мужиков бредня!

- Не дадут!

- Дадут! Ты попроси! Скажи, чтоб они заместо

Христа ради, потому мы все равно - странники.

- Это верно!

Степка вылез из воды, быстро оделся и без шапки, болтая своими широкими шароварами, побежал к деревне. После столкновения с Дымовым вода потеряла уже для Егорушки всякую прелесть. Он вылез и стал одеваться. Пантелей и Вася сидели на крутом берегу, свесив вниз ноги, и глядели на купающихся. Емельян голый стоял по колена в воде у самого берега, держался одной рукой за траву, чтобы не упасть, а другою гладил себя по телу. С костистыми лопатками, с шишкой под глазом, согнувшийся и явно трусивший воды, он представлял из себя смешную фигуру. Лицо у

него было серьезное, строгое, глядел он на воду сердито, как будто собирался выбрать ее за то, что она когда-то простудила его в Донце и отняла у него голос.

- А ты отчего не купаешься? - спросил Егорушка у Васи.

- А так... Не люблю... - ответил Вася.

- Отчего это у тебя подбородок распух?

- Болит... Я, паничек, на спичечной фабрике работал... Доктор сказывал, что от этого самого у меня и черлюсть пухнет. Там воздух нездоровый. А кроме меня, еще у троих ребят черлюсть раздуло, а у одного так совсем сгнила.

Скоро вернулся Степка с бреднем. Дымов и Кирюха от долгого пребывания в воде стали лиловыми и охрипли, но за рыбную ловлю принялись с охотой. Сначала они пошли по глубокому месту, вдоль камыша; тут Дымову было по шею, а малорослому Кирюхе с головой; последний захлебывался и пускал пузыри, а Дымов, натываясь на колючие корни, падал и путался в бредне, оба барахтались и шумели, и из их рыбной ловли выходила одна шалость.

- Глыбоко, - хрипел Кирюха. - Ничего не поймаешь!

- Не дергай, ч!рт! - кричал Дымов, стараясь придать бредню надлежащее положение. - Держи руками!

- Тут вы не поймаете! - кричал им с берега Пантелей. - Только рыбу пужаете, дурни! Забирайте влево! Там мельче!

Раз над бреднем блеснула крупная рыбешка; все ахнули, а Дымов ударил кулаком по тому месту, где она исчезла, и на лице его выразилась досада.

- Эх! - крикнул Пантелей и притопнул ногами.

- Прозевали чикамаса! Ушел!

Забирая влево, Дымов и Кирюха мало-помалу выбрались на мелкое, и тут ловля пошла настоящая. Они забрели от подвод шагов на триста; видно было, как они, молча и еле двигая ногами, стараясь забирать возможно глубже и поближе к камышу, волокли бредень, как они, чтобы испугать рыбу и загнать ее к себе в бредень, били кулаками по воде и шуршали в камыше. От камыша они шли к другому берегу, тащили там бредень, потом с разочарованным видом, высоко поднимая колена, шли обратно к камышу. О чем-то они говорили, но о чем - не было слышно. А солнце жгло им в спины, кусались мухи, и тела их из лиловых стали багровыми. За ними с ведром в руках, засучив рубаху под самые подмышки и держа ее зубами за подол, ходил Степка. После каждой удачной ловли он поднимал вверх какую-нибудь рыбу и, блестя ею на солнце, кричал:

- Поглядите, какой чикамас! Таких уж штук пять есть!

Видно было, как, вытащив бредень, Дымов, Кирюха и Степка всякий раз долго копались в иле, что-то клали в ведро, что-то выбрасывали; изредка что-нибудь лопавшее в бредень они брали с рук на руки, рассматривали с любопытством, потом тоже бросали...

- Что там? - кричали им с берега.

Степка что-то отвечал, но трудно было разобрать его слова. Вот он вылез из воды и, держа ведро обеими руками, забывая опустить рубаху, побежал к подводам.

- Уже полное! - кричал он, тяжело дыша. - Давайте другое!

Егорушка заглянул в ведро: оно было полно; из воды высывала свою некрасивую морду молодая щука, а возле нее копошились раки и мелкие рыбешки. Егорушка запустил руку на дно и

взболтал воду; щука исчезла под раками, а вместо нее всплыли наверх окунь и линь. Вася тоже заглянул в ведро. Глаза его замаслились и лицо стало ласковым, как раньше, когда он видел лисицу. Он вынул что-то из ведра, поднес ко рту и стал жевать. Послышалось хрустенье.

- Братцы, - удивился Степка, - Васька пискаря живьем ест! Тьфу!

- Это не пискарь, а бобырик, - покойно ответил Вася, продолжая жевать.

Он вынул изо рта рыбий хвостик, ласково поглядел на него и опять сунул в рот. Пока он жевал и хрустел зубами, Егорушке казалось, что он видит перед собой не человека. Пухлый подбородок Васи, его тусклые глаза, необыкновенно острое зрение, рыбий хвостик во рту и ласковость, с какою он жевал пискаря, делали его похожим на животное.

Егорушке стало скучно возле него. Да и рыбная ловля уже кончилась. Он прошелся около возов, подумал и от скуки поплелся к деревне.

Немного погодя он уже стоял в церкви и, положив лоб на чью-то спину, пахнущую коноплей, слушал, как пели на клиросе. Обедня уже близилась к концу. Егорушка ничего не понимал в церковном пении и был равнодушен к нему. Он послушал немного, зевнул и стал рассматривать затылки и спины. В одном затылке, рыжем и мокром от недавнего купанья, он узнал Емельяна. Затылок был выстрижен под скобку и выше, чем принято; виски были тоже выстрижены выше, чем следует, и красные уши Емельяна торчали, как два лопуха, и, казалось, чувствовали себя не на своем месте. Глядя на затылок и на уши, Егорушка почему-то подумал, что Емельян, вероятно, очень несчастлив. Он вспомнил его дирижирование, сиплый голос, робкий вид во время купанья и почувствовал к нему сильную жалость. Ему захотелось сказать что-нибудь ласковое.

- А я здесь! - сказал он, дернув его за рукав.

Люди, поющие в хоре тенором или басом, особенно те, которым хоть раз в жизни приходилось дирижировать, привыкают смотреть на мальчиков строго и нелюдимо. Эту привычку не оставляют они и потом, переставая быть певчими. Обернувшись к Егорушке, Емельян поглядел на него исподлобья и сказал:

- Не балуйся в церкви!

Затем Егорушка пробрался вперед, поближе к иконостасу. Тут он увидел интересных людей. Впереди всех по правую сторону на ковре стояли какие-то господин и дама. Позади них стояло по стулу. Господин был одет в свежeweглаженную чечунчовую пару, стоял неподвижно, как солдат, отдающий честь, и высоко держал свой синий, бритый подбородок. В его стоячих воротничках, в синеве подбородка, в небольшой лысине и в трости чувствовалось очень много достоинства. От избытка достоинства шея его была напряжена и подбородок тянуло вверх с такой силой, что голова, казалось, каждую минуту готова была оторваться и полететь вверх. А дама, полная и пожилая, в белой шелковой шали, склонила голову набок и глядела так, как будто только что сделала кому-то одолжение и хотела сказать: "Ах, не беспокойтесь благодарить! Я этого не люблю..." Вокруг ковra густой стеной стояли хохлы.

Егорушка подошел к иконостасу и стал прикладываться к местным иконам. Перед каждым образом он не спеша клал земной поклон, не вставая с земли, оглядывался назад на народ, потом вставал и прикладывался. Прикосновение лбом к холодному полу доставляло ему большое удовольствие. Когда из алтаря вышел сторож с длинными щипцами, чтобы тушить свечи, Егорушка быстро вскочил с земли и побежал к нему.

- Раздавали уж просфору? - спросил он.

- Нету, нету... - угрюмо забормотал сторож. - Нечего тут...

Обедня кончилась. Егорушка не спеша вышел из церкви и пошел бродить по площади. На своем веку перевидал он немало деревень, площадей и мужиков, и все, что теперь попадалось ему на глаза, совсем не интересовало его. От нечего делать, чтобы хоть чем-нибудь убить время, он зашел в лавку, над дверями которой висела широкая кумачовая полоса. Лавка состояла из двух просторных, плохо освещенных половин: в одной продавались красный товар и бакалея, а в другой стояли бочки с дегтем и висели на потолке хомуты; из той, другой, шел вкусный запах кожи и дегтя. Пол в лавке был полит; поливал его, вероятно, большой фантазер и вольнодумец, потому что он весь был покрыт узорами и кабалистическими знаками. За прилавком, опершись животом о конторку, стоял откормленный лавочник с широким лицом и с круглой бородой, по-видимому великоросс. Он пил чай вприкуску и после каждого глотка выпускал глубокий вздох. Лицо его выражало совершенное равнодушие, но в каждом вздохе слышалось: "Ужо погоди, задам я тебе!"

- Дай мне на копейку подсолнухов! - обратился к нему Егорушка.

Лавочник поднял брови, вышел из-за прилавка и всыпал в карман Егорушки на копейку подсолнухов, причем мерой служила пустая помадная баночка. Егорушке не хотелось уходить. Он долго рассматривал ящики с пряниками, подумал и спросил, указывая на мелкие вяземские пряники, на которых от давности лет выступила ржавчина:

- Почему эти пряники?

- Копейка пара.

Егорушка достал из кармана пряник, подаренный ему вчера еврейкой, и спросил:

- А такие пряники у тебя почему?

Лавочник взял в руки пряник, оглядел его со всех сторон и поднял одну бровь.

- Такие? - спросил он.

Потом поднял другую бровь, подумал и ответил:

- Три копейки пара...

Наступило молчание.

- Вы чьи? - спросил лавочник, наливая себе чаю из красного медного чайника.

- Племянник Ивана Иваныча.

- Иваны Иванычи разные бывают, - вздохнул лавочник; он поглядел через Егорушкину голову на дверь, помолчал и спросил: - Чайку не желаете ли?

- Пожалуй... - согласился Егорушка с некоторой неохотой, хотя чувствовал сильную тоску по утреннем чае.

Лавочник налил ему стакан и подал вместе с огрызенным кусочком сахара. Егорушка сел на складной стул и стал пить. Он хотел еще спросить, сколько стоит фунт миндаля в сахаре, и только что завел об этом речь, как вошел покупатель, и хозяин, отставив в сторону свой стакан, занялся делом. Он повел покупателя в ту половину, где пахло дегтем, и долго о чем-то разговаривал с ним. Покупатель, человек, по-видимому, очень упрямый и себе на уме, все время в знак несогласия мотал головой и пялился к двери. Лавочник убедил его в чем-то и начал сыпать ему овес в большой мешок.

- Хиба це овес? - сказал печально покупатель.

- Це не овес, а полова, курам на смих... Ни, пиду к Бондаренку!

Когда Егорушка вернулся к реке, на берегу дымил небольшой костер. Это подводчики варили себе обед. В дыму стоял Степка и большой зазубренной ложкой мешал в котле. Несколько в стороне,



с красными от дыма глазами, сидели Кирюха и Вася и чистили рыбу. Перед ними лежал покрытый илом и водорослями бредень, на котором блестела рыба и ползали раки.

Недавно вернувшийся из церкви Емельян сидел рядом с Пантелеем, помахивал рукой и едва слышно напевал сильным голосом: "Тебе поем..." Дымов бродил около лошадей.

Кончив чистить, Кирюха и Вася собрали рыбу и живых раков в ведро, всполоснули и из ведра вывалили все в кипевшую воду.

- Класть сала? - спросил Степка, снимая ложкой пену.

- Зачем? Рыба свой сок пустит, - ответил Кирюха.

Перед тем, как снимать с огня котел, Степка всыпал в воду три пригоршни пшена и ложку соли; в заключение он попробовал, почмокал губами, облизал ложку и самодовольно крикнул - это значило, что каша уже готова.

Все, кроме Пантелея, сели вокруг котла и принялись работать ложками.

- Вы! Дайте парнишке ложку! - строго заметил Пантелей. - Чай, небось, тоже есть хочет!

- Наша еда мужицкая!.. - вздохнул Кирюха.

- И мужицкая пойдет во здравие, была бы охота.

Егорушке дали ложку. Он стал есть, но не садясь, а стоя у самого котла и глядя в него, как в яму. От каши пахло рыбной сыростью, то и дело среди пшена попадалась рыба чешуя; раков нельзя было зацепить ложкой, и обедавшие доставали их из котла прямо руками; особенно не стеснялся в этом отношении Вася, который мочил в каше не только руки, но и рукава. Но каша все-таки показалась Егорушке очень вкусной и напоминала ему раковый суп, который дома в постные дни варила его мамаша. Пантелей сидел в стороне и жевал хлеб.

- Дед, а ты чего не ешь? - спросил его Емельян.

- Не ем я раков... Ну их! - сказал старик и брезгливо отвернулся.

Пока ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга: все они были люди с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим; о своем прошлом они, все до одного, говорили с восторгом, к настоящему же относились почти с презрением. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить; Егорушка еще не знал этого, и, прежде чем каша была съедена, он уж глубоко верил, что вокруг котла сидят люди, оскорбленные и обиженные судьбой. Пантелей рассказывал, что в былое время, когда еще не было железных дорог, он ходил с обозами в Москву и в Нижний, зарабатывал так много, что некуда было девать денег. А какие в то время были купцы, какая рыба, как все было дешево! Теперь же дороги стали короче, купцы скуперее, народ беднее, хлеб дороже, все измельчало и сузилось до крайности. Емельян говорил, что прежде он служил в Луганском заводе в певчих, имел замечательный голос и отлично читал ноты, теперь же он обратился в мужика и кормится милостями брата, который посылает его со своими лошадьми и берет себе за это половину заработка. Вася когда-то служил на спичечной фабрике;

Кирюха жил в кучерах у хороших людей и на весь округ считался лучшим троечником. Дымов, сын зажиточного мужика, жил в свое удовольствие, гулял и не знал горя, но едва ему минуло двадцать лет, как строгий, крутой отец, желая приучить его к делу и боясь, чтобы он дома не избаловался, стал посылать его в извоз как бобыля-работника. Один Степка молчал, но и по его безусому лицу видно было, что прежде жилось ему гораздо лучше, чем теперь.

Вспомнив об отце, Дымов перестал есть и нахмурился. Он исподлобья оглядел товарищей и остановил свой взгляд на Егорушке.

- Ты, нехристь, сними шапку! - сказал он грубо.

- Нешто можно в шапке есть? А еще тоже барин!

Егорушка снял шляпу и не сказал ни слова, но уж не понимал вкуса каши и не слышал, как вступились за него Пантелей и Вася. В его груди тяжело заворочалась злоба против озорника, и он порешил во что бы то ни стало сделать ему какое-нибудь зло.

После обеда все поплелись к возам и повалились в тень.

- Дед, скоро мы поедem? - спросил Егорушка у Пантелея.

- Когда бог даст, тогда и поедem... Сейчас не поедешь, жарко... Ох, господи твоя воля, владычица... Ложись, парнишка!

Скоро из-под возов послышался храп. Егорушка хотел было опять пойти в деревню, но подумал, позевал и лег рядом со стариком.

## VI

### Обоз весь день простоял у реки и тронулся с места, когда садилось солнце.

Опять Егорушка лежал на тюке, воз тихо скрипел и покачивался, внизу шел Пантелей, притопывал ногами, хлопал себя по бедрам и бормотал; в воздухе по-вчерашнему стрекотала степная музыка.

Егорушка лежал на спине и, заложив руки под голову, глядел вверх на небо. Он видел, как зажглась вечерняя заря, как потом она угасала; ангелы-хранители, застилая горизонт своими золотыми крыльями, располагались на ночлег; день прошел благополучно, наступила тихая, благополучная ночь, и они могли спокойно сидеть у себя дома на небе... Видел Егорушка, как малопомалу темнело небо и опускалась на землю мгла, как засветились одна за другой звезды.

Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и все то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далеким и не имеющим цены. Звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетут душу своим молчанием; приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной...

Егорушка думал о бабушке, которая спит теперь на кладбище под вишневыми деревьями; он вспомнил, как она лежала в гробу с медными пятаками на глазах, как потом ее прикрыли крышкой и опустили в могилу; припомнился ему и глухой стук комков земли о крышку... Он представил себе бабушку в тесном и темном гробу, всеми оставленную и беспомощную. Его воображение рисовало, как бабушка вдруг просыпается и, не понимая, где она, стучит в крышку, зовет на помощь и, в конце концов, изнемоги от ужаса, опять умирает. Вообразил он мертвыми мамашу, о. Христофора, графиню Драницкую, Соломона. Но как он ни старался вообразить себя самого в темной могиле, вдали от дома, брошенным, беспомощным и мертвым, это не удавалось ему; лично для себя он не допускал возможности умереть и чувствовал, что никогда не умрет...

А Пантелей, которому пора уже было умирать, шел вниз и делал переключку своим мыслям.

- Ничего... хорошие господа... - бормотал он. - Повезли парнишку в ученье, а как он там, не слышать про то... В Славяносербском, говорю, нету такого заведения, чтоб до большого ума

доводить... Нету, это верно... А парнишка хороший, ничего... Вырастет, отцу будет помогать. Ты, Егорий, теперь махонький, а станешь большой, отца-мать кормить будешь. Так от бога положено... Чти отца твоего и мать твою... У меня у самого были детки, да погорели... И жена сгорела, и детки... Это верно, под Крещение ночью загорелась изба... Меня-то дома не было, я в Орел ездил. В Орел... Марья-то выскочила на улицу, да вспомнила, что дети в избе спят, побежала назад и сгорела с детками... Да... На другой день одни только косточки нашли.

Около полуночи подводчики и Егорушка опять сидели вокруг небольшого костра. Пока разгорался бурьян, Кирюха и Вася ходили за водой куда-то в балочку; они исчезли в потемках, но все время слышно было, как они звякали ведрами и разговаривали; значит, балочка была недалеко. Свет от костра лежал на земле большим мигающим пятном; хотя и светила луна, но за красным пятном все казалось непроницаемо черным. Подводчикам свет бил в глаза, и они видели только часть большой дороги; в темноте едва заметно в виде гор неопределенной формы обозначались возы с тюками и лошади. В двадцати шагах от костра, на границе дороги с полем стоял деревянный могильный крест, покосившийся в сторону. Егорушка, когда еще не горел костер и можно было видеть далеко, заметил, что точно такой же старый, покосившийся крест стоял на другой стороне большой дороги.

Вернувшись с водой, Кирюха и Вася налили полный котел и укрепили его на огне. Степка с зазубренной ложкой в руках занял свое место в дыму около котла и, задумчиво глядя на воду, стал дожидаться, пока покажется пена. Пантелей и Емельян сидели рядом, молчали и о чем-то думали. Дымов лежал на животе, подперев кулаками голову, и глядел на огонь; тень от Степки прыгала по нем, отчего красивое лицо его то покрывалось потемками, то вдруг вспыхивало... Кирюха и Вася бродили поодаль и собирали для костра бурьян и берест. Егорушка, заложив руки в карманы, стоял около Пантелея и смотрел, как огонь ел траву.

Все отдыхали, о чем-то думали, мельком поглядывали на крест, по которому прыгали красные пятна. В одинокой могиле есть что-то грустное, мечтательное и в высокой степени поэтическое... Слышно, как она молчит, и в этом молчании чувствуется присутствие души неизвестного человека, лежащего под крестом. Хорошо ли этой душе в степи? Не тоскует ли она в лунную ночь? А степь возле могилы кажется грустной, унылой и задумчивой, трава печальней и кажется, что кузнецы кричат сдержанней... И нет того прохожего, который не помянул бы одинокой души и не оглядывался бы на могилу до тех пор, пока она не останется далеко позади и не покроется мглою...

- Дед, зачем это крест стоит? - спросил Егорушка.

Пантелей поглядел на крест, потом на Дымова и спросил:

- Микола, это, бывает, не то место, где косари купцов убили?

Дымов нехотя приподнялся на локте, посмотрел на дорогу и ответил:

- Оно самое...

Наступило молчание. Кирюха затрещал сухой травой, смял ее в ком и сунул под котел. Огонь ярче вспыхнул; Степку обдало черным дымом, и в потемках по дороге около возов пробежала тень от креста.

- Да, убили... - сказал нехотя Дымов. - Купцы, отец с сыном, ехали образа продавать. Остановились тут недалеко в постоялом дворе, что теперь Игнат Фомин держит. Старик выпил лишнее и стал хвалиться, что у него с собой денег много. Купцы, известно, народ хвастливый, не дай Бог... Не утерпит, чтоб не показать себя перед нашим братом в лучшем виде. А в ту пору на постоялом дворе косари ночевали. Ну, услышали это они, как купец хвастает, и взяли себе во внимание.

- О, господи... владычица! - вздохнул Пантелей.

- На другой день чуть свет, - продолжал Дымов, - купцы собрались в дорогу, а косари с ними ввязались. "Пойдем, ваше степенство, вместе. Веселей, да и опаски меньше, потому здесь место глухое..." Купцы, чтоб образов не побить, шагом ехали, а косарям это на руку...

Дымов стал на колени и потянулся.

- Да, - продолжал он, зевая. - Все ничего было, а как только купцы доехали до этого места, косари и давай чистить их косами. Сын, молодец был, выхватил у одного косу и тоже давай чистить... Ну, конечно, те одолели, потому их человек восемь было. Изрезали купцов так, что живого места на теле не осталось; кончили свое дело и стащили с дороги обоих, отца на одну сторону, а сына на другую. Супротив этого креста на той стороне еще другой крест есть... Цел ли - не знаю... Отсюда не видать.

- Цел, - сказал Кирюха.

- Сказывают, денег потом нашли мало.

- Мало, - подтвердил Пантелей. - Рублей сто нашли.

- Да, а трое из них потом померли, потому купец их тоже больно косою порезал... Кровью сошли. Одному купец руку отхватил, так тот, сказывают, версты четыре без руки бежал и под самым Куриковым его на бугорочке нашли. Сидит на корточках, голову на колени положил, словно задумавшись, а поглядели - в нем души нет, помер...

- По кровавому следу его нашли... - сказал Пантелей.

Все посмотрели на крест, и опять наступила тишина. Откуда-то, вероятно из балочки, донесся грустный крик птицы: "Сплю! сплю! сплю!.."

- Злых людей много на свете, - сказал Емельян.

- Много, много! - подтвердил Пантелей и придвинулся поближе к огню с таким выражением, как будто ему становилось жутко. - Много, - продолжал он вполголоса. - Перевидал я их на своем веку видимо-невидимо... Злых-то людей... Святых и праведных видел много, а грешных и не перечить... Спаси и помилуй, Царица Небесная... Помню раз, годов тридцать назад, а может и больше, вез я купца из Моршанска. Купец был славный, видный из себя и при деньгах... купец-то... Хороший человек, ничего... Вот, стало быть, ехали мы и остановились ночевать в постоялом дворе. А в России постоялые дворы не то, что в здешнем краю. Там дворы крытые на манер базов, или, скажем, как клуни в хороших экономиях. Только клуни повыше будут. Ну, остановились мы и ничего себе. Купец мой в комнатке, я при лошадях, и все как следует быть. Так вот, братцы, помолился я Богу, чтоб, значит, спать, и пошел походить по двору. А ночь была темная, зги не видать, хоть не гляди вовсе. Прошелся я этак немножко, вот как до возов примерно, и вижу - огонь брезжится. Что за притча? Кажись, и хозяева давно спать положились, и акромя меня с купцом других постояльцев не было... Откуда огню быть? Взяло меня сомнение... Подошел я поближе... к огню-то... Господи, помилуй и спаси, Царица Небесная! Смотрю, а у самой земли окошечко с решеткой... в доме-то... Лег я на землю и поглядел: как поглядел, так по всему моему телу и пошел мороз...

Кирюха, стараясь не шуметь, сунул в костер пук бурьяна. Дождавшись, когда бурьян перестал трещать и шипеть, старик продолжал.

- Поглядел я туда, а там подвал, большой такой, темный да сумный... На бочке фонарик горит. Посреди подвала стоят человек десять народу в красных рубахах, засучили рукава и длинные ножики точат... Эге! Ну, значит, мы в шайку попали, к разбойникам.. Что тут делать? Побег я к

купцу, разбудил его потихоньку и говорю: "Ты, говорю, купец, не пужайся, а дело наше плохо... Мы, говорю, в разбойничье гнездо попали". Он сменился с лица и спрашивает: "Что ж мы теперь, Пантелей, делать станем? При мне денег сиротских много... Насчет души, говорит, моей волен господь Бог, не боюсь помереть, а, говорит, страшно сиротские деньги загубить..." Что тут прикажешь делать? Ворота запертые, некуда ни выехать, ни выйти... Будь забор, через забор перелезть можно, а то двор крытый!..

"Ну, говорю, купец, ты не пужайся, а молись богу.

Может, Господь не захочет сирот обижать. Оставайся, говорю, и виду не подавай, а я тем временем, может, и придумаю что..."Ладно... Помолился я Богу, и наставил меня Бог на ум... Влез я на свой тарантас и тихонько... тихонько, чтоб никто не слышал, стал обдирать солому в стрехе, проделал дырку и вылез наружу. Наружу-то... Потом прыгнул я с крыши и побег по дороге, что есть духу. Бежал я, бежал, замучился до смерти... Может, верст пять пробежал одним духом, а то и больше.. Благодарить Бога, вижу - стоит деревня. Подбежал я к избе, стал стучать в окно. "Православные, говорю, так и так, мол, не дайте христианскую душу загубить..." Побудил всех... Собрались мужики и пошли со мной... Кто с веревкой, кто с дубьем, кто с вилами... Сломали мы это в постоялом дворе ворота и сейчас в подвал... А разбойники ножики-то уж поточили и собрались купца резать. Забрали их мужики всех, как есть, перевязали и повели к начальству. Купец им на радостях три сотенных пожертвовал, а мне пять лобанчиков дал и имя мое в поминанье к себе записал. Сказывают, потом в подвале костей человеческих нашли видимо-невидимо. Костей-то... Они, значит, грабили народ, а потом зарывали, чтоб следов не было... Ну, потом их в Моршанске через палачей наказывали.

Пантелей кончил рассказ и оглядел своих слушателей. Те молчали и смотрели на него. Вода уже кипела, и Степка снимал пену.

- Сало-то готово? - спросил его шепотом Кирюха.

- Погоди маленько... Сейчас.

Степка, не отрывая глаз от Пантелея и как бы боясь, чтобы тот не начал без него рассказывать, побежал к возам; скоро он вернулся с небольшой деревянной чашкой и стал растирать в ней свиное сало.

- Ехал я в другой раз тоже с купцом... - продолжал Пантелей по-прежнему вполголоса и не мигая глазами. - Звали его, как теперь помню, Петр Григорьич. Хороший был человек... купец-то... Остановились мы таким же манером на постоялом дворе... Он в комнатке, я при лошадях... Хозяева, муж и жена, народ как будто хороший, ласковый, работники тоже словно бы ничего, а только, братцы, не могу спать, чуёт мое сердце! Чуёт, да и шабаш. И ворота отпертые, и народу кругом много, а все как будто страшно, не по себе. Все давно позаснули, уж совсем ночь, скоро вставать надо, а я один только лежу у себя в кибитке и глаз не смыкаю, словно сыч какой. Только, братцы, это самое, слышу: туп! туп! туп! Кто-то к кибитке крадется. Высовываю голову, гляжу - стоит баба в одной рубахе, босая... - "Что тебе, говорю, бабочка?" А она вся трясется, это самое, лица на ей нет... - "Вставай, говорит, добрый человек! Беда... Хозяева лихо задумали... Хотят твоего купца порешить. Сама, говорит, слыхала, как хозяин с хозяйкой шептались..." Ну, недаром сердце болело! - "Кто же ты сама?" - спрашиваю. - "А я, говорит, ихняя стряпуха..." Ладно... Вылез я из кибитки и пошел к купцу. Разбудил его и говорю:

"Так и так, говорю, Петр Григорьич, дело не совсем чисто... Успеешь, ваше степенство, выспаться, а теперь, пока есть время, одевайся, говорю, да подобру-здорову подальше от греха..." Только что он стал одеваться, как дверь отворилась, и здравствуйте... гляжу - мать царица! - входят к нам в комнатку хозяин с хозяйкой и три работника... Значит, и работников подговорили... Денег у

купца много, так вот, мол, поделим... У всех у пятерых в руках по ножичку длинному... По ножичку-то... Запер хозяин на замок двери и говорит: "Молитесь, проезжие, богу... А ежели, говорит, кричать станете, то и помолиться не дадим перед смертью..." Где уж тут кричать? У нас от страху и глотку завалило, не до крику тут... Купец заплакал и говорит:

"Православные! Вы, говорит, порешили меня убить, потому на мои деньги польстились. Так тому и быть, не я первый, не я последний; много уж нашего брата-купца на постоянных дворах перерезано. Но за что же, говорит, братцы православные, моего извозчика убивать? Какая ему надобность за мои деньги муки принимать?" И так это жалостно говорит! А хозяин ему: "Ежели, говорит, мы его в живых оставим, так он первый на нас доказчик. Все равно, говорит, что одного убить, что двух. Семь бед, один ответ... Молитесь богу, вот и все тут, а разговаривать нечего!" Стали мы с купцом рядышком на коленки, заплакали и давай бога молить. Он деток своих вспоминает, я в ту пору еще молодой был, жить хотел... Глядим на образа, молимся, да так жалостно, что и теперь слеза бьет... А хозяйка, баба-то, глядит на нас и говорит: "Вы же, говорит, добрые люди, не поминайте нас на том свете лихом и не молитесь бога на нашу голову, потому мы это от нужды". Молились мы, молились, плакали, плакали, а бог-то нас и услышал. Сжалился, значит... В самый раз, когда хозяин купца за бороду взял, чтоб, значит, ножиком его по шее полоснуть, вдруг кто-то как-ак стукнет со двора по окошку! Все мы так и присели, а у хозяина руки опустились... Постучал кто-то по окошку да как закричит: "Петр Григорьич, кричит, ты здесь? Собирайся, поедем!" Видят хозяева, что за купцом приехали, испужались и давай бог ноги... А мы скорей на двор, запрягли и - только нас и видели...

- Кто же это в окошко стучал? - спросил Дымов.

- В окошко-то? Должно, угодник божий или ангел. Потому акромья некому... Когда мы выехали со двора, на улице ни одного человека не было... Божье дело!

Пантелей рассказал еще кое-что, и во всех его рассказах одинаково играли роль "длинные ножички" и одинаково чувствовался вымысел. Слышал ли он эти рассказы от кого-нибудь другого, или сам сочинил их в далеком прошлом и потом, когда память ослабела, перемешал пережитое с вымыслом и перестал уметь отличать одно от другого? Все может быть, но странно одно, что теперь и во всю дорогу он, когда приходилось рассказывать, отдавал явное предпочтение вымыслам и никогда не говорил о том, что было пережито. Теперь Егорушка все принимал за чистую монету и верил каждому слову, впоследствии же ему казалось странным, что человек, изъездивший на своем веку всю Россию, видевший и знавший многое, человек, у которого сгорели жена и дети, обесценивал свою богатую жизнь до того, что всякий раз, сидя у костра, или молчал, или же говорил о том, чего не было.

За кашей все молчали и думали о только что слышанном. Жизнь страшна и чудесна, а потому какой страшный рассказ ни расскажи на Руси, как ни украшай его разбойничьими гнездами, длинными ножичками и чудесами, он всегда отзовется в душе слушателя бьелью, и разве только человек, сильно искусившийся на грамоте, недоверчиво покосится, да и то смолчит. Крест у дороги, темные тюки, простор и судьба людей, собравшихся у костра, - все это само по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью.

Все ели из котла, Пантелей же сидел в стороне особняком и ел кашу из деревянной чашечки. Ложка у него была не такая, как у всех, а кипарисовая и с крестиком. Егорушка, глядя на него, вспомнил о лампадном стаканчике и спросил тихо у Степки:

- Зачем это дед особо сидит?

- Он старой веры, - ответили шепотом Степка и Вася, и при этом они так глядели, как будто говорили о слабости или тайном пороке.

Все молчали и думали. После страшных рассказов не хотелось уж говорить о том, что обыкновенно. Вдруг среди тишины Вася выпрямился и, устремив свои тусклые глаза в одну точку, наострил уши.

- Что такое? - спросил его Дымов.

- Человек какой-то идет, - ответил Вася.

- Где ты его видишь?

- Во-он он! Чуть-чуть белеется...

Там, куда смотрел Вася, не было видно ничего, кроме потемок; все прислушались, но шагов не было слышно.

- По шляху он идет? - спросил Дымов.

- Не, полем... Сюда идет.

Прошла минута в молчании.

- А может, это по степи гуляет купец, что тут похоронен, - сказал Дымов.

Все покосились на крест, переглянулись и вдруг засмеялись; стало стыдно за свой страх.

- Зачем ему гулять? - сказал Пантелей. - Это только те по ночам ходят, кого земля не принимает. А купцы ничего... Купцы мученический венец приняли...

Но вот послышались шаги. Кто-то торопливо шел.

- Что-то несет, - сказал Вася.

Стало слышно, как под ногами шедшего шуршала трава и потрескивал бурьян, но за светом костра никого не было видно. Наконец раздалась шаги вблизи, кто-то кашлянул; мигавший свет точно расступился, с глаз спала завеса и подводчики вдруг увидели перед собой человека.

Огонь ли так мелькнул, или оттого, что всем хотелось разглядеть прежде всего лицо этого человека, но только странно так вышло, что все при первом взгляде на него увидели прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку. Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, как у разбуженного ребенка, одна из тех заразительных улыбок, на которые трудно не ответить тоже улыбкой. Незнакомец, когда его разглядели, оказался человеком лет тридцати, некрасивым собой и ничем не замечательным. Это был высокий хохол, длинноносый, длиннорукий и длинноногий; вообще все у него казалось длинным и только одна шея была так коротка, что делала его сутуловатым. Одет он был в чистую белую рубаху с шитым воротом, в белые шаровары и новые сапоги и в сравнении с подводчиками казался щеголем. В руках он держал что-то большое, белое и на первый взгляд странное, а из-за его плеча выглядывало дуло ружья, тоже длинное.

Попад из потемок в световой круг, он остановился, как вкопанный, и с полминуты глядел на подводчиков так, как будто хотел сказать:

"Поглядите, какая у меня улыбка!" Потом он шагнул к костру, улыбнулся еще светлее и сказал:

- Хлеб да соль, братцы!

- Милости просим! - отвечал за всех Пантелей.

Незнакомец положил около костра то, что держал в руках - это была убитая дрохва, - и еще раз поздоровался.

Все подошли к дрохве и стали осматривать ее.

- Важная птица! Чем это ты ее? - спросил Дымов.

- Картечью... Дробью не достанешь, не подпустит... Купите, братцы! Я б вам за двугривенный отдал.

- А на что она нам? Она жареная годится, а вареная, небось, жесткая не укусишь...

- Эх, досада! Ее бы к господам в экономию снести, те бы полтинник дали, да далече - пятнадцать верст!

Неизвестный сел, снял ружье и положил его возле себя. Он казался сонным, томным, улыбался, шурился от огня и, по-видимому, думал о чем-то очень приятном. Ему дали ложку. Он стал есть.

- Ты кто сам? - спросил его Дымов.

Незнакомец не слышал вопроса; он не ответил и даже не взглянул на Дымова. Вероятно, этот улыбающийся человек не чувствовал и вкуса каши, потому что жевал как-то машинально, лениво, поднося ко рту ложку то очень полную, то совсем пустую. Пьян он не был, но в голове его бродило что-то шальное.

- Я тебя спрашиваю: ты кто? - повторил Дымов.

- Я-то? - встрепенулся неизвестный. - Константин Звоник, из Ровного. Отсюда версты четыре.

И, желая на первых же порах показать, что он не такой мужик, как все, а получше, Константин поспешил добавить:

- Мы пасеку держим и свиной кормим.

- При отце живешь, али сам?

- Нет, теперь сам живу. Отделился. В этом месяце после Петрова дня оженился. Женатый теперь!.. Нынче восемнадцатый день, как обзаконился.

- Хорошее дело! - сказал Пантелей. - Жена ничего... Это бог благословил...

- Молодая баба дома спит, а он по степу шатается, - засмеялся Кирюха. Чудак!

Константин, точно его ущипнули за самое живое место, встрепенулся, засмеялся, вспыхнул...

- Да Господи, нету ее дома! - сказал он, быстро вынимая изо рта ложку и оглядывая всех радостно и удивленно. - Нету! Поехала к матери на два дня! Ей-богу, она поехала, а я как неженатый...

Константин махнул рукой и покрутил головою; он хотел продолжать думать, но радость, которою светилось лицо его, мешала ему. Он, точно ему неудобно было сидеть, принял другую позу, засмеялся и опять махнул рукой. Совестно было выдавать чужим людям свои приятные мысли, но в то же время неудержимо хотелось поделиться радостью.

- Поехала в Демидово к матери! - сказал он, краснея и переключивая на другое место ружье. - Завтра вернется... Сказала, что к обеду назад будет.

- А тебе скучно? - спросил Дымов.

- Да Господи, а то как же? Без году неделя, как оженился, а она уехала... А? У, да бедовая, накажи меня Бог! Там такая хорошая да славная, такая хохотунья да певунья, что просто чистый порох! При ней голова ходором ходит, а без нее вот словно потерял что, как дурак по степу хожу. С самого обеда хожу, хоть караул кричи.

Константин протер глаза, посмотрел на огонь и засмеялся.



- Любишь, значит... - сказал Пантелей.

- Там такая хорошая да славная, - повторил Константин, не слушая, такая хозяйка, умная да разумная, что другой такой из простого звания во всей губернии не сыскать. Уехала... А ведь скучает, я зна-аю! Знаю, сороку! Сказала, что завтра к обеду вернется... А ведь какая история! - почти крикнул Константин, вдруг беря тоном выше и меняя позу, - теперь любит и скучает, а ведь не хотела за меня выходить!

- Да ты ешь! - сказал Кирюха.

- Не хотела за меня выходить! - продолжал Константин, не слушая. - Три года с ней бился! Увидал я ее на ярмарке в Калачике, полюбил до смерти, хоть на шибеницу полезай... Я в Ровном, она в Демидовом, друг от дружки за двадцать пять верст, и нет никакой моей возможности. Засылаю к ней сватов, а она: не хочу! Ах ты, сорока! Уж я ее и так, и этак, и сережки, и пряников, и меду полшуда - не хочу! Вот тут и поди. Оно, ежели рассудить, то какая я ей пара? Она молодая, красивая, с порохом, а я старый, скоро тридцать годов будет, да и красив очень: борода окладистая - гвоздем, лицо чистое - все в шишках. Где ж мне с ней равняться! Разве вот только что богато живем, да ведь и они, Вахраменки, хорошо живут. Три пары волов и двух работников держат. Полюбил, братцы, и очумел... Не сплю, не ем, в голове мысли и такой дурман, что не приведи господи! Хочется ее повидать, а она в Демидове... И что ж вы думаете? Накажи меня Бог, не брешу, раза три на неделе туда пешком ходил, чтоб на нее поглядеть. Дело бросил! Такое затмение нашло, что даже в работники в Демидове хотел наниматься, чтоб, значит, к ней поближе. Замучился! Мать знахарку звала, отец раз десять бить принимался. Ну, три года промаялся и уж так порешил: будь ты трижды анафема, пойду в город и в извозчики... Значит, не судьба! На Святой пошел я в Демидово в последний разочек на нее поглядеть...

Константин откинул назад голову и закатился таким мелким, веселым смехом, как будто только что очень хитро надул кого-то.

- Гляжу, она с парубками около речки, - продолжал он. - Взяло меня зло... Отозвал я ее в сторонку и, может, с целый час ей разные слова... Полюбила! Три года не любила, а за слова полюбила!

- А какие слова? - спросил Дымов.

- Слова? И не помню... Нешто вспомнишь?

Тогда, как вода из жолоба, без передышки:

та-та-та-та! А теперь ни одного такого слова не выговорю... Ну, и пошла за меня... Поехала теперь, сорока, к матери, а я вот без нее по степу. Не могу дома сидеть. Нет моей мочи!

Константин неуклюже высвободил из-под себя ноги, растянулся на земле и подпер голову кулаками, потом поднялся и опять сел. Все теперь отлично понимали, что это был влюбленный и счастливый человек, счастливый до тоски; его улыбка, глаза и каждое движение выражали томительное счастье. Он не находил себе места и не знал, какую принять позу и что делать, чтобы не изнемогать от избытка приятных мыслей. Излив перед чужими людьми свою душу, он, наконец, уселся покойно и, глядя на огонь, задумался.

При виде счастливого человека всем стало скучно и захотелось тоже счастья. Все задумались. Дымов поднялся, тихо прошелся около костра и, по походке, по движению его лопаток, видно было, что он томился и скучал. Он постоял, поглядел на Константина и сел.

А костер уже потухал. Свет уже не мелькал и красное пятно сузилось, потускнело... И чем скорее догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь. Теперь уж видно было дорогу во всю ее ширь, тюки, оглобли, жевавших лошадей; на той стороне неясно вырисовывался другой крест...

Дымов подпер щеку рукой и тихо запел какую-то жалостную песню. Константин сонно улынулся и подтянул ему тонким голосом. Попели они с полминуты и затихли... Емельян встрепенулся, задвигал локтями и зашевелил пальцами.

- Братцы, - сказал он умоляюще. - Давайте споем что-нибудь божественное!

Слезы выступили у него на глазах.

- Братцы! - повторил он, прижимая руку к сердцу. - Давайте споем что-нибудь божественное!

- Я не умею, - сказал Константин.

Все отказались; тогда Емельян запел сам. Он замахал обеими руками, закивал головой, открыл рот, но из горла его вырвалось одно только сиплое, беззвучное дыхание. Он пел руками, головой, глазами и даже шишкой, пел страстно и с болью, и чем сильнее напрягал грудь, чтобы вырвать из нее хоть одну ноту, тем беззвучнее становилось его дыхание...

Егорушкой тоже, как и всеми, овладела скука. Он пошел к своему возу, взобрался на тюк и лег. Глядел он на небо и думал о счастливом Константине и его жене. Зачем люди женятся? К чему на том свете женщины? Егорушка задавал себе неясные вопросы и думал, что мужчине, наверное, хорошо, если возле него постоянно живет ласковая, веселая и красивая женщина. Пришла ему почему-то на память графиня Драницкая, и он подумал, что с такой женщиной, вероятно, очень приятно жить; он, пожалуй, с удовольствием женился бы на ней, если бы это не было так совестно. Он вспомнил ее брови, зрачки, коляску, часы со всадником... Тихая, теплая ночь спускалась на него и шептала ему что-то на ухо, а ему казалось, что это та красивая женщина склоняется к нему, с улыбкой глядит на него и хочет поцеловать...

От костра осталось только два маленьких красных глаза, становившихся все меньше и меньше. Подводчики и Константин сидели около них, темные, неподвижные, и казалось, что их теперь было гораздо больше, чем раньше. Оба креста одинаково были видны, и далеко-далеко, где-то на большой дороге, светился красный огонек - тоже, вероятно, кто-нибудь варил кашу.

"Наша матушка Расия всему свету га-ла-ва!" - запел вдруг диким голосом Кирюха, поперхнулся и умолк. Степное эхо подхватило его голос, понесло, и, казалось, по степи на тяжелых колесах покатила сама глупость.

- Время ехать! - сказал Пантелей. - Вставай, ребята.

Пока запрягали, Константин ходил около подвод и восхищался своей женой.

- Прощайте, братцы! - крикнул он, когда обоз тронулся. - Спасибо вам за хлеб за соль! А я опять пойду на огонь. Нет моей мочи!

И он скоро исчез во мгле, и долго было слышно, как он шагал туда, где светился огонек, чтобы поведать чужим людям о своем счастье.

Когда на другой день проснулся Егорушка, было раннее утро; солнце еще не всходило. Обоз стоял. Какой-то человек в белой фуражке и в костюме из дешевой серой материи, сидя на казачьем жеребчике, у самого переднего воза, разговаривал о чем-то с Дымовым и Кирюхой. Впереди, версты за две от обоза, белели длинные, невысокие амбары и домики с черепичными крышами; около домиков не было видно ни дворов, ни деревьев.

- Дед, какая это деревня? - спросил Егорушка.

- Это, молодчик, армянские хутора, - отвечал Пантелей. - Тут армяшки живут. Народ ничего... армяшки-то.

Человек в сером кончил разговаривать с Дымовым и Кирюхой, осадил своего жеребчика и поглядел на хутора.

- Экие дела, подумаешь! - вздохнул Пантелей, тоже глядя на хутора и пожимаясь от утренней свежести. - Послал он человека на хутор за какой-то бумагой, а тот не едет... Степку послать бы!

- Дед, а кто это? - спросил Егорушка.

- Варламов.

Боже мой! Егорушка быстро вскочил, стал на колени и поглядел на белую фуражку. В малорослом сером человечке, обутом в большие сапоги, сидящем на некрасивой лошаденке и разговаривающем с мужиками в такое время, когда все порядочные люди спят, трудно было узнать таинственного, неуловимого Варламова, которого все ищут, который всегда "кружится" и имеет денег гораздо больше, чем графиня Драницкая.

- Ничего, хороший человек... - говорил Пантелей, глядя на хутора. - Дай Бог здоровья, славный господин... Варламов-то, Семен Александрыч... На таких людях, брат, земля держится. Это верно... Петухи еще не поют, а он уж на ногах... Другой бы спал или дома с гостями тары-бары-растабары, а он целый день по степу... Кружится... Этот уж не упустит дела... Не-ет! Это молодчина...

Варламов не отрывал глаз от хутора и о чем-то говорил; жеребчик нетерпеливо переминался с ноги на ногу.

- Семен Александрыч, - крикнул Пантелей, снимая шляпу, - дозволейте Степку послать! Емельян, крикни, чтоб Степку послать!

Но вот, наконец, от хутора отделился верховой. Сильно накренившись набок и помахивая выше головы нагайкой, точно джигитуя и желая удивить всех своей смелой ездой, он с быстротою птицы полетел к обозу.

- Это, должно, его объездчик, - сказал Пантелей. - У него их, объездчиков-то, человек, может, сто, а то и больше.

Поравнявшись с передним возом, верховой осадил лошадь и, снявши шапку, подал Варламову какую-то книжку. Варламов вынул из книжки несколько бумажек, прочел их и крикнул:

- А где же записка Иванчука?

Верховой взял назад книжку, оглядел бумажки и пожал плечами; он стал говорить о чем-то, вероятно, оправдываясь и просил позволения съездить еще раз на хутора. Жеребчик вдруг задвигался так, как будто Варламов стал тяжелее. Варламов тоже задвигался.

- Пошел вон! - крикнул он сердито и замахнулся на верхового нагайкой.

Потом он повернул лошадь назад и, рассматривая в книжке бумаги, поехал шагом вдоль обоза. Когда он подъезжал к заднему возу, Егорушка напряг свое зрение, чтобы лучше рассмотреть его. Варламов был уже стар. Лицо его с небольшой седой бородкой, простое, русское, загорелое лицо, было красно, мокро от росы и покрыто синими жилочками; оно выражало такую же деловую сухость, как лицо Ивана Иваныча, тот же деловой фанатизм. Но все-таки какая разница чувствовалась между ним и Иваном Иванычем! У дяди Кузьмичова рядом с деловой сухостью всегда были на лице забота и страх, что он не найдет Варламова, опоздает, пропустит хорошую цену; ничего подобного, свойственного людям маленьким и зависимым, не было заметно ни на лице, ни в фигуре Варламова. Этот человек сам создавал цены, никого не искал и ни от кого не зависел; как ни заурядна была его наружность, но во всем, даже в манере держать нагайку, чувствовалось сознание силы и привычной власти над степью.

Проезжая мимо Егорушки, он не взглянул на него; один только жеребчик удостоил Егорушку своим вниманием и поглядел на него большими, глупыми глазами, да и то равнодушно. Пантелей поклонился Варламову; тот заметил это и, не отрывая глаз от бумажек, сказал картавя:

- Здагствуй, стагик!

Беседа Варламова с верховым и взмах нагайкой, по-видимому, произвели на весь обоз удручающее впечатление. У всех были серьезные лица. Верховой, обескураженный гневом сильного человека, без шапки, опустив поводья, стоял у переднего воза, молчал и как будто не верил, что для него так худо начался день.

- Крутой старик... - бормотал Пантелей. - Беда, какой крутой! А ничего, хороший человек... Не обидит задаром... Ничего...

Осмотрев бумаги, Варламов сунул книжку в карман; жеребчик, точно поняв его мысли, не дожидаясь приказа, вздрогнул и понесся по большой дороге.

## VII

И в следующую затем ночь подводчики делали привал и варили кашу. На этот раз с самого начала во всем чувствовалась какая-то неопределенная тоска. Было душно; все много пили и никак не могли утолить жажду. Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная; звезды тоже хмурились, мгла была гуще, даль мутнее. Природа как будто что-то предчувствовала и томилась.

У костра уж не было вчерашнего оживления и разговоров. Все скучали и говорили вяло и нехотя. Пантелей только вздыхал, жаловался на ноги и то и дело заводил речь о наглой смерти.

Дымов лежал на животе, молчал и жевал соломинку; выражение лица у него было брезгливое, точно от соломинки дурно пахло, злое и утомленное... Вася жаловался, что у него ломит челюсть, и пророчил непогоду; Емельян не махал руками, а сидел неподвижно и угрюмо глядел на огонь. Томился и Егорушка. Езда шагом утомила его, а от дневного зноя у него болела голова.

Когда сварилась каша, Дымов от скуки стал придирается к товарищам.

- Расселся, шишка, и первый лезет с ложкой! - сказал он, глядя со злобой на Емельяна.

Жадность! Так и норовит первый за котел сесть. Певчим был, так уж он думает - барин! Много вас таких певчих по большому шляху милостыню просит!

- Да ты что пристал? - спросил Емельян, глядя на него тоже со злобой.

- А то, что не суйся первый к котлу. Не понимай о себе много!

- Дурак, вот и все, - просипел Емельян. Зная по опыту, чем чаще всего оканчиваются подобные разговоры, Пантелей и Вася вмешались и стали убеждать Дымова не браниться попусту.

- Певчий... - не унимался озорник, презрительно усмехаясь. - Этак всякий может петь. Сиди себе в церкви на паперти да и пой: "Подайте милостыньки Христа ради!" Эх, вы!

Емельян промолчал. На Дымова его молчание подействовало раздражающим образом. Он еще с большей ненавистью поглядел на бывшего певчего и сказал:

- Не хочется только связываться, а то б я б тебе показал, как об себе понимать!

- Да что ты ко мне пристал, мазепа? - вспыхнул Емельян. - Я тебя трогаю?

- Как ты меня обозвал? - спросил Дымов, выпрямляясь, и глаза его налились кровью. - Как? Я мазепа? Да? Так вот же тебе! Ступай ищи!

Дымов выхватил из рук Емельяна ложку и швырнул ее далеко в сторону. Кирюха, Вася и Степка вскочили и побежали искать ее, а Емельян умоляюще и вопросительно уставился на

Пантелея. Лицо его вдруг стало маленьким, поморщилось, заморгало, и бывший певчий заплакал, как ребенок.

Егорушка, давно уже ненавидевший Дымова, почувствовал, как в воздухе вдруг стало невыносимо душно, как огонь от костра горячо жег лицо; ему захотелось скорее бежать к обозу в потемки, но злые, скучающие глаза озорника тянули его к себе. Страстно желая сказать что-нибудь в высшей степени обидное, он шагнул к Дымову и проговорил, задыхаясь:

- Ты хуже всех! Я тебя терпеть не могу!

После этого надо было бы бежать к обозу, а он никак не мог сдвинуться с места и продолжал:

- На том свете ты будешь гореть в аду! Я Ивану

Иванычу пожалуюсь! Ты не смеешь обижать Емельяна!

- Тоже, скажи пожалуйста! - усмехнулся Дымов.

- Свинонок всякий, еще на губах молоко не обсохло, в указчики лезет. А ежели за ухо?

Егорушка почувствовал, что дышать уже нечем; он - никогда с ним этого не было раньше - вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно:

- Бейте его! Бейте его!

Слезы брызнули у него из глаз; ему стало стыдно, и он, пошатываясь, побежал к обозу. Какое впечатление произвел его крик, он не видел. Лежа на тюке и плача, он дергал руками и ногами, и шептал:

- Мама! Мама!

И эти люди, и тени вокруг костра, и темные тюки, и далекая молния, каждую минуту сверкавшая вдали, - все теперь представлялось ему нелюдимым и страшным. Он ужасался и в отчаянии спрашивал себя, как это и зачем попал он в неизвестную землю, в компанию страшных мужиков? Где теперь дядя, о. Христофор и Дениска? Отчего они так долго не едут? Не забыли ли они о нем? От мысли, что он забыт и брошен на произвол судьбы, ему становилось холодно и так жутко, что он несколько раз порывался прыгнуть с тюка и опроретью, без оглядки побежать назад по дороге, но воспоминание о темных, угрюмых крестах, которые непременно встретятся ему на пути, и сверкавшая вдали молния останавливали его... И только когда он шептал: "мама! мама!" ему становилось как будто легче...

Должно быть, и подводчикам было жутко. После того, как Егорушка убежал от костра, они сначала долго молчали, потом вполголоса и глухо заговорили о чем-то, что оно идет и что поскорее нужно собираться и уходить от него... Они скоро поужинали, потушили огонь и молча стали запрягать. По их суете и отрывистым фразам было заметно, что они предвидели какое-то несчастье.

Перед тем, как трогаться в путь, Дымов подошел к Пантелею и спросил тихо:

- Как его звать?

- Егорий... - ответил Пантелей.

Дымов стал одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой был перевязан тюк, и поднялся. Егорушка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, утомлено и серьезно, но уже не выражало злобы.

- іра! - сказал он тихо. - На, бей!

Егорушка с удивлением посмотрел на него; в это время сверкнула молния.

- Ничего, бей! - повторил Дымов.

И, не дожидаясь, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, он спрыгнул вниз и сказал:

- Скушно мне!

Потом, переваливаясь с ноги на ногу, двигая лопатками, он лениво поплелся вдоль обоза и не то плачущим, не то досадающим голосом повторил:

- Скушно мне! Господи! А ты не обижайся,

Емеля, - сказал он, проходя мимо Емельяна. - Жизнь наша пропащая, лютая!

Направо сверкнула молния и, точно отразившись в зеркале, она тотчас же сверкнула вдали.

- Егорий, возьми! - крикнул Пантелей, подавая снизу что-то большое и темное.

- Что это? - спросил Егорушка.

- Рогожка! Будет дождик, так вот покроешься.

Егорушка приподнялся и посмотрел вокруг себя. Даль заметно почернела и уж чаще, чем каждую минуту, мигала бледным светом, как веками. Чернота ее, точно от тяжести, склонялась вправо.

- Дед, гроза будет? - спросил Егорушка.

- Ах, ножки мои больные, стуженые! - говорил нараспев Пантелей, не слыша его и притопывая ногами.

Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная, фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо.

- А он обложной! - крикнул Кирюха.

Между далью и правым горизонтом мигнула молния и так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой; на ее краю висели большие, черные лохмотья; точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и на левом горизонте. Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и не глухо проворчал гром. Егорушка перекрестился и стал быстро надевать пальто.

- Скушно мне! - донесся с передних возов крик Дымова, и по голосу его можно было судить, что он уж опять начинал злиться. - Скушно!

Вдруг рванул ветер и с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожу; встрепенувшись, рогожа рванулась во все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травой такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес. Он дул с черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее, звезды еще больше нахмурились, и видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли и их тени. Теперь, по всей вероятности, вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и перья, поднимались под самое небо; вероятно, около самой черной тучи летали перекасти-поле, и как, должно быть, им было страшно! Но сквозь пыль, залепляющую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молний.

Егорушка, думая, что сию минуту польет дождь, стал на колени и укрылся рогожей.

- Пантелле-ей! - крикнул кто-то впереди. - А... а...ва!

- Не слыха-ать! - ответил громко и нараспев Пантелей.

- А...а...ва! Аря...а!

Загремел сердито гром, покотился по небу справа налево, потом назад и замер около передних подвод.

- Свят, свят, свят, господь Саваоф, - прошептал Егорушка, крестясь, исполнь небо и земля славы Твоя...

Чернота на небе раскрыла рот и дыхла белым огнем; тотчас же опять загремел гром; едва он умолк, как молния блеснула так широко, что Егорушка сквозь щели рогожи увидел вдруг всю большую дорогу до самой дали, всех подводчиков и даже Кирюхину жилетку. Черные лохмотья слева уже поднимались кверху и одно из них, грубое, неуклюжее, похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне. Егорушка решил закрыть крепко глаза, не обращать внимания и ждать, когда все кончится.

Дождь почему-то долго не начинался. Егорушка, в надежде, что туча, быть может, уходит мимо, выглянул из рогожи. Было страшно темно. Егорушка не увидел ни Пантелея, ни тюка, ни себя; покосился он туда, где была недавно луна, но там чернела такая же тьма, как и на возу. А молнии в потемках казались белее и ослепительнее, так что глазам было больно.

- Пантелей! - позвал Егорушка.

Ответа не последовало. Но вот, наконец, ветер в последний раз рванул рогожу и убежал куда-то. Послышался ровный, спокойный шум. Большая холодная капля упала на колено Егорушки, другая поползла по руке. Он заметил, что колени его не прикрыты, и хотел было поправить рогожу, но в это время что-то посыпалось и застучало по дороге, потом по оглоблям, по тюку. Это был дождь. Он и рогожа, как будто поняли друг друга, заговорили о чем-то быстро, весело и препротивно, как две сороки.

Егорушка стоял на коленях или, вернее, сидел на сапогах. Когда дождь застучал по рогоже, он подался туловищем вперед, чтобы заслонить собою колени, которые вдруг стали мокры; колени удалось прикрыть, но зато меньше чем через минуту резкая, неприятная сырость почувствовалась сзади, ниже спины и на икрах. Он принял прежнюю лозу, выставил колени под дождь и стал думать, что делать, как поправить в потемках невидимую рогожу. Но руки его были уже мокры, в рукава и за воротник текла вода, лопатки зябли. И он решил ничего не делать, а сидеть неподвижно и ждать, когда все кончится.

- Свят, свят, свят... - шептал он.

Вдруг над самой головой его с страшным, оглушительным треском разломалось небо; он нагнулся и притаил дыхание, ожидая, когда на его затылок и спину посыпятся обломки. Глаза его нечаянно открылись, и он увидел, как на его пальцах, мокрых рукавах и струйках, бежавших с рогожи, на тюке и внизу на земле вспыхнул и раз пять мигнул ослепительно едкий свет. Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. Небо уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие, трескучие, похожие на треск сухого дерева, звуки.

"Тррах! тах, тах! тах!" - явственно отчеканивал гром, катился по небу, спотыкался и где-нибудь у передних возов или далеко сзади сваливался со злобным, отрывистым - "трра!.."

Раньше молнии были только страшны, при таком же громе они представлялись зловещими. Их колдовской свет проникал сквозь закрытые веки и холодом разливался по всему телу. Что сделать, чтобы не видеть их? Егорушка решил обернуться лицом назад. Осторожно, как будто бы боясь, что за ним наблюдают, он стал на четвереньки и, скользя ладонями по мокрому тюку, повернулся назад.

"Трах! тах! тах!" - понеслось над его головой, упало под воз и разорвалось - "Ррра!"

Глаза опять нечаянно открылись, и Егорушка увидел новую опасность: за возом шли три громадных великана с длинными пиками. Молния блеснула на остриях их пик и очень явственно осветила их фигуры. То были люди громадных размеров, с закрытыми лицами, поникшими головами и с тяжелою поступью. Они казались печальными и унылыми, погруженными в раздумье. Быть может, шли они за обозом не для того, чтобы причинить вред, но все-таки в их близости было что-то ужасное.

Егорушка быстро обернулся вперед и, дрожа всем телом, закричал:

- Пантелей! Дед!

"Трах! тах! тах!" - ответило ему небо.

Он открыл глаза, чтобы поглядеть, тут ли подводчики. Молния сверкнула в двух местах и осветила дорогу до самой дали, весь обоз и всех подводчиков. По дороге текли ручейки и прыгали пузыри. Пантелей шагал около поза, его высокая шляпа и плечи были покрыты небольшой рогожей; фигура не выражала ни страха, ни беспокойства, как будто он оглох от грома и ослеп от молнии.

- Дед, великаны! - крикнул ему Егорушка, плача. Но дед не слышал. Далее шел Емельян. Этот был покрыт большой рогожей с головы до ног и имел теперь форму треугольника. Вася, ничем не покрытый, шагал так же деревянно, как всегда, высоко поднимая ноги и не сгибая колен. При блеске молнии казалось, что обоз не двигался и подводчики застыли, что у Васи онемела поднятая нога...

Егорушка еще позвал деда. Не добившись ответа, он сел неподвижно и уж не ждал, когда все кончится. Он был уверен, что сию минуту его убьет гром, что глаза нечаянно откроются и он увидит страшных великанов. И он уж не крестился, не звал деда, не думал о матери и только каченел от холода и уверенности, что гроза никогда не кончится.

Но вдруг слышались голоса.

- Егоргий, да ты спишь, что ли? - крикнул внизу Пантелей. - Слезай! Оглох, дурачок!..

- Вот так гроза! - сказал какой-то незнакомый бас и крикнул так, как будто выпил хороший стакан водки.

Егорушка открыл глаза. Внизу около воза стояли Пантелей, треугольник-Емельян и великаны. Последние были теперь много ниже ростом и, когда взгляделся в них Егорушка, оказались обыкновенными мужиками, державшими на плечах не пики, а железные вилы. В промежутке между Пантелеем и треугольником светилось окно невысокой избы. Значит, обоз стоял в деревне. Егорушка сбросил с себя рогожу, взял узелок и поспешил с воза. Теперь, когда вблизи говорили люди и светилось окно, ему уж не было страшно, хотя гром трещал по-прежнему и молния полосовала все небо.

- Гроза хорошая, ничего... - бормотал Пантелей.

- Слава Богу... Ножки маленько промякли от дождичка, оно и ничего... Слез, Егоргий? Ну, иди в избу... Ничего...

- Свят, свят, свят... - просипел Емельян. - Беспременно где-нибудь ударило... Вы тутошние? - спросил он великанов.

- Не, из Глинова... Мы глиновские. У господ Платеров работаем.

- Молотите, что ли?

- Разное. Покеда еще пшеницу убираем. А молонья-то, молонья! Давно такой грозы не было...



Егорушка вошел в избу. Его встретила тощая, горбатая старуха, с острым подбородком. Она держала в руках сальную свечку, щурилась и протяжно вздыхала.

- Грозу-то какую Бог послал! - говорила она. - А наши в степу ночуют, то-то натерпятя сердешные!

Раздевайся, батюшка, раздевайся...

Дрожа от холода и брезгливо пожимаясь, Егорушка стащил с себя промокшее пальто, потом широко расставил руки и ноги и долго не двигался. Каждое малейшее движение вызывало в нем неприятное ощущение мокроты и холода. Рукава и спина на рубаше были мокры, брюки прилипли к ногам, с головы текло...

- Что ж, хлопчик, раскорякой-то стоять? - сказала старуха. - Иди, садись!

Расставя широко ноги, Егорушка подошел к столу и сел на скамью около чьей-то головы. Голова задвигалась, пустила носом струю воздуха, пожевала и успокоилась. От головы вдоль скамьи тянулся бугор, покрытый овчинным тулупом. Это спала какая-то баба.

Старуха, вздыхая, вышла и скоро вернулась с арбузом и дыней.

- Кушай, батюшка! Больше угощать нечем... - сказала она, зевая, затем порылась в столе и достала оттуда длинный, острый ножик, очень похожий на те ножи, какими на постоянных дворах разбойники режут купцов. - Кушай, батюшка!

Егорушка, дрожа как в лихорадке, съел ломоть дыни с черным хлебом, потом ломоть арбуза, и от этого ему стало еще холодней.

- Наши в степу ночуют... - вздыхала старуха, пока он ел. - Страсти господни... Свечечку бы перед образом засветить, да не знаю, куда Степанида девала. Кушай, батюшка, кушай...

Старуха зевнула и, закинув назад правую руку, почесала ею левое плечо.

- Должно, часа два теперь, - сказала она. - Скоро и вставать пора. Наши-то в степу ночуют...

Небось, вымокли все...

- Бабушка, - сказал Егорушка, - я спать хочу.

- Ложись, батюшка, ложись... - вздохнула старуха, зевая. - Господи Иисусе Христе! Сама и сплю, и слышу, как будто кто стучит. Проснулась, гляжу, а это грозу бог послал... Свечечку бы засветить, да не нашла.

Разговаривая с собой, она сдернула со скамьи какое-то тряпье, вероятно, свою постель, сняла с гвоздя около печи два тулупа и стала постилать для Егорушки.

- Гроза-то не унимается, - бормотала она. - Как бы, неровен час, чего не спалило. Наши-то в степу ночуют... Ложись, батюшка, спи... Христос с тобой, внучек... Дыню-то я убирать не стану, может, вставши, покушаешь.

Вздохи и зеванье старухи, мерное дыхание спавшей бабы, сумерки избы и шум дождя за окном располагали ко сну. Егорушке было совестно раздеваться при старухе. Он снял только сапоги, лег и укрылся овчинным тулупом.

- Парнишка лег? - слышался через минуту шепот Пантелея.

- Лег! - ответила шепотом старуха. - Страсти-то, страсти господни! Гремит, гремит, и конца не слышать...

- Сейчас пройдет... - прошипел Пантелей, садясь. - Потихо стало... Ребята пошли по избам, а двое при лошадях остались... Ребята-то... Нельзя... Уведут лошадей... Вот посижу маленько и пойду на смену... Нельзя, уведут...

Пантелей и старуха сидели рядом у ног Егорушки и говорили шипящим шепотом, прерывая свою речь вздохами и зевками. А Егорушка никак не мог согреться. На нем лежал теплый, тяжелый тулуп, но все тело тряслось, руки и ноги сводило судорогами, внутренности дрожали... Он разделся под тулупом, но и это не помогло. Озноб становился все сильнее и сильнее.

Пантелей ушел на смену и потом опять вернулся, а Егорушка все еще не спал и дрожал всем телом. Что-то давило ему голову и грудь, угнетало его, и он не знал, что это: шепот ли стариков, или тяжелый запах овчины? От съеденных арбуза и дыни во рту был неприятный, металлический вкус. К тому же еще кусались блохи.

- Дед, мне холодно! - сказал он и не узнал своего голоса.

- Спи, внучек, спи... - вздохнула старуха.

Тит на тонких ножках подошел к постели и замахал руками, потом вырос до потолка и обратился в мельницу. О. Христофор, не такой, каким он сидел в бричке, а в полном облачении и с кропилом в руке, прошелся вокруг мельницы, покропил ее святой водой и она перестала махать. Егорушка, зная, что это бред, открыл глаза.

- Дед! - позвал он. - Дай воды!

Никто не отозвался. Егорушке стало невыносимо душно и неудобно лежать. Он встал, оделся и вышел из избы. Уже наступило утро. Небо было пасмурно, но дождя уже не было. Дрожа и кутаясь в мокрое пальто. Егорушка прошелся по грязному двору, прислушался к тишине; на глаза ему попался маленький хлевок с камышовой, наполовину открытой дверкой. Он заглянул в этот хлевок, вошел в него и сел в темном углу на кизяк.

В его тяжелой голове путались мысли, во рту было сухо и противно от металлического вкуса. Он оглядел свою шляпу, поправил на ней павлинье перо и вспомнил, как ходил с мамашей покупать эту шляпу. Сунул он руку в карман и достал оттуда комок бурой, липкой замазки. Как эта замазка попала ему в карман? Он подумал, понюхал: пахнет медом. Ага, это еврейский пряник! Как он, бедный, размок!

Егорушка оглядел свое пальто. А пальто у него было серенькое, с большими костяными пуговицами, сшитое на манер сюртука. Как новая и дорогая вещь, дома висело оно не в передней, а в спальней, рядом с мамашиними платьями; надевать его позволялось только по праздникам. Поглядев на него, Егорушка почувствовал к нему жалость, вспомнил, что он и пальто - оба брошены на произвол судьбы, что им уж больше не вернуться домой, и зарыдал так, что едва не свалился с кизяка.

Большая белая собака, смоченная дождем, с клочьями шерсти на морде, похожими на папилютки, вошла в хлев и с любопытством уставилась на Егорушку. Она, по-видимому, думала: залаять или нет? Решив, что лаять не нужно, она осторожно подошла к Егорушке, съела замазку и вышла.

- Это варламовские! - крикнул кто-то на улице.

Наплакавшись, Егорушка вышел из хлева и, обходя лужу, поплелся на улицу. Как раз перед воротами на дороге стояли возы. Мокрые подводчики с грязными ногами, вялые и сонные, как осенние мухи, бродили возле или сидели на оглоблях. Егорушка поглядел на них и подумал:

"Как скучно и неудобно быть мужиком!" Он подошел к Пантелею и сел с ним рядом на оглоблю.

- Лед, мне холодно! - сказал он, дрожа и засовывая руки в рукава.

- Ничего, скоро до места доедем, - зевнул Пантелей. - Оно ничего, согреешься.

Обоз тронулся с места рано, потому что было не жарко. Егорушка лежал на тюке и дрожал от холода, хотя солнце скоро показалось на небе и высушило его одежду, тюк и землю. Едва он закрыл глаза, как опять увидел Тита и мельницу. Чувствуя тошноту и тяжесть во всем теле, он напрягал силы, чтобы отогнать от себя эти образы, но едва они исчезали, как на Егорушку с ревом бросался озорник Дымов с красными глазами и с поднятыми кулаками или же слышалось, как он тосковал: "Скушно мне!" Проезжал на казачьем жеребчике Варламов, проходил со своей улыбкой и с дрохвой счастливый Константин. И как все эти люди были тяжелы, несносны и надоедливы!

Раз - это было уже перед вечером - он поднял голову, чтобы попросить пить. Обоз стоял на большом мосту, тянувшемся через широкую реку. Внизу над рекой темнел дым, а сквозь него виден был пароход, тащивший на буксире баржу. Впереди за рекой пестрела громадная гора, усеянная домами и церквами; у подножия горы около товарных вагонов бегал локомотив...

Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов, ни локомотивов, ни широких рек. Взглянув теперь на них, он не испугался, не удивился: на лице его не выразилось даже ничего похожего на любопытство. Он только почувствовал дурноту и поспешил лечь грудью на край тюка. Его стошнило. Пантелей, видевший это, крикнул и покрутил головой.

- Захворал наш парнишка! - сказал он. - Должно, живот застудил... парнишка-то... На чужой стороне... Плохо дело!

## VIII

Обоз остановился недалеко от пристани в большом торговом подворье. Слезая с воза, Егорушка услышал чей-то очень знакомый голос.

Кто-то помогал ему слезать и говорил:

- А мы еще вчера вечером приехали... Целый день нынче вас ждали. Хотели вчерась нагнать вас, да не рука была, другой дорогой поехали. Эка, как ты свою пальтишку измял! Достанется тебе от дяденьки!

Егорушка взгляделся в мраморное лицо говорившего и вспомнил, что это Дениска.

- Дяденька и о. Христофор теперь в номере, - продолжал Дениска, - чай пьют. Пойдем!

И он повел Егорушку к большому двухэтажному корпусу, темному и хмурому, похожему на N-ское богоугодное заведение. Пройдя сени, темную лестницу и длинный, узкий коридор, Егорушка и Дениска вошли в маленький номерок, в котором, действительно, за чайным столом сидели Иван Иваныч и о. Христофор. Увидев мальчика, оба старика изобразили на лицах удивление и радость.

- А-а, Егор Никола-аич! - пропел о. Христофор.

- Господин Ломоносов!

- А, господа дворяне! - сказал Кузьмичов. - Милости просим.

Егорушка снял пальто, поцеловал руку дяде и о. Христофору и сел за стол.

- Ну, как доехал, рует bone? - засыпал его о. Христофор вопросами, наливая ему чаю и, по обыкновению, лучезарно улыбаясь. - Небось надоело? И не дай бог на обозе или на волах ехать! Едешь, едешь, прости господи, взглянешь вперед, а степь все такая ж протяженно-сложенная, как и

была: конца краю не видать! Не езда, а чистое поношение. Что ж ты чаю не пьешь? Пей! А мы без тебя тут, пока ты с обозом тащился, все дела под орех разделали. Слава богу! Продали шерсть Черепяхину и так, как дай бог всякому... Хорошо попользовались.

При первом взгляде на своих Егорушка почувствовал непреодолимую потребность жаловаться. Он не слушал о. Христофора и придумывал, с чего бы начать и на что особенно пожаловаться. Но голос о. Христофора, казавшийся неприятным и резким, мешал ему сосредоточиться и путал его мысли. Не посидев и пяти минут, он встал из-за стола, пошел к дивану и лег.

- Вот-те на! - удивился о. Христофор. - А как же чай?

Придумывая, на что бы такое пожаловаться, Егорушка припал лбом к стене дивана и вдруг зарыдал.

- Вот-те на! - повторил о. Христофор, поднимаясь и идя к дивану. Георгий, что с тобой? Что ты плачешь?

- Я... я болен! - проговорил Егорушка.

- Болен? - смутился о. Христофор. - Вот это уж и нехорошо, брат... Разве можно в дороге болеть? Ай, ай, какой ты, брат... а?

Он приложил руку к Егорушкиной голове, потрогал щеку и сказал:

- Да, голова горячая... Это ты, должно быть, простудился или чего-нибудь покушал... Ты бога призывай.

- Хинины ему дать... - сказал смущенно Иван Иваныч.

- Нет, ему бы чего-нибудь горяченького покушать... Георгий, хочешь супчику? А?

- Не... не хочу... - ответил Егорушка.

- Тебя знобит, что ли?

- Прежде знобило, а теперь... теперь жар. У меня все тело болит...

Иван Иваныч подошел к дивану, потрогал Егорушку за голову, смущенно крякнул и вернулся к столу.

- Вот что, ты раздевайся и ложись спать, - сказал о. Христофор, - тебе выспаться надо.

Он помог Егорушке раздеться, дал ему подушку и укрыл его одеялом, а поверх одеяла пальтом Ивана Иваныча, затем отошел на цыпочках и сел за стол. Егорушка закрыл глаза и ему тотчас же стало казаться, что он не в номере, а на большой дороге около костра; Емельян махнул рукой, а Дымов с красными глазами лежал на животе и насмешливо глядел на Егорушку.

- Бейте его! Бейте его! - крикнул Егорушка.

- Бредит... - проговорил вполголоса о. Христофор.

-хлопоты! - вздохнул Иван Иваныч.

- Надо будет его маслом с уксусом смазать. Бог даст, к завтраму выздоровеет.

Чтобы отвязаться от тяжелых грез, Егорушка открыл глаза и стал смотреть на огонь. О. Христофор и Иван Иваныч уже напились чаю и о чем-то говорили шепотом. Первый счастливо улыбался и, по-видимому, никак не мог забыть о том, что взял хорошую пользу на шерсти; веселила его не столько сама польза, сколько мысль, что, приехав домой, он соберет всю свою большую семью, лукаво подмигнет и расхохочется; сначала он всех обманет и скажет, что продал шерсть

дешевле своей цены, потом же подаст зятю Михайле толстый бумажник и скажет: "На, получай! Вот как надо дела делать!" Кузьмичов же не казался довольным. Лицо его по-прежнему выражало деловую сухость и заботу.

- Эх, кабы знатье, что Черепяхин даст такую цену, - говорил он вполголоса, - то я б дома не продавал Макарову тех трехсот пудов! Такая досада! Но кто ж его знал, что тут цену подняли?

Человек в белой рубахе убрал самовар и зажег в углу перед образом лампадку. О. Христофор шепнул ему что-то на ухо; тот сделал таинственное лицо, как заговорщик - понимаю, мол, - вышел и, вернувшись немного погодя, поставил под диван посудину. Иван Иванович постлал себе на полу, несколько раз зевнул, лениво помолился и лег.

- А завтра я в собор думаю... - сказал о. Христофор. - Там у меня ключарь знакомый. К преосвященному бы надо после обедни, да говорят, болен.

Он зевнул и потушил лампу. Теперь уж светила одна только лампадка.

- Говорят, не принимает, - продолжал о.

Христофор, разоблачаясь. - Так и уеду, не повидавшись.

Он снял кафтан, и Егорушка увидел перед собой Робинзона Крузе. Робинзон что-то размешал в блюдечке, подошел к Егорушке и зашептал:

- Ломоносов, ты спишь? Встань-ка! Я тебя маслом с уксусом смажу. Оно хорошо, ты только Бога призывай.

Егорушка быстро поднялся и сел. О. Христофор снял с него сорочку и, пожимаясь, прерывисто дыша, как будто ему самому было щекотно, стал растирать Егорушке грудь.

- Во имя Отца и Сына и Святаго Духа... - шептал он, - Ложись спиной кверху!.. Вот так. Завтра здоров будешь, только вперед не согрешай... Как огонь, горячий! Небось в грозу в дороге были?

- В дороге.

- Еще бы не захворать! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа... Еще бы не захворать!

Смазавши Егорушку, о. Христофор надел на него сорочку, укрыл, перекрестил и отошел. Потом Егорушка видел, как он молился Богу. Вероятно, старик знал наизусть очень много молитв, потому что долго стоял перед образом и шептал. Помолвившись, он перекрестил окна, дверь, Егорушку, Ивана Ивановича, лег без подушки на диванчик и укрылся своим кафтаном. В коридоре часы пробили десять. Егорушка вспомнил, что еще много времени осталось до утра, в тоске припал лбом к спинке дивана и уж не старался отделаться от туманных угнетающих грез. Но утро наступило гораздо раньше, чем он думал.

Ему казалось, что он недолго лежал, припавши лбом к спинке дивана, но когда он открыл глаза, из обоих окон номерка уже тянулись к полу косые солнечные лучи. О. Христофора и Ивана Ивановича не было. В номерке было прибрано, светло, уютно и пахло о. Христофором, который всегда издавал запах кипариса и сухих васильков (дома он делал из васильков кропила и украшения для киотов, отчего и пропах ими насквозь). Егорушка поглядел на подушку, на косые лучи, на свои сапоги, которые теперь были вычищены и стояли рядышком около дивана, и засмеялся. Ему казалось странным, что он не на тюке, что кругом все сухо и на потолке нет молний и грома.

Он прыгнул с дивана и стал одеваться. Самочувствие у него было прекрасное; от вчерашней болезни осталась одна только небольшая слабость в ногах и в шее. Значит, масло и уксус помогли. Он вспомнил пароход, локомотив и широкую реку, которые смутно видел вчера, и теперь спешил поскорее одеться, чтобы побежать на пристань и поглядеть на них. Когда он, умывшись, надевал

кумачовую рубаху, вдруг шелкнул в дверях замок и на пороге показался о. Христофор в своем цилиндре, с посохом и в шелковой коричневой рясе поверх парусинкового кафтана. Улыбаясь и сияя (старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние), он положил на стол просфору и какой-то сверток, помолился и сказал:

- Бог милости прислал! Ну, как здоровье?

- Теперь хорошо, - ответил Егорушка, целуя ему руку.

- Слава Богу... А я из обедни... Ходил с знакомым ключарем повидаться. Звал он меня к себе чай пить, да я не пошел. Не люблю по гостям ходить спозаранку. Бог с ними!

Он снял рясу, погладил себя по груди и не спеша развернул сверток. Егорушка увидел жестяночку с зернистой икрой, кусочек балыка и французский хлеб.

- Вот, шел мимо живорыбной лавки и купил, - сказал о. Христофор. - В будень не из чего бы роскошествовать, да, подумал, дома болящий, так оно как будто и простительно. А икра хорошая, осетровая...

Человек в белой рубахе принес самовар и поднос с посудой.

- Кушай, - сказал о. Христофор, намазывая икру на ломтик хлеба и подавая Егорушке. - Теперь кушай и гуляй, а настанет время, учиться будешь. Смотри же, учись со вниманием и прилежанием, чтобы толк был. Что наизусть надо, то учи наизусть, а где нужно рассказать своими словами внутренний смысл, не касаясь наружного, там своими словами. И старайся так, чтоб все науки выучить. Иной математику знает отлично, а про Петра Могилу не слыхал, а иной про Петра Могилу знает, а не может про луну объяснить. Нет, ты так учись, чтобы все понимать! Выучись по-латынски, по-французски, по-немецки... географию, конечно, историю, богословие, философию, математику... А когда всему выучишься, не спеша, да с молитвою, да с усердием, тогда и поступай на службу. Когда все будешь знать, тебе на всякой стезе легко будет. Ты только учись да благодати набирайся, а уж Бог укажет, кем тебе быть. Доктором ли, судьей ли, инженером ли...

О. Христофор намазал на маленький кусочек хлеба немножко икры, положил его в рот и сказал:

- Апостол Павел говорит: на учения странна и различна не прилагайтесь. Конечно, если чернокнижие, буюсловие, или духов с того света вызывать, как Саул, или такие науки учить, что от них пользы ни себе, ни людям, то лучше не учиться. Надо воспринимать только то, что Бог благословил. Ты соображайся... Святые апостолы говорили на всех языках - и ты учи языки; Василий Великий учил математику и философию - и ты учи; святой Нестор писал историю - и ты учи и пиши историю. Со святыми соображайся...

О. Христофор отхлебнул из блюдечка, вытер усы и покрутил головой.

- Хорошо! - сказал он. - Я по-старинному обучен, многое уж забыл, да и то живу иначе, чем прочие. И сравнивать даже нельзя. Например, где-нибудь в большом обществе, за обедом ли, или в собрании скажешь что-нибудь по-латынски, или из истории, или философии, а людям и приятно, да и мне самому приятно... Или вот тоже, когда приезжает окружной суд и нужно приводить к присяге; все прочие священники стесняются, а я с судьями, с прокурорами да с адвокатами запанибрата: по-ученому поговорю, чайку с ними попью, посмеюсь, расспрошу, чего не знаю... И им приятно. Так-то вот, брат... Ученье свет, а неученье тьма. Учись! Оно, конечно, тяжело: в теперешнее время ученье дорого обходится... Маменька твоя вдовица, пенсией живет, ну да ведь...

О. Христофор испуганно поглядел на дверь и продолжал шепотом:

- Иван Иванович будет помогать. Он тебя не оставит. Детей у него своих нету, и он тебе поможет. Не беспокойся.

Он сделал серьезное лицо и зашептал еще тише:

- Только ты смотри, Георгий, Боже тебя сохрани, не забывай матери и Ивана Ивановича. Почитать мать велит заповедь, а Иван Иванович тебе благодетель и вместо отца. Ежели ты выйдешь в ученые и, не дай Бог, станешь тяготиться и пренебрегать людьми по той причине, что они глупее тебя, то горе, горе тебе!

О. Христофор поднял вверх руку и повторил тонким голоском:

- Горе! Горе!

О. Христофор разговорился и, что называется, вошел во вкус; он не окончил бы до обеда, но отворилась дверь и вошел Иван Иванович. Дядя торопливо поздоровался, сел за стол и стал быстро глотать чай.

- Ну, со всеми делами справился, - сказал он. - Сегодня бы и домой ехать, да вот с Егором еще забота. Надо его пристроить. Сестра говорила, что тут где-то ее подружка живет, Настасья Петровна, так вот, может, она его к себе на квартиру возьмет.

Он порылся в своем бумажнике, достал оттуда измятое письмо и прочел:

- "Малая Нижняя улица, Настасье Петровне Тоскуновой, в собственном доме". Надо будет сейчас пойти поискать ее.хлопоты!

Вскоре после чаю Иван Иванович и Егорушка уж выходили из подворья.

- хлопоты! - бормотал дядя. - Привязался ты ко мне, как репейник, и ну тебя совсем к Богу! Вам ученье Да благородство, а мне одна мука с вами...

Когда они проходили двором, то возов и подводчиков уже не было, все они еще рано утром уехали на пристань. В дальнем углу двора темнела знакомая брочка; возле нее стояли гнедые и ели овес.

"Прощай, брочка!" - подумал Егорушка.

Сначала пришлось долго подниматься на гору по бульвару, потом идти через большую базарную площадь; тут Иван Иванович справился у городского, где Малая Нижняя улица.

- Эва! - усмехнулся городской. - Она далече, туда к выгону!

На пути попадались навстречу извозчицьи пролетки, но такую слабость, как езда на извозчиках, дядя позволял себе только в исключительных случаях и по большим праздникам. Он и Егорушка долго шли по мощеным улицам, потом шли по улицам, где были одни только тротуары, а мостовых не было, и в конце концов попали на такие улицы, где не было ни мостовых, ни тротуаров. Когда ноги и язык довели их до Малой Нижней улицы, оба они были красны и, сняв шляпы, вытирали пот.

- Скажите, пожалуйста, - обратился Иван Иванович к одному старичку, сидевшему у ворот на лавочке, - где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?

- Никакой тут Тоскуновой нет, - ответил старик, подумав. - Может, Тимошенко?

- Нет, Тоскунова...

- Извините, Тоскуновой нету...

Иван Иванович пожал плечами и поплелся дальше.

- Да не ищите! - крикнул ему сзади старик. - Говорю - нету, значит нету!

- Послушай, тетенька, - обратился Иван Иванович к старухе, продававшей на углу в лотке подсолнухи и груши, - где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?

Старуха поглядела на него с удивлением и засмеялась.

- Да нешто Настасья Петровна теперь в своем доме живет? - спросила она. - Господи, уж годов восемь, как она дочку выдала и дом свой зятю отказала! Там теперь зять живет.

А глаза ее говорили: "Как же вы, дураки, такого пустяка не знаете?"

- А где она теперь живет? - спросил Иван Иванович.

- Господи! - удивилась старуха, всплескивая руками. - Она уж давно на квартире живет! Уж годов восемь, как свой дом зятю отказала. Что вы!

Она, вероятно, ожидала, что Иван Иванович тоже удивится и воскликнет: "Да не может быть!!", но тот очень покойно спросил:

- Где ж ее квартира?

Торговка засучила рукава и, указывая голой рукой, стала кричать пронзительным тонким голосом:

- Идите все прямо, прямо, прямо... Вот как пройдете красненький домичек, там на левой руке будет переулочек. Так вы идите в этот переулочек и глядите третьи ворота справа...

Иван Иванович и Егорушка дошли до красного домика, повернули налево в переулок и направились к третьим воротам справа. По обе стороны этих серых, очень старых ворот тянулся серый забор с широкими щелями; правая часть забора сильно накренилась вперед и грозила падением, левая покосилась назад во двор, ворота же стояли прямо и, казалось, еще выбирали, куда им удобнее свалиться, вперед или назад. Иван Иванович отворил калитку и вместе с Егорушкой увидел большой двор, поросший бурьяном и репейником. В ста шагах от ворот стоял небольшой домик с красной крышей и с зелеными ставнями. Какая-то полная женщина, с засученными рукавами и с поднятым фартуком, стояла среди двора, сыпала что-то на землю и кричала так же пронзительно-тонко, как и торговка:

- Цып!.. цып! цып!

Сзади нее сидела рыжая собака с острыми ушами. Увидев гостей, она побежала к калитке и залаяла тенором (все рыжие собаки лают тенором).

- Кого вам? - крикнула женщина, заслоняя рукой глаза от солнца.

- Здравствуйте! - тоже крикнул ей Иван

Иваныч, отмахиваясь палкой от рыжей собаки. - Скажите, пожалуйста, здесь живет Настасья Петровна Тоскунова?

- Здесь! А на что вам?

Иван Иванович и Егорушка подошли к ней. Она подозрительно оглядела их и повторила:

- На что она вам?

- Да, может, вы сами Настасья Петровна?

- Ну, я!



- Очень приятно... Видите ли, кланялась вам ваша давнишняя подружка, Ольга Ивановна Князева. Вот это ее сынок. А я, может, помните, ее родной брат, Иван Иваныч... Вы ведь наша Н-ская... Вы у нас и родились, и замуж выходили...

Наступило молчание. Полная женщина уставилась бессмысленно на Ивана Иваныча, как бы не веря или не понимая, потом вся вспыхнула и всплеснула руками; из фартука ее посыпался овес, из глаз брызнули слезы.

- Ольга Ивановна! - взвизгнула она, тяжело дыша от волнения. Голубушка моя родная! Ах, батюшки, так что же я, как дура, стою? Ангельчик ты мой хорошенький...

Она обняла Егорушку, обмочила слезами его лицо и совсем заплакала.

- Господи! - сказала она, ломая руки. - Олечкин сыночек! Вот радость-то! Совсем мать!

Чистая мать! Да что ж вы на дворе стоите?

Пожалуйте в комнаты!

Плача, задыхаясь и говоря на ходу, она поспешила к дому; гости поплелись за ней.

- У меня не прибрано! - говорила она, вводя гостей в маленький душный зал, весь уставленный образами и цветочными горшками. - Ах, мать божия! Василиса, поди хоть ставни отвори! Ангельчик мой! Красота моя неописанная! Я и не знала, что у Олечки таком сыночек!

Когда она успокоилась и привыкла к гостям, Иван Иваныч пригласил ее поговорить наедине. Егорушка вышел в другую комнатку; тут стояла швейная машина, на окне висела клетка со скворцом и было так же много образов и цветов, как и в зале. Около машины неподвижно стояла какая-то девочка, загорелая, со щеками пухлыми, как у Тита, и в чистеньком ситцевом платице. Она, не мигая, глядела на Егорушку и, по-видимому, чувствовала себя очень неловко. Егорушка поглядел на нее, помолчал и спросил:

- Как тебя звать?

Девочка пошевелила губами, сделала плачущее лицо и тихо ответила:

- Атька...

Это значило: Катька.

- Он у вас будет жить, - шептал в зале Иван Иваныч, - ежели вы будете такие добрые, а мы вам будем по десяти рублей в месяц платить. Он у нас мальчик не балованный, тихий...

- Уж не знаю, как вам и сказать, Иван Иваныч! - плаксиво вздыхала Настасья Петровна. - Десять рублей деньги хорошие, да ведь чужого-то ребенка брать страшно! Вдруг заболит, или что...

Когда Егорушку опять позвали в зал, Иван Иваныч уже стоял со шляпой в руках и прощался.

- Что ж? Значит, пускай теперь и остается у вас, - говорил он. Прощайте! Оставайся, Егор! - сказал он, обращаясь к племяннику. - Не балуй тут, слушайся Настасью Петровну... Прощай! Я приду еще завтра.

И он ушел. Настасья Петровна еще раз обняла Егорушку, обозвала его ангельчиком и, заплаканная, стала собирать на стол. Через три минуты Егорушка уж сидел рядом с ней, отвечал на ее бесконечные расспросы и ел жирные горячие щи.

А вечером он сидел опять за тем же столом и, положив голову на руку, слушал Настасью Петровну. Она, то смеясь, то плача, рассказывала ему про молодость его матери, про свое замужество, про своих детей... В печке кричал сверчок и едва слышно гудела горелка в лампе. Хозяйка говорила вполголоса и то и дело от волнения роняла наперсток, а Катя, ее внучка, лазала за

ним под стол и каждый раз долго сидела под столом, вероятно, рассматривая Егорушкины ноги. А Егорушка слушал, дремал и рассматривал лицо старухи, ее бородавку с волосками, полоски от слез... И ему было грустно, очень грустно! Спать его положили на сундуке и предупредили, что если он ночью захочет покушать, то чтобы сам вышел в коридорчик и взял там на окне цыпленка, накрытого тарелкой.

На другой день утром приходили прощаться Иван Иванович и о. Христофор. Настасья Петровна обрадовалась и собралась было ставить самовар, но Иван Иванович, очень спешивший, махнул рукой и сказал:

- Некогда нам с чаями да с сахарами! Мы сейчас уйдем.

Перед прощаньем все сели и помолчали минуту. Настасья Петровна глубоко вздохнула и заплаканными глазами поглядела на образа.

- Ну, - начал Иван Иванович, поднимаясь, - значит, ты остаешься...

С лица его вдруг исчезла деловая сухость, он немножко покраснел, грустно улыбнулся и сказал:

- Смотри же, учись... Не забывай матери и слушайся Настасью Петровну... Если будешь, Егор, хорошо учиться, то я тебя не оставлю.

Он вынул из кармана кошелек, повернулся к Егорушке спиной, долго рылся в мелкой монете и, найдя гривенник, дал его Егорушке. О. Христофор вздохнул и, не спеша, благословил Егорушку.

- Во имя Отца и Сына и Святого Духа... Учись, - сказал он. - Трудись, брат... Ежели помру, поминай. Вот прими и от меня гривенничек...

Егорушка поцеловал ему руку и заплакал. Что-то в душе шепнуло ему, что уж он больше никогда не увидится с этим стариком.

- Я, Настасья Петровна, уж подал в гимназию прошение, - сказал Иван Иванович таким голосом, как будто в зале был покойник. - Седьмого августа вы его на экзамен сведете... Ну, прощайте! Оставайтесь с богом. Прощай, Егор!

- Да вы бы хоть чайку покушали! - простонала Настасья Петровна.

Сквозь слезы, застилавшие глаза, Егорушка не видел, как вышли дядя и о. Христофор. Он бросился к окну, но во дворе их уже не было, и от ворот с выражением исполненного долга бежала назад только что лаявшая рыжая собака. Егорушка, сам не зная зачем, рванулся с места и полетел из комнат. Когда он выбежал за ворота, Иван Иванович и о. Христофор, помахивая - первый палкой с крючком, второй посохом, поворачивали уже за угол. Егорушка почувствовал, что с этими людьми для него исчезло навсегда, как дым, все то, что до сих пор было пережито: он опустил в изнеможении на лавочку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую жизнь, которая теперь начиналась для него...

Какова-то будет эта жизнь?

## Княгиня

В большие, так называемые "Красные" ворота Н-ского мужского монастыря въехала коляска, заложённая в четверку сытых, красивых лошадей; иеромонахи и послушники, стоявшие толпой около дворянской половины гостиного корпуса, еще издали по кучеру и по лошадям узнали в даме, которая сидела в коляске, свою хорошую знакомую, княгиню Веру Гавриловну.

Старик в ливрее прыгнул с козел и помог княгине выйти из экипажа. Она подняла темную вуаль и не спеша подошла ко всем иеромонахам под благословение, потом ласково кивнула послушникам и направилась в покои.

- Что, соскучились без своей княгини? - говорила она монахам, вносящим ее вещи. - Я у вас целый месяц не была. Ну, вот приехала, глядите на свою княгиню. А где отец архимандрит? Боже мой, я сгораю от нетерпения! Чудный, чудный старик! Вы должны гордиться, что у вас такой архимандрит.

Когда вошел архимандрит, княгиня восторженно вскрикнула, скрестила на груди руки и подошла к нему под благословение.

- Нет, нет! Дайте мне поцеловать! - сказала она, хватая его за руку и жадно целуя ее три раза. - Как я рада, святой отец, что наконец вижу вас! Вы небось забыли свою княгиню, а я каждую минуту мысленно жила в вашем милом монастыре. Как у вас здесь хорошо! В этой жизни для Бога, вдали от суетного мира, есть какая-то особая прелесть, святой отец, которую я чувствую всей душой, но передать на словах не могу!

У княгини покраснели щеки и навернулись слезы. Говорила она без умолку, горячо, а архимандрит, старик лет семидесяти, серьезный, некрасивый и застенчивый, молчал, лишь изредка говорил отрывисто и по-военному:

- Так точно, ваше сиятельство... слушаю-с... понимаю-с...

- Надолго изволил пожаловать к нам? - спросил он.

- Сегодня я переночую у вас, а завтра поеду к Клавдии Николаевне давно уж мы с ней не видались, а послезавтра опять к вам и поживу дня три-четыре. Хочу у вас здесь отдохнуть душой, святой отец...

Княгиня любила бывать в N-ском монастыре. В последние два года она облюбовала это место и приезжала сюда почти каждый летний месяц и жила дня по два, по три, а иногда и по неделе. Робкие послушники, тишина, низкие потолки, запах кипариса, скромная закуска, дешевые занавески на окнах все это трогало ее, умиляло и располагало к созерцанию и хорошим мыслям. Достаточно ей было побыть в покоех полчаса, как ей начинало казаться, что она тоже робка и скромна, что и от нее пахнет кипарисом; прошлое уходило куда-то вдаль, теряло свою цену, и княгиня начинала думать, что, несмотря на свои двадцать девять лет, она очень похожа на старого архимандрита и так же, как он, рождена не для богатства, не для земного величия и любви, а для жизни тихой, скрытой от мира, сумеречной, как покой...

Бывает так, что в темную келию постника, погруженного в молитву, вдруг нечаянно заглянет луч или сядет у окна келии птичка и запоет свою песню; суровый постник невольно улыбается, и в его груди из-под тяжелой скорби о грехах, как из-под камня, вдруг польется ручьем тихая, безгрешная радость. Княгине казалось, что она приносила с собою извне точно такое же утешение, как луч или птичка. Ее приветливая, веселая улыбка, кроткий взгляд, голос, шутки, вообще вся она, маленькая, хорошо сложенная, одетая в простое черное платье, своим появлением должна была возбуждать в простых, суровых людях чувство умиления и радости. Каждый, глядя на нее, должен был думать: "Бог послал нам ангела..." И, чувствуя, что каждый невольно думает это, она улыбалась еще приветливее и старалась походить на птичку.

Напившись чаю и отдохнув, она вышла погулять. Солнце уже село. От монастырского цветника повеяло на княгиню душистой влагой только что политой резеды, из церкви донеслось тихое пение мужских голосов, которое издали казалось очень приятным и грустным. Шла всеношная. В темных окнах, где кротко мерцали лампадные огоньки, в тених, в фигуре старика

монаха, сидевшего на паперти около образа с кружкой, было написано столько безмятежного покоя, что княгине почему-то захотелось плакать...

А за воротами, на аллее между стеной и березами, где стоят скамьи, был уже совсем вечер. Воздух темнел быстро-быстро... Княгиня прошла по аллее, села на скамью и задумалась.

Она думала о том, что хорошо бы поселиться на всю жизнь в этом монастыре, где жизнь тиха и безмятежна, как в летний вечер; хорошо бы позабыть совсем о неблагоприятном, распутном князе, о своем громадном состоянии, о кредиторах, которые беспокоят ее каждый день, о своих несчастьях, о горничной Даше, у которой сегодня утром было дерзкое выражение лица. Хорошо бы всю жизнь сидеть здесь на скамье и сквозь стволы берез смотреть, как внизу под горой ключьями бродит вечерний туман, как далеко-далеко над лесом черным облаком, похожим на вуаль, летят на ночлег грачи, как два послушника - один верхом на пегой лошади, другой пешком гонят лошадей на ночное и, обрадовавшись свободе, шалят, как малые дети; их молодые голоса звонко раздаются в неподвижном воздухе, и можно разобрать каждое слово. Хорошо сидеть и прислушиваться к тишине: то ветер подует и тронет верхушки берез, то лягушка зашелестит в прошлогодней листве, то за стеною колокольные часы пробьют четверть... Сидеть бы неподвижно, слушать и думать, думать, думать...

Мимо прошла старуха с котомкой. Княгиня подумала, что хорошо бы остановить эту старуху и сказать ей что-нибудь ласковое, душевное, помочь ей... Но старуха ни разу не оглянулась и повернула за угол.

Немного погодя на аллее показался высокий мужчина с седой бородой и в соломенной шляпе. Поравнявшись с княгиней, он снял шляпу и поклонился, и по его большой лысине и острому, горбтому носу княгиня узнала в нем доктора Михаила Ивановича, который лет пять тому назад служил у нее в Дубовках. Она вспомнила, что кто-то ей говорил, что в прошлом году у этого доктора умерла жена, и ей захотелось посочувствовать ему, утешить.

- Доктор, вы, вероятно, меня не узнаете? - спросила она, приветливо улыбаясь.

- Нет, княгиня, узнал, - сказал доктор, снимая еще раз шляпу.

- Ну, спасибо, а то я думала, что вы забыли свою княгиню. Люди помнят своих врагов, а друзей забывают. И вы приехали помолиться?

- Я здесь каждую субботу ночую, по обязанности. Я тут лечу.

- Ну, как поживаете? - спросила княгиня, вздыхая. - Я слышала, у вас скончалась супруга! Какое несчастье!

- Да, княгиня, для меня это большое несчастье.

- Что делать! Мы должны с покорностью переносить несчастья. Без воли провидения ни один волос не падает с головы человека.

- Да, княгиня.

На приветливую, кроткую улыбку княгини и ее вздохи доктор отвечал холодно и сухо: "Да, княгиня". И выражение лица у него было холодное, сухое.

"Что бы еще такое сказать ему?" - подумала княгиня.

- Сколько времени мы с вами не виделись, однако! - сказала она. Пять лет! За это время сколько воды в море утекло, сколько произошло перемен, даже подумать страшно! Вы знаете, я замуж вышла... из графини стала княгиней. И уже успела разойтись с мужем.

- Да, я слышал.

- Много Бог послал мне испытаний! Вы, вероятно, тоже слышали, я почти разорена. За долги моего несчастного мужа продали у меня Дубовки, и Кирьяково, и Софьино. Остались у меня только Бараново да Михальцево. Страшно оглянуться назад: сколько перемен, несчастий разных, сколько ошибок!

- Да, княгиня, много ошибок!

Княгиня немного смутилась. Она знала свои ошибки; все они были до такой степени интимны, что только одна она могла думать и говорить о них. Она не удержалась и спросила:

- Вы про какие ошибки думаете?

- Вы упомянули о них, стало быть, знаете... - ответил доктор и усмехнулся. - Что ж о них говорить!

- Нет, скажите, доктор. Я буду вам очень благодарна! И, пожалуйста, не церемоньтесь со мной. Я люблю слушать правду.

- Я вам не судья, княгиня.

- Не судья? Каким вы тоном говорите, значит, знаете что-то. Скажите!

- Если желаете, то извольте. Только, к сожалению, я не умею говорить и меня не всегда можно понять.

Доктор подумал и начал:

- Ошибок много, но, собственно, главная из них, по моему мнению, это общий дух, которым... который царил во всех ваших имениях. Видите, я не умею выражаться. То есть главное - это нелюбовь, отвращение к людям, какое чувствовалось положительно во всем. На этом отвращении у вас была построена вся система жизни. Отвращение к человеческому голосу, к лицам, к затылкам, шагам... одним словом, ко всему, что составляет человека. У всех дверей и на лестницах стоят сытые, грубые и ленивые гайдуки в ливреях, чтоб не пускать в дом неприлично одетых людей; в передней стоят стулья с высокими спинками, чтоб во время балов и приемов лакеи не пачкали затылками обоев на стенах; во всех комнатах шершавые ковры, чтоб не было слышно человеческих шагов; каждого входящего обязательно предупреждают, чтобы он говорил потише и поменьше и чтоб не говорил того, что может дурно повлиять на воображение и нервы. А в вашем кабинете не подают человеку руки и не просят его садиться, точно так, как сейчас вы не подали мне руки и не пригласили сесть...

- Извольте, если хотите! - сказала княгиня, протягивая руку и улыбаясь. - Право, сердиться из-за такого пустяка...

- Да разве я сержусь? - засмеялся доктор, но тотчас же вспыхнул, снял шляпу и, размахивая ею, заговорил горячо: - Откровенно говоря, я давно уже ждал случая, чтоб сказать вам все, все... То есть я хочу сказать, что вы глядите на всех людей по-наполеоновски, как на мясо для пушек. Но у Наполеона была хоть какая-нибудь идея, а у вас, кроме отвращения, ничего!

- У меня отвращение к людям! - улыбнулась княгиня, пожимая в изумлении плечами. - У меня!

- Да, у вас! Вам нужно фактов? Извольте! В Михальцево у вас живут милостыней три бывших ваших повара, которые ослепли в ваших кухнях от печного жара. Все, что есть на десятках тысяч ваших десятин здорового, сильного и красивого, все взято вами и вашими прихлебателями в гайдуки, лакеи, в кучера. Все это двуногое живье воспиталось в лакействе, обжелось, огрубело, потеряло образ и подобие, одним словом... Молодых медиков, агрономов, учителей, вообще интеллигентных работников. Боже мой, отрывают от дела, от честного труда и заставляют из-за куска хлеба

участвовать в разных кукольных комедиях, от которых стыдно делается всякому порядочному человеку! Иной молодой человек не прослужит и трех лет, как становится лицемером, подлипалой, ябедником... Хорошо это? Ваши управляющие-поляки, эти подлые шпионы, все эти Казимиры да Каэтаны рыщут от утра до ночи по десяткам тысяч десятин и в угоду вам стараются содрать с одного вола три шкуры. Позвольте, я выражаюсь без системы, но это ничего! Простой народ у вас не считают людьми. Два и тех князей, графов и архиереев, которые приезжали к вам, вы признавали только как декорацию, а не как живых людей. Но главное... главное, что меня больше всего возмущает, - иметь больше миллиона состояния и ничего не сделать для людей, ничего!

Княгиня сидела удивленная, испуганная, обиженная, не зная, что сказать и как держать себя. Никогда раньше с нею не говорили таким тоном. Неприятный сердитый голос доктора и его неуклюжая, заикающаяся речь производили в ее ушах и голове резкий, стучащий шум, потом же ей стало казаться, что жестикулирующий доктор бьет ее своєю шляпой по голове.

- Неправда! - выговорила она тихо и умоляющим голосом, - Для людей я много хорошего сделала, это вы сами знаете!

- Да полноте! - крикнул доктор. - Неужели вы еще продолжаете считать вашу благотворительную деятельность чем-то серьезным и полезным, а не кукольной комедией? Ведь то была комедия от начала до конца, то была игра в любовь к ближнему, самая откровенная игра, которую понимали даже дети и глупые бабы! Взять хоть этот ваш - как его? - странно-приимный дом для безродных старух, в котором меня вы заставили быть чем-то вроде главного доктора, а сами были почетной опекуной. О Господи Боже наш, что за учреждение милое! Построили дом с паркетными полами и с флюгером на крыше, собрали в дереве с десяток старух и заставили их спать под байковыми одеялами, на простынях из голландского полотна и кушать леденцы.

Доктор злорадно прыснул в шляпу и продолжал быстро и заикаясь:

- Была игра! Низшие приютские чины прячут одеяла и простыни под замок, чтобы старухи не пачкали - пусть спят, чертовы перечницы, на полу! Старуха не смеет ни на кровать сесть, ни кофту надеть, ни по гладкому паркету пройти. Все сохранялось для парада и пряталось от старух, как от воров, а старухи потихоньку кормились и одевались Христа ради, и денно и ночью молили Бога, чтоб поскорее уйти из-под ареста и от душеспасительных назиданий сытых подлецов, которым вы поручили надзор за старухами. А высшие чины что делали? Это просто восхитительно! Этак раза два в неделю, вечером, скачут тридцать пять тысяч курьеров и объявляют, что завтра княгиня, то есть вы, будете в приюте. Это значит, что завтра нужно бросать больных, одеваться и ехать на парад. Хорошо, приезжаю. Старухи во всем чистом и новом уже выстроены в ряд и ждут. Около них ходит отставная гарнизонная крыса - смотритель со своей сладенькой, ябеднической улыбочкой. Старухи зевают и переглядываются, но роптать боятся. Ждем. Скачет младший управляющий. Через полчаса после него старший управляющий, потом главноуправляющий конторой экономии, потом еще кто-нибудь и еще кто-нибудь... скачут без конца! У всех таинственные, торжественные лица. Ждем, ждем, переминаемся с ноги на ногу, посматриваем на часы - все это в гробовом молчании, потому что все мы ненавидим друг друга и на ножах. Проходит час, другой, и вот наконец показывается вдали коляска, и... и...

Доктор залился тонким смехом и выговорил тоненьким голоском:

- Вы выходите из коляски, и старые ведьмы по команде гарнизонной красы начинают петь: "Коль славен наш Господь в Сионе, не может изъяснить язык..." Недурно?

Доктор захохотал басом и махнул рукой, как бы желая показать, что от смеха он не может выговорить ни одного слова. Смеялся он тяжело, резко, с крепко стиснутыми зубами, как смеются недобрые люди, и по его голосу, лицу и блестящим, немножко наглым глазам можно было понять,

что он глубоко презирал и княгиню, и приют, и старух. Во всем, что он так неумело и грубо рассказал, не было ничего смешного и веселого, но хохотал он с удовольствием и даже с радостью.

- А школа? - продолжал он, тяжело дыша от смеха. - Помните, как вы пожелали сами учить мужицких детей? Должно быть, очень хорошо учили, потому что скоро все мальчишки разбежались, так что потом пришлось пороть их и нанимать за деньги, чтоб они ходили к вам. А помните, как вы пожелали собственноручно кормить соской грудных младенцев, матери которых работают в поле? Вы ходили по деревне и плакали, что младенцев этих нет к вашим услугам - все матери брали их с собой в поле. Потом староста приказал матерям по очереди оставлять своих младенцев вам на потеху. Удивительное дело! Все бежали от ваших благодеяний, как мыши от кота! А почему это? Очень просто! Не оттого, что народ у нас невежественный и неблагодарный, как вы объясняли всегда, а оттого, что во всех ваших затеях, извините меня за выражение, не было ни на один грош любви и милосердия! Было одно только желание забавляться живыми куклами и ничего другого... Кто не умеет отличать людей от балонков, тот не должен заниматься благотворением. Уверю вас, между людьми и болонками - большая разница!

У княгини страшно билось сердце, в ушах у нее стучало, и все еще ей казалось, что доктор долбит ее своей шляпой по голове. Доктор говорил быстро, горячо и некрасиво, с заиканьем и с излишней жестикуляцией; для нее было только понятно, что с нею говорит грубый, невоспитанный, злой, неблагодарный человек, но чего он хочет от нее и о чем говорит - она не понимала.

- Уйдите! - сказала она плачущим голосом, поднимая вверх руки, чтобы заслонить свою голову от докторской шляпы. - Уйдите!

- А как вы обращаетесь со своими служащими! - продолжал возмущаться доктор. - Вы их за людей не считаете и третируете, как последних мошенников. Например, позвольте вас спросить, за что вы меня уволили? Служил десять лет вашему отцу, потом вам, честно, не зная ни праздников, ни отпусков, заслужил любовь всех на сто верст кругом, и вдруг в один прекрасный день мне объявляют, что я уже не служу! За что? До сих пор не понимаю! Я доктор медицины, дворянин, студент Московского университета, отец семейства, такая мелкая и ничтожная сошка, что меня можно выгнать в шею без объяснения причин! Зачем со мной церемониться? Я слышал потом, что жена, без моего ведома, таком ходила к вам раза три просить за меня и вы ее не приняли ни разу. Говорят, плакала в передней. И я этого никогда не прощу ей, покойнице! Никогда!

Доктор замолчал и стиснул зубы, напряженно придумывая, чтобы еще такое сказать очень неприятное, мстительное. Он что-то вспомнил, и нахмуренное, холодное лицо его вдруг просияло.

- Взять хотя бы ваши отношения к этому монастырю! - заговорил он с жадностью. - Вы никогда никого не щадили, и чем святее место, тем больше шансов, что ему достанется на орехи от вашего милосердия и ангельской кротости. Зачем вы ездите сюда? Что вам здесь у монахов нужно, позвольте вас спросить? Что вам Гекуба и что вы Гекубе? Опять-таки забава, игра, кошунство над человеческою личностью, и больше ничего. Ведь в монашеского Бога вы не веруете, у вас в сердце свой собственный бог, до которого вы дошли своим умом на спиритических сеансах: на обряды церковные вы смотрите снисходительно: к обедне и ко всенощной не ходите, спите до полудня... зачем же вы сюда ездите?.. В чужой монастырь вы ходите со своим богом и воображаете, что монастырь считает это за превеликую честь для себя! Как бы не так! Вы спросите-ка, между прочим, во что обходятся монахам ваши визиты? Вы изволили приехать сюда сегодня вечером, а третьего дня уж тут был верховой, посланный из экономии предупредить, что вы сюда собираетесь. Целый день вчера готовили для вас покои и ждали. Сегодня прибыл авангард - наглая горничная, которая то и дело бегает через двор, шуршит, пристаёт с вопросами, распоряжается... терпеть не могу! Сегодня монахи весь день были настороже: ведь если вас не встретит с церемонией - беда! Архиерею пожалуетесь! "Меня, ваше преосвященство, монахи не любят. Не знаю, чем я их прогневала. Правда,

я великая грешница, но ведь я так несчастна!" Уж одному монастырю была из-за вас нахлобучка. Архимандрит занятой, ученый человек, у него и минуты нет свободной, а вы то и дело требуете его к себе в покои. Никакого уважения ни к старости, ни к сану. Добро бы, жертвовали много, не так бы уж обидно было, а то ведь за все время монахи от вас и ста рублей не получили!

Когда княгиню беспокоили, не понимали, обижали и когда она не знала, что ей говорить и делать, то обыкновенно она начинала плакать. И теперь в конце концов она закрыла лицо и заплакала тонким, детским голоском. Доктор вдруг замолчал и посмотрел на нее. Лицо его потемнело и стало суровым.

- Простите меня, княгиня, - сказал он глухо. - Я поддался злomu чувству и забылся. Это нехорошо.

И, конфузливо кашлянув, забывая надеть шляпу, он быстро отошел от княгини.

На небе уже мерцали звезды. Должно быть, по ту сторону монастыря восходила луна, потому что небо было ясно, прозрачно и нежно. Вдоль белой монастырской стены бесшумно носились летучие мыши.

Часы медленно проббили три четверти какого-то часа, должно быть, девятого. Княгиня поднялась и тихо пошла к воротам. Она чувствовала себя обиженной и плакала, и ей казалось, что и деревья, и звезды, и летучие мыши жалеют ее; и часы проббили мелодично только для того, чтобы посочувствовать ей. Она плакала и думала о том, что хорошо бы ей на всю жизнь уйти в монастырь: в тихие летние вечера она гуляла бы одиноко по аллеям, обиженная, оскорбленная, не понятая людьми, и только бы один Бог да звездное небо видели слезы страдальцы. В церкви еще продолжалась всенощная. Княгиня остановилась и прислушалась к пению; как хорошо это пение звучало в неподвижном, темном воздухе! Как сладко под это пение плакать и страдать!

Придя в себе в покои, она поглядела в зеркало на свое заплаканное лицо и припудрилась, потом села ужинать. Монахи знали, что она любит маринованную стерлядь, мелкие грибки, малагу и простые медовые пряники, от которых во рту пахнет кипарисом, и каждый раз, когда она приезжала, подавали ей все это. Купая грибки и запивая их малагой, княгиня мечтала о том, как ее окончательно разорят и покинут, как все ее управляющие, приказчики, конторщики и горничные, для которых она так много сделала, изменят ей и начнут говорить грубости, как все люди, сколько их есть на земле, будут нападать на нее, злословить, смеяться; она откажется от своего княжеского титула, от роскоши и общества, уйдет в монастырь, и никому ни одного слова упрека; она будет молиться за врагов своих, и тогда все вокруг поймут ее, придут к ней просить прощения, но уж будет поздно...

А после ужина она опустилась в углу перед образом на колени и прочла две главы из Евангелия. Потом горничная постлала ей постель, и она легла спать. Потягиваясь под белым покрывалом, она сладко и глубоко вздохнула, как вздыхают после плача, закрыла глаза и стала засыпать...

Утром она проснулась и взглянула на свои часики: было половина десятого. На ковре около кровати тянулась узкая, яркая полоса света от луча, который шел из окна и чуть-чуть освещал комнату. За черной занавеской на окне шумели мухи.

"Рано!" - подумала княгиня и закрыла глаза.

Потягиваясь и нежась в постели, она вспомнила вчерашнюю встречу с доктором и все те мысли, с какими вчера она уснула; вспомнила, что она несчастна. Потом пришли на память ее муж, живущий в Петербурге, управляющие, доктора, соседи, знакомые чиновники... Длинный ряд знакомых мужских лиц пронесся в ее воображении. Она улыбнулась и подумала, что если бы эти люди сумели проникнуть в ее душу и понять ее, то все они были бы у ее ног...



В четверть двенадцатого она позвала горничную.

- Давайте, Даша, одеваться, - сказала она томно. - Впрочем, сначала подите скажите, чтобы запрягли лошадей. Надо к Клавдии Николаевне ехать.

Выйдя из покоев, чтобы садиться в экипаж, она зажмурилась от яркого дневного света и засмеялась от удовольствия: день был удивительно хорош! Оглядывая прищуренными глазами монахов, которые собрались у крыльца проводить ее, она приветливо закивала головой и сказала:

- Прощайте, мои друзья! До послезавтра.

Ее приятно удивило, что вместе с монахами у крыльца находился и доктор. Лицо его было бледно и сурово.

- Княгиня, - сказал он, снимая шляпу и виновато улыбаясь, - я уже давно жду вас тут. Простите, Бога ради... Нехорошее, мстительное чувство увлекло меня вчера, и я наговорил вам... глупостей. Одним словом, я прошу прощения..

Княгиня приветливо улыбнулась и протянула к его губам руку. Он поцеловал и покраснел.

Стараясь походить на птичку, княгиня порхнула в экипаж и закивала головой во все стороны. На душе у нее было весело, ясно и тепло, и сама она чувствовала, что ее улыбка необыкновенно ласкова и мягка. Когда экипаж покати к воротам, потом по пыльной дороге мимо изб и садов, мимо длинных чумацких обозов и богомольцев, шедших вереницами с монастырь, она все еще щурилась и мягко улыбалась. Она думала о том, что нет выше наслаждения, как всюду вносить с собою теплоту, свет и радость, прощать обиды и приветливо улыбаться врагам. Встречные мужики кланялись ей, коляска мягко шуршала, из-под колес валили облака пыли, уносимые ветром на золотистую рожь, и княгине казалось, что ее тело качается не на подушках коляски, а на облаках, и что сама она похожа на легкое, прозрачное облачко...

- Как я счастлива! - шептала она, закрывая глаза. - Как я счастлива!

## **Володя большой и Володя маленький**

— Пустите меня, я хочу сама править! Я сяду рядом с ямщиком! — говорила громко Софья Львовна. — Ямщик, погоди, я сяду с тобой на козлы.

Она стояла в санях, а ее муж Владимир Никитыч и друг детства Владимир Михайлыч держали ее за руки, чтобы она не упала. Тройка неслась быстро.

— Я говорил, не следовало давать ей коньяку, — шепнул с досадой Владимир Никитыч своему спутнику. — Экий ты, право!

Полковник знал по опыту, что у таких женщин, как его жена Софья Львовна, вслед за бурною, немножко пьяною веселостью обыкновенно наступает истерический смех и потом плач. Он боялся, что теперь, когда они приедут домой, ему, вместо того чтобы спать, придется возиться с компрессами и каплями.

— Тпрр! — кричала Софья Львовна. — Я хочу править!

Она была искренно весела и торжествовала. В последние два месяца, с самого дня свадьбы, ее томила мысль, что она вышла за полковника Ягича по расчету и, как говорится, par dépit; сегодня же в загородном ресторане она убедилась наконец, что любит его страстно. Несмотря на свои пятьдесят четыре года, он был так строен, ловок, гибок, так мило каламбурил и подпевал цыганкам. Право, теперь старики в тысячу раз интереснее молодых, и похоже на то, как будто старость и молодость поменялись своими ролями. Полковник старше ее отца на два года, но может ли это обстоятельство

иметь какое-нибудь значение, если, говоря по совести, жизненной силы, бодрости и свежести в нем неизмеримо больше, чем в ней самой, хотя ей только двадцать три года?

«О, мой милый! — думала она. — Чудный!»

В ресторане она также убедилась, что от прежнего чувства в ее душе не осталось даже искры. К другу детства Владимиру Михайлычу, или попросту Володе, которого она еще вчера любила до сумасбродства, до отчаяния, теперь она чувствовала себя совершенно равнодушной. Сегодня весь вечер он казался ей вялым, сонным, неинтересным, ничтожным, и его хладнокровие, с каким обыкновенно уклоняется от платежа по ресторанным счетам, на этот раз возмутило ее, и она едва удержалась, чтобы не сказать ему: «Если вы бедный, то сидите дома». Платил один только полковник.

Оттого, может быть, что в глазах у нее мелькали деревья, телеграфные столбы и сугробы, самые разнообразные мысли приходили ей в голову. Она думала: по счету в ресторане уплачено сто двадцать и цыганам — сто, и завтра она, если захочет, может бросить на ветер хоть тысячу рублей, а два месяца назад, до свадьбы, у нее не было и трех рублей собственных, и за каждым пустяком приходилось обращаться к отцу. Какая перемена в жизни!

Мысли у нее путались, и она вспоминала, как полковник Ягич, ее теперешний муж, когда ей было лет десять, ухаживал за тетей, и все в доме говорили, что он погубил ее, и в самом деле тетья часто выходила к обеду с заплаканными глазами и все куда-то уезжала, и говорили про нее, что она, бедняжка, не находит себе места. Он был тогда очень красив и имел необычайный успех у женщин, так что его знал весь город, и рассказывали про него, будто он каждый день ездил с визитами к своим поклонницам, как доктор к больным. И теперь, даже несмотря на седину, морщины и очки, иногда его худощавое лицо, особенно в профиль, кажется прекрасным.

Отец Софьи Львовны был военным доктором и служил когда-то в одном полку с Ягичем. Отец Володи тоже был военным доктором и тоже служил когда-то в одном полку с ее отцом и с Ягичем. Несмотря на любовные приключения, часто очень сложные и беспокойные, Володя учился прекрасно: он кончил курс в университете с большим успехом и теперь избрал своею специальностью иностранную литературу и, как говорят, пишет диссертацию. Живет в казармах, у своего отца, военного доктора, и не имеет собственных денег, хотя ему уже тридцать лет. В детстве Софья Львовна и он жили в разных квартирах, но под одною крышей, и он часто приходил к ней играть, и их вместе учили танцевать и говорить по-французски; но когда он вырос и сделался стройным, очень красивым юношей, она стала стыдиться его, потом полюбила безумно и любила до последнего времени, пока не вышла за Ягича. Он тоже имел необыкновенный успех у женщин, чуть ли не с четырнадцати лет, и дамы, которые для него изменяли своим мужьям, оправдывались тем, что Володя маленький. Про него недавно кто-то рассказывал, будто бы он, когда был студентом, жил в номерах, поближе к университету, и всякий раз, бывало, как постучишься к нему, то слышались за дверью его шаги и затем извинение вполголоса: «Pardon, je ne suis pas seul». Ягич приходил от него в восторг и благословлял его на дальнейшее, как Державин Пушкина, и, по-видимому, любил его. Оба они по целым часам молча играли на бильярде или в пикет, и если Ягич ехал куда-нибудь на тройке, то брал с собою и Володю, и в тайны своей диссертации Володя посвящал только одного Ягича. В первое время, когда полковник был помоложе, они часто попадали в положение соперников, но никогда не ревновали друг к другу. В обществе, где они бывали вместе, Ягича прозвали Володей большим, а его друга — Володей маленьким.

В санях, кроме Володи большого, Володи маленького и Софьи Львовны, находилась еще одна особа — Маргарита Александровна, или, как ее все звали, Рита, кузина госпожи Ягич, девушка уже за тридцать, очень бледная, с черными бровями, в rinse-nez, курившая папиросы без передышки, даже на сильном морозе; всегда у нее на груди и на коленях был пепел. Она говорила в нос,

растягивая каждое слово, была холодна, могла пить ликеры и коньяк сколько угодно и не пьянела и двусмысленные анекдоты рассказывала вяло, безвкусно. Дома она от утра до вечера читала толстые журналы, обсыпая их пеплом, или кушала мороженые яблоки.

— Соня, перестань беситься, — сказала она нараспев. — Право, глупо даже.

В виду заставы тройка понеслась тише, замелькали дома и люди, и Софья Львовна присмирела, прижалась к мужу и вся отдалась своим мыслям. Володя маленький сидел против. Теперь уже к веселым, легким мыслям стали примешиваться и мрачные. Она думала: этому человеку, который сидит против, было известно то что она его любила, и он, конечно, верил разговорам, что она вышла за полковника *par dépit*. Она еще ни разу не признавалась ему в любви и не хотела, чтобы он знал, и скрывала свое чувство, но по лицу его видно было, что он превосходно понимал ее — и самолюбие ее страдало. Но в ее положении унижительнее всего было то, что после свадьбы этот Володя маленький вдруг стал обращать на нее внимание, чего раньше никогда не бывало, просиживал с ней по целым часам молча или болтая о пустяках, и теперь в санях, не разговаривая с нею, он слегка наступал ей на ногу и пожимал руку; очевидно, ему того только и нужно было, чтобы она вышла замуж; и очевидно было, что он презирает ее и что она возбуждает в нем интерес лишь известного свойства, как дурная и непорядочная женщина. И когда в ее душе торжество и любовь к мужу мешались с чувством унижения и оскорбленной гордости, то ею овладевал задор и хотелось тогда сесть на козлы и кричать, подсвистывать...

Как раз в то самое время, как проезжали мимо женского монастыря, раздался удар большого тысячепудового колокола. Рита перекрестилась.

— В этом монастыре наша Оля, — сказала Софья Львовна и тоже перекрестилась и вздрогнула.

— Зачем она пошла в монастырь? — спросил полковник.

— *Par dépit*, — сердито ответила Рита, очевидно намекая на брак Софьи Львовны с Ягичем. — Теперь в моде этот *par dépit*. Вызов всему свету. Была хохотушка, отчаянная кокетка, любила только балы да кавалеров и вдруг — на-поди! Удивила!

— Это неправда, — сказал Володя маленький, опуская воротник шубы и показывая красивое лицо. — Тут не *par dépit*, а сплошной ужас, если хотите. Ее брата, Дмитрия, сослали в каторжные работы, и теперь неизвестно, где он. А мать умерла с горя.

Он опять поднял воротник.

— И хорошо сделала Оля, — добавил он глухо. — Жить на положении воспитанницы, да еще с таким золотом, как Софья Львовна, — тоже подумать надо!

Софья Львовна услышала в его голосе презрительный тон и хотела сказать ему дерзость, но промолчала. Ею опять овладел тот же задор; она поднялась на ноги и крикнула плачущим голосом:

— Я хочу к утрене! Ямщик, назад! Я хочу Олю видеть!

Повернули назад. Звон монастырского колокола был густой, и, как казалось Софье Львовне, что-то в нем напоминало об Оле и ее жизни. Зазвонили и в других церквях. Когда ямщик осадил тройку, Софья Львовна выскочила из саней и одна, без провожатого, быстро пошла к воротам.

— Скорей, пожалуйста! — крикнул ей муж. — Уже поздно!

Она прошла темными воротами, потом по аллее, которая вела от ворот к главной церкви, и снежок хрустел у нее под ногами, и звон раздавался уже над самою головой и, казалось, проникал во все ее существо. Вот церковная жизнь, три ступеньки вниз, затем притвор с изображениями святых по обе стороны, запах можжевельником и ладаном, опять дверь, и темная фигурка отворяет ее и

кланяется низко-низко... В церкви служба еще не начиналась. Одна монашенка ходила около иконостаса и зажигала свечи на ставниках, другая зажигала паникадило. Там и сям, ближе к колоннам и боковым приделам, стояли неподвижно черные фигуры. «Значит, как они стоят теперь, так уж не сойдут до самого утра», — подумала Софья Львовна, и ей показалось тут темно, холодно, скучно, — скучнее, чем на кладбище. Она с чувством скуки поглядела на неподвижные, застывшие фигуры, и вдруг сердце у нее сжалось. Почему-то в одной из монашенок, небольшого роста, с худенькими плечами и с черною косынкой на голове она узнала Олю, хотя Оля, когда уходила в монастырь, была полная и как будто повыше. Нерешительно, сильно волнуясь отчего-то, Софья Львовна подошла к послушнице и через плечо поглядела ей в лицо и узнала Олю.

— Оля! — сказала она и всплеснула руками, и уж не могла говорить от волнения. — Оля!

Монашенка тотчас же узнала ее, удивленно подняла брови, и ее бледное, недавно умытое, чисто лицо и даже, как показалось, ее белый платочек, который виден был из-под косынки, просияли от радости.

— Вот Господь чудо послал. — сказала она и тоже всплеснула своими худыми, бледными ручками.

Софья Львовна крепко обняла ее и поцеловала и боялась при этом, чтобы от нее не пахло вином.

— А мы сейчас ехали мимо и вспомнили про тебя, — говорила она, запыхавшись, как от быстрой ходьбы. — Какая ты бледная, Господи! Я... я очень рада тебя видеть. Ну, что? Как? Скучаешь?

Софья Львовна оглянулась на других монахинь и продолжала уже тихим голосом:

— У нас столько перемен... Ты знаешь, я замуж вышла за Ягича, Владимира Никитыча. Ты его помнишь, наверное... Я очень счастлива с ним.

— Ну, слава Богу. А папа твой здоров?

— Здоров. Часто про тебя вспоминает. Ты же, Оля, приходи к нам на праздниках. Слышишь?

— Приду. — сказала Оля и усмехнулась. — Я на второй день приду.

Софья Львовна, сама не зная отчего, заплакала и минутку плакала молча, потом вытерла глаза и сказала:

— Рита будет очень жалеть, что тебя не видела. Она тоже с нами. И Володя тут. Как бы они были рады, если бы ты повидалась с ними! Пойдем к ним, ведь служба еще не начиналась.

— Пойдем. — согласилась Оля.

Она перекрестилась три раза и вместе с Софьей Львовной пошла к выходу.

— Так ты говоришь, Сонечка, счастлива? — спросила она, когда вышли за ворота.

— Очень.

— Ну, слава Богу.

Володя большой и Володя маленький, увидев монашенку, вышли из саней и почтительно поздоровались; оба были заметно тронуты, что у нее бледное лицо и черное монашеское платье, и обоим было приятно, что она вспомнила про них и пришла поздороваться. Чтобы ей не было холодно, Софья Львовна укутала ее в плед и прикрыла одною полую своей шубы. Недавние слезы облегчили и прояснили ей душу, и она была рада, что эта шумная, беспокойная и, в сущности,

нечистая ночь неожиданно кончилась так чисто и кротко. И чтобы удержаться подольше около себя Олю, она предложила:

— Давайте ее прокатим! Оля, садись, мы немножко.

Мужчины ожидали, что монашенка откажется, — святые на тройках не ездят, — но, к их удивлению, она согласилась и села в сани. И когда тройка помчалась к заставе, все молчали и только старались, чтобы ей было удобно и тепло, и каждый думал о том, какая она была прежде и какая теперь. Лицо у нее теперь было бесстрастное, мало выразительное, холодное и бледное, прозрачное, будто в жилах ее текла вода, а не кровь. А года два-три назад она была полной, румяной, говорила о женихах, хохотала от малейшего пустяка...

Около заставы тройка повернула назад; когда она минут через десять остановилась около монастыря, Оля вышла из саней. На колокольне уже перезванивали.

— Спаси вас Господи, — сказала Оля и низко, по-монашески поклонилась.

— Так ты же приходи, Оля.

— Приду, приду.

Она быстро пошла и скоро исчезла в темных воротах. И после этого почему-то, когда тройка поехала дальше, стало грустно-грустно. Все молчали. Софья Львовна почувствовала во всем теле слабость и пала духом; то, что она заставила монашенку сесть в сани и прокатиться на тройке, в нетрезвой компании, казалось ей уже глупым, бестактным и похожим на кощунство; вместе с хмелем у нее прошло и желание обманывать себя, и для нее уже ясно было, что мужа своего она не любит и любить не может, что все вздор и глупость. Она вышла из расчета, потому что он, по выражению ее институтских подруг, безумно богат, и потому что ей страшно было оставаться в старых девах, как Рита, и потому что надоел отец-доктор и хотелось досадить Володе маленькому. Если бы она могла предположить, когда выходила, что это так тяжело, жутко и безобразно, то она ни за какие блага в свете не согласилась бы венчаться. Но теперь беды не поправишь. Надо мириться.

Приехали домой. Ложась в теплую мягкую постель и укрываясь одеялом, Софья Львовна вспомнила темный коридор, запах ладана и фигуры у колонн, и ей было жутко от мысли, что эти фигуры будут стоять неподвижно все время, пока она будет спать. Утренняя будет длинная-длинная, потом часы, потом обедня, молебен...

«Но ведь Бог есть, наверное есть, и я непременно должна умереть, значит, надо рано или поздно подумать о душе, о вечной жизни, как Оля. Оля теперь спасена, она решила для себя все вопросы... Но если Бога нет? Тогда пропала ее жизнь. То есть как пропала? Почему пропала?»

А через минуту в голову опять лезет мысль: «Бог есть, смерть непременно придет, надо о душе подумать. Если Оля сию минуту увидит свою смерть, то ей не будет страшно. Она готова. А главное, она уже решила для себя вопрос жизни. Бог есть... да... Но неужели нет другого выхода, как только идти в монастырь? Ведь идти в монастырь — значит отречься от жизни, погубить ее...»

Софье Львовне становилось немножко страшно; она спрятала голову под подушку.

— Не надо об этом думать, — шептала она. — Не надо...

Ягич ходил в соседней комнате по ковру, мягко звеня шпорами, и о чем-то думал. Софье Львовне пришла мысль, что этот человек близок и дорог ей только в одном: его тоже зовут Владимиром. Она села на постель и позвала нежно:

— Володя!

— Чего тебе? — отозвался муж.

— Ничего.

Она опять легла. Послышался звон, быть может тот же самый монастырский, припомнились ей опять притвор и темные фигуры, забродили в голове мысли о боге и неизбежной смерти, и она укрылась с головой, чтобы не слышать звона; она сообразила, что, прежде чем наступят сырость и смерть, будет еще тянуться длинная-длинная жизнь, и изо дня в день придется считаться с близостью нелюбимого человека, который вот пришел уже в спальню и ложится спать, и придется душить в себе безнадежную любовь к другому — молодому, обаятельному и, как казалось ей, необыкновенному. Она взглянула на мужа и хотела пожелать ему доброй ночи, но вместо этого вдруг заплакала. Ей было досадно на себя.

— Ну, начинается музыка! — проговорил Ягич, делая ударение на зы.

Она успокоилась, но поздно, только к десятому часу утра; она перестала плакать и дрожать всем телом, но зато у ней началась сильная головная боль. Ягич торопился к поздней обедне и в соседней комнате ворчал на денщика, который помогал ему одеваться. Он вошел в спальню раз, мягко звеня шпорами, и взял что-то, потом в другой раз — уже в эполетах и орденах, чуть-чуть похрамывая от ревматизма, и Софье Львовне показалось почему-то, что он ходит и смотрит, как хищник.

Она слышала, как Ягич позвонил у телефона.

— Будьте добры, соедините с Васильевскими казармами! — сказал он; а через минуту: — Васильевские казармы? Пригласите, пожалуйста, к телефону доктора Салимовича... — И еще через минуту: — С кем говорю? Ты, Володя? Очень рад. Попроси, милый, отца приехать сейчас к нам, а то моя супруга сильно расклеилась после вчерашнего. Нет дома, говоришь? Гм... Благодарю. Прекрасно... премного обяжешь... Мерси.

Ягич в третий раз вошел в спальню, нагнулся к жене, перекрестил ее, дал ей поцеловать свою руку (женщины, которые его любили, целовали ему руку, и он привык к этому) и сказал, что вернется к обеду. И вышел.

В двенадцатом часу горничная доложила, что пришли Владимир Михайлыч. Софья Львовна, пошатываясь от усталости и головной боли, быстро надела свой новый удивительный капот сиреневого цвета, с меховой обшивкой, наскоро кое-как причесалась; она чувствовала в своей душе невыразимую нежность и дрожала от радости и страха, что он может уйти. Ей бы только взглянуть на него.

Володя маленький пришел с визитом, как следует, во фраке и в белом галстуке. Когда в гостиную вошла Софья Львовна, он поцеловал у нее руку и искренно пожалел, что она нездорова. Потом, когда сели, похвалил ее капот.

— А меня расстроило вчерашнее свидание с Олей, — сказала она. — Сначала мне было жутко, но теперь я ей завидую. Она — несокрушимая скала, ее с места не сдвинешь; но неужели, Володя, у нее не было другого выхода? Неужели погребать себя заживо значит решать вопрос жизни? Вель это смерть, а не жизнь.

При воспоминании об Оле на лице у Володи маленького показалось умиление. — Вот вы, Володя, умный человек, — сказала Софья Львовна, — научите меня, чтобы я поступила точно так же, как она. Конечно, я неверующая и в монастырь не пошла бы, но ведь можно сделать что-нибудь равносильное. Мне нелегко живется, — продолжала она, помолчав немного. — Научите же... Скажите мне что-нибудь убедительное. Хоть одно слово скажите.

— Одно слово? Извольте: тарарабумбия.

— Володя, за что вы меня презираете? — спросила она живо. — Вы говорите со мной каким-то особенным, простите, фатовским языком, как не говорят с друзьями и с порядочными женщинами. Вы имеете успех, как ученый, вы любите науку, но отчего вы никогда не говорите со мной о науке? Отчего? Я не достойна?

Володя маленький досадливо поморщился и сказал:

— Отчего это вам так вдруг науки захотелось? А может, хотите конституции? Или, может, севрюжины с хреном?

— Ну, хорошо, я ничтожная, дрянная, беспринципная, недалекая женщина... У меня тьма, тьма ошибок, я психопатка, испорченная, и меня за это презирать надо. Но ведь вы, Володя, старше меня на десять лет, а муж старше меня на тридцать лет. Я росла на ваших глазах, и если бы вы захотели, вы могли бы сделать из меня все, что вам угодно, хоть ангела. Но вы... (голос у нее дрогнул) поступаете со мной ужасно. Ягич женился на мне, когда уже постарел, а вы...

— Ну, полно, полно, — сказал Володя, садясь поближе и целуя ей обе руки. — Предоставим Шопенгауэрам философствовать и доказывать все, что им угодно, а сами будем целовать эти ручки.

— Вы меня презираете, и если б вы знали, как я страдаю от этого! — сказала она нерешительно, заранее зная, что он ей не поверит. — А если б вы знали, как мне хочется измениться, начать новую жизнь! Я с восторгом думаю об этом, — проговорила она и в самом деле прослезилась от восторга. — Быть хорошим, честным, чистым человеком, не лгать, иметь цель в жизни.

— Ну, ну, ну, пожалуйста, не ломайтесь! Не люблю! — сказал Володя, и лицо его приняло капризное выражение. — Ей-богу, точно на сцене. Будем держать себя по-человечески.

Чтобы он не рассердился и не ушел, она стала оправдываться и в угоду ему насильно улыбнулась, и опять заговорила об Оле и про то, как ей хочется решить вопрос своей жизни, стать человеком.

— Тара... ра... бумбия... — запел он вполголоса. — Тара... ра... бумбия!

И неожиданно взял ее за талию. А она, сама не зная, что делает, положила ему на плечи руки и минуту с восхищением, точно в чаду каком-то, смотрела на его умное, насмешливое лицо, лоб, глаза, прекрасную бороду...

— Ты сам давно знаешь, я люблю тебя, — созналась она ему и мучительно покраснела и почувствовала, что у нее даже губы судорожно покривились от стыда. — Я тебя люблю. Зачем же ты меня мучаешь?

Она закрыла глаза и крепко поцеловала его в губы, и долго, пожалуй, с минуту, никак не могла кончить этого поцелуя, хотя знала, что это неприлично, что он сам может осудить ее, может войти прислуга...

— О, как ты меня мучаешь! — повторила она.

Когда через полчаса он, получивший то, что ему нужно было, сидел в столовой и закусывал, она стояла перед ним на коленях и с жадностью смотрела ему в лицо, и он говорил ей, что она похожа на собачку, которая ждет, чтоб ей бросили кусочек ветчины. Потом он посадил ее к себе на одно колено и, качая, как ребенка, запел:

— Тара... рабумбия... Тара... рабумбия!

А когда он собрался уходить, она спрашивала его страстным голосом:

— Когда? Сегодня? Где?

И она протянула к его рту обе руки, как бы желая схватить ответ даже руками.

— Сегодня едва ли это удобно, — сказал он, подумав. — Вот разве завтра.

И они расстались. Перед обедом Софья Львовна ехала в монастырь к Оле, но там сказали ей, что Оля где-то на покойнике читает псалтирь. Из монастыря она поехала к отцу и тоже не застала дома, потом переменяла извозчика и стала ездить по улицам и переулкам без всякой цели, и каталась так до вечера. И почему-то при этом вспомнилась ей та самая тетья с заплаканными глазами, которая не находила себе места.

А ночью опять катались на тройках и слушали цыган в загородном ресторане. И когда опять проезжали мимо монастыря, Софья Львовна вспоминала про Олю, и ей становилось жутко от мысли, что для девушек и женщин ее круга нет другого выхода, как не переставая кататься на тройках и лгать или же идти в монастырь убивать плоть... А на другой день было свидание, и опять Софья Львовна ездила по городу одна на извозчике и вспоминала про тетю.

Через неделю Володя маленький бросил ее. И после этого жизнь пошла по-прежнему, такая же неинтересная, тоскливая и иногда даже мучительная. Полковник и Володя маленький подолгу играли на бильярде и в пикет, Рита безвкусно и вяло рассказывала анекдоты, Софья Львовна все ездила на извозчике и просила мужа, чтобы он покатал ее на тройке.

Заезжая почти каждый день в монастырь, она надоедала Оле, жаловалась ей на свои невыносимые страдания, плакала и при этом чувствовала, что в келью вместе с нею входило что-то нечистое, жалкое, поношенное, а Оля машинально, тоном заученного урока говорила ей, что все это ничего, все пройдет и Бог простит.

## Студент

Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, всё смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой.

Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел всё время заливым лугом по тропинке. У него заоченели пальцы, и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь; далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, всё сплошь утонуло в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял; по случаю страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, - все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой.

Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь; ее дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса; это здешние работники на реке поили лошадей.



- Вот вам и зима пришла назад, - сказал студент, подходя к костру. - Здравствуйте!

Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо.

- Не узнала, бог с тобой, - сказала она. - Богатым быть.

Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась деликатно, и с лица ее всё время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой.

- Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, - сказал студент, протягивая к огню руки. - Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:

- Небось, была на двенадцати евангелиях?

- Была, - ответила Василиса.

- Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в темницу, и на смерть». А Господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал Его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед... Он страстно, без памяти любил Иисуса, и теперь видел издали, как его били...

Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.

- Пришли к первосвященнику, - продолжал он, - Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом», то есть, что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: «Я не знаю Его». Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли сегодня я видел с Ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль.

Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха.

Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, всё, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение...

Он оглянулся. Одиноким огнем спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему - к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, - ему было только 22 года, - и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.

## Рассказ старшего садовника

В оранжерее графов N. происходила распродажа цветов. Покупателей было немного: я, мой сосед-помещик и молодой купец, торгующий лесом. Пока работники выносили наши великолепные покупки и укладывали их на телеги, мы сидели у входа в оранжерею и беседовали о том, о сём. В теплое апрельское утро сидеть в саду, слушать птиц и видеть, как вынесенные на свободу цветы нежатся на солнце, чрезвычайно приятно.

Укладкой растений распоряжался сам садовник, Михаил Карлович, почтенный старик, с полным бритым лицом, в меховой жилетке, без сюртука. Он всё время молчал, но прислушивался к нашему разговору и ждал, не скажем ли мы чего-нибудь новенького. Это был умный, очень добрый, всеми уважаемый человек. Все почему-то считали его немцем, хотя по отцу он был швед, по матери русский и ходил в православную церковь. Он знал по-русски, по-шведски и по-немецки, много читал на этих языках, и нельзя было доставить ему большего удовольствия, как дать почитать какую-нибудь новую книжку или поговорить с ним, например, об Ибсене.

Были у него слабости, но невинные: так, он называл себя старшим садовником, хотя младших не было; выражение лица у него было необыкновенно важное и надменное; он не допускал противоречий и любил, чтобы его слушали серьезно и со вниманием.

- Этот вот молодчик, рекомендую, ужасный негодяй, - сказал мой сосед, указывая на работника со смуглым цыганским лицом, который проехал мимо на бочке с водой. - На прошлой неделе его судили в городе за грабеж и оправдали. Признали его душевнобольным, а между тем, взгляните на рожу, он здоровехонек. В последнее время в России уж очень часто оправдывают негодяев, объясняя всё болезненным состоянием и аффектами, между тем эти оправдательные приговоры, это очевидное послабление и потворство, к добру не ведут. Они деморализуют массу, чувство справедливости притупилось у всех, так как привыкли уже видеть порок безнаказанным, и,

знаете ли, и про наше время смело можно сказать словами Шекспира: "В наш злой, развратный век и добродетель должна просить прощенья у порока".

- Это верно, верно, - согласился купец. - Оттого, что оправдывают в судах, убийств и поджогов стало гораздо больше. Спросите-ка у мужиков.

Садовник Михаил Карлович обернулся к нам и сказал:

- Что же касается меня, господа, то я всегда с восторгом встречаю оправдательные приговоры... Я не боюсь за нравственность и за справедливость, когда говорят "невиновен", а, напротив, чувствую удовольствие. Даже когда моя совесть говорит мне, что оправдав преступника, присяжные сделали ошибку, то тогда я торжествую! Судите сами, господа: если судьи и присяжные более верят человеку, чем уликам, вещественным доказательствам и речам, то разве эта вера в человека сама по себе не выше всяких житейских соображений? Веровать в Бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте! Эта вера доступна только тем немногим, кто понимает и чувствует Христа.

- Мысль хорошая, - сказал я.

- Но это не новая мысль. Помнится, когда-то очень давно я слышал даже легенду на эту тему. Очень милая легенда, - сказал садовник и улыбнулся. Мне рассказывала ее моя покойная бабушка, мать моего отца, отличная старуха. Она рассказывала по-шведски, но по-русски это выйдет не так красиво, не так классично.

Но мы попросили его рассказывать и не стесняться грубостью русского языка. Он, очень довольный, медленно закурил трубочку, сердито посмотрел на рабочих и начал:

- В одном маленьком городке поселился пожилой, одинокий и некрасивый господин по фамилии Томсон или Вильсон, - ну, это всё равно. Дело не в фамилии. Профессия у него была благородная: он лечил людей. Он был всегда угрюм и несообщителен и говорил только, когда этого требовала его профессия. Ни к кому он не ходил в гости, ни с кем не распространял своего знакомства далее молчаливого поклона и жил скромно, как схимник. Дело в том, что он был ученый, а в ту пору ученые не были похожи на обыкновенных людей. Они проводили дни и ночи в созерцании, в чтении книг и лечении болезней, на всё же остальное смотрели как на пошлость и не имели времени говорить лишних слов. Жители города отлично понимали это и старались не надоедать ему своими посещениями и пустой болтовней. Они были очень рады, что Бог наконец послал им человека, умеющего лечить болезни, и гордились, что в их городе живет такой замечательный человек. - Он знает всё, говорили они про него. Но этого было недостаточно. Надо было еще говорить: "он любит всех!" В груди этого ученого человека билось чудное, ангельское сердце. Как бы ни было, ведь жители города были для него чужие, не родные, но он любил их, как детей, и не жалел для них даже своей жизни. У него самого была чахотка, он кашлял, но, когда его звали к больному, забывал про свою болезнь, не шадил себя и, задыхаясь, взбирался на горы, как бы высоки они ни были. Он пренебрегал зноем и холодом, презирал голод и жажду. Денег не брал, и, странное дело, когда у него умирал пациент, то он шел вместе с родственниками за гробом и плакал.

И скоро он стал для города так необходим, что жители удивлялись, как это они могли ранее обходиться без этого человека. Их признательность не имела границ. Взрослые и дети, добрые и злые, честные и мошенники - одним словом, все уважали его и знали ему цену. В городке и в его окрестностях не было человека, который позволил бы себе не только сделать ему что-нибудь неприятное, но даже подумать об этом. Выходя из своей квартиры, он никогда не запирает дверей и окон, в полной уверенности, что нет такого вора, который решился бы обидеть его. Часто ему приходилось, по долгу врача, ходить по большим дорогам, через леса и горы, где во множестве бродили голодные бродяги, но он чувствовал себя в полной безопасности. Однажды ночью он

возвращался от больного, и на него напали в лесу разбойники, но, узнав его, они почтительно сняли перед ним шляпы и спросили, не хочет ли он есть. Когда он сказал, что он сыт, они дали ему теплый плащ и проводили его до самого города, счастливые, что судьба послала им случай хотя чем-нибудь отблагодарить великодушного человека. Ну, далее, понятное дело, бабушка рассказывала, что даже лошади, коровы и собаки знали его и при встрече с ним изъявляли радость.

И этот человек, который, казалось, своею святостью оградил себя от всего злого, доброжелателями которого считались даже разбойники и бешеные, в одно прекрасное утро был найден убитым. Окровавленный, с пробитым черепом, он лежал в овраге, и бледное лицо его выражало удивление. Да, не ужас, а удивление застыло на его лице, когда он увидел перед собою убийцу. Можете же представить себе теперь ту скорбь, какая овладела жителями города и окрестностей. Все в отчаянии, не веря своим глазам, спрашивали себя: кто мог убить этого человека? Судьи, которые производили следствие и осматривали труп доктора, сказали так: "Здесь мы имеем все признаки убийства, но так как нет на свете такого человека, который мог бы убить нашего доктора, то, очевидно, убийства тут нет и совокупность признаков является только простою случайностью. Нужно предположить, что доктор в потемках сам упал в овраг и ушибся до смерти".

С этим мнением согласился весь город. Доктора погребли, и уже никто не говорил о насильственной смерти. Существование человека, у которого хватило бы низости и гнусности убить доктора, казалось невероятным. Ведь и гнусность имеет свои пределы. Не так ли?

Но вдруг, можете себе представить, случай наводит на убийцу. Увидели, как один шалопай, уже много раз судившийся, известный своею развратною жизнью, пропивал в кабаке табакерку и часы, принадлежавшие доктору. Когда стали его уличать, он смутился и сказал какую-то очевидную ложь. Сделали у него обыск и нашли в постели рубаху с окровавленными рукавами и докторский ланцет в золотой оправе. Каких же еще нужно улик? Злодея посадили в тюрьму. Жители возмущались и в то же время говорили:

- Невероятно! Не может быть! Смотрите, как бы не вышло ошибки: ведь случается, что улики говорят неправду!

На суде убийца упорно отрицал свою вину. Всё говорило против него, и убедиться в его виновности было так же нетрудно, как в том, что эта земля черная, но судьи точно с ума сошли: они по десяти раз взвешивали каждую улику, недоверчиво посматривали на свидетелей, краснели, пили воду... Судить начали рано утром, а кончили только вечером.

- Обвиняемый! - обратился главный судья к убийце. - Суд признал тебя виновным в убийстве доктора такого-то и приговорил тебя к...

Главный судья хотел сказать: "к смертной казни", но выронил из рук бумагу, на которой был написан приговор, вытер холодный пот и закричал:

- Нет! Если я неправильно сужу, то пусть меня накажет Бог, но, клянусь, он не виноват! Я не допускаю мысли, чтобы мог найтись человек, который осмелился бы убить нашего друга доктора! Человек неспособен пасть так глубоко!

- Да, нет такого человека, - согласились прочие судьи.

- Нет! - откликнулась толпа. - Отпустите его!

Убийцу отпустили на все четыре стороны, и ни одна душа не упрекнула судей в несправедливости. И Бог, говорила моя бабушка, за такую веру в человека простил грехи всем жителям городка. Он радуется, когда веруют, что человек - его образ и подобие, и скорбит, если, забывая о человеческом достоинстве, о людях судят хуже, чем о собаках. Пусть оправдательный приговор принесет жителям городка вред, но зато, посудите, какое благотворное влияние имела на

них эта вера в человека, вера, которая ведь не остается мертвой; она воспитывает в нас великодушные чувства и всегда побуждает любить и уважать каждого человека. Каждого! А это важно.

Михаил Карлович кончил. Мой сосед хотел что-то возразить ему, но старший садовник сделал жест, означавший, что он не любит возражений, затем отошел к телегам и с выражением важности на лице продолжал заниматься укладкой.

## Убийство

На станции Прогонной служили всенощную. Перед большим образом, написанным ярко, на золотом фоне, стояла толпа станционных служащих, их жен и детей, а также дровосеков и пильщиков, работавших вблизи по линии. Все стояли в безмолвии, очарованные блеском огней и воем метели, которая ни с того, ни с сего разыгралась на дворе, несмотря на канун Благовещения. Служил старик священник из Веденяпина: пели псаломщик и Матвей Терехов.

Лицо Матвея сияло радостью, он пел и при этом вытягивал шею, как будто хотел взлететь. Пел он тенором и канон читал тоже тенором, сладостно, убедительно. Когда пели "Архангельский глас", он помахивал рукой, как регент, и, стараясь подладиться под глухой стариковский бас дьячка, выводил своим тенором что-то необыкновенно сложное, и по лицу его было видно, что испытывал он большое удовольствие.

Но вот всенощная окончилась, все тихо разошлись, и стало опять темно и пусто, и наступила та самая тишина, какая бывает только на станциях, одиноко стоящих в поле или в лесу, когда ветер подвывает и ничего не слышно больше и когда чувствуется вся эта пустота кругом, вся тоска медленно текущей жизни.

Матвей жил недалеко от станции, в трактире своего двоюродного брата. Но ему не хотелось домой. Он сидел у буфетчика за прилавком и рассказывал вполголоса:

- У нас на изразцовом заводе был свой хор. И должен я вам заметить, хотя мы и простые мастера были, но пели мы по-настоящему, великолепно. Нас часто приглашали в город, и когда там викарный владыка Иоанн изволил служить в Троицкой церкви, то архиерейские певчие пели на правом клиросе, а мы на левом. Только в городе жаловались, что мы долго поем: заводские, говорили, тянут. Оно правда, мы "Андреево стояние" и "Похвалу" начинали в седьмом, а кончали после одиннадцати, так что, бывало, придешь домой на завод, а уже первый час. Хорошо было! - вздохнул Матвей. - Очень даже хорошо, Сергей Никанорыч! А здесь, в родительском доме, никакой радости. Самая ближняя церковь в пяти верстах, при моем слабом здоровье и не дойдешь туда, певчих нет. А в семействе нашем никакого спокойствия, день-деньской шум, брань, нечистота, все из одной чашки едим, как мужики, а щи с тараканами... Не дает бог здоровья, а то бы я давно ушел, Сергей Никанорыч.

Матвей Терехов был еще не стар, лет 45, но выражение у него было болезненное, лицо в морщинах; и жидкая, прозрачная бородка совсем уже поседела, и это старило его на много лет. Говорил он слабым голосом, осторожно и, кашляя, брался за грудь, и в это время взгляд его становился беспокойным и тревожным, как у очень мнительных людей. Он никогда не говорил определенно, что у него болит, но любил длинно рассказывать, как однажды на заводе он поднял тяжелый ящик и надорвался и как от этого образовалась грызь, заставившая его бросить службу на изразцовом заводе и вернуться на родину. А что значит грызь, объяснить он не мог.

- Признаться, не люблю я брата, - продолжал он, наливая себе чаю. - Он мне старший, грех осуждать, и боюсь Господа Бога, но не могу утерпеть. Человек он надменный, суровый, ругательный,

для своих родственников и работников мучитель, и на духу не бывает. В прошлое воскресенье я прошу его ласково: "Братец, поедemте в Пахомово к обедне!" А он: "Не поеду, - там, говорит, поп картежник". И сюда не пошел сегодня, потому, говорит, веденяпинский священник курит и водку пьет. Не любит духовенства! Сам себе и обедницу служит, и часы, и вечерню, а сестрица ему вместо дьячка. Он: господу помолимся! А она тонким голосочком, как индюшка: господи помилуй!.. Грех да и только. Каждый день ему говорю: "Образумьтесь, братец! Покайтесь, братец!" - а он без внимания.

Сергей Никанорыч, буфетчик, налил пять стаканов чаю и понес их на подносе в дамскую. Едва он вошел туда, как послышался крик:

- Как ты подаешь, поросычья морда? Ты не умеешь подавать!

Это был голос начальника станции. Послышалось робкое бормотанье, потом опять крик, сердитый и резкий:

- Пошел вон!

Буфетчик вернулся сильно сконфуженный.

- Было время, когда угождал и графам, и князьям, - проговорил он тихо, - а теперь, видите, не умею чай подать... Обругал при священнике и дамах!

Буфетчик Сергей Никанорыч когда-то имел большие деньги и держал буфет на первой классной станции, в губернском городе, где перекрещивались две дороги. Тогда он носил фрак и золотые часы. Но дела у него шли плохо, он потратил все свои деньги на роскошную сервировку, обкрадывала его прислуга, и, запутавшись мало-помалу, он перешел на другую станцию, менее бойкую; здесь от него ушла жена и увезла с собой всё серебро, и он перешел на третью станцию, похуже, где уже не полагалось горячих кушаний. Потом на четвертую. Часто меняя места и спускаясь все ниже и ниже, он, наконец, попал на Прогонную и здесь торговал только чаем, дешевою водкой и на закуску ставил крутые яйца и твердую колбасу, от которой пахло смолой и которую сам же он в насмешку называл музыкантской. У него была лысина во всё темя, голубые глаза навывкате и густые, пушистые бакены, которые он часто расчесывал гребенкой, глядясь в маленькое зеркальце. Воспоминания о прошлом томили его постоянно, он никак не мог привыкнуть к музыкантской колбасе, к грубости начальника станции и к мужикам, которые торговались, а, по его мнению, торговаться в буфете было так же неприлично, как в аптеке. Ему было стыдно своей бедности и своего унижения, и этот стыд был теперь главным содержанием его жизни.

- А весна в этом году поздняя, - сказал Матвей, прислушиваясь. - Оно и лучше, я не люблю весны. Весной грязно очень, Сергей Никанорыч. В книжках пишут: весна, птицы поют, солнце заходит, а что тут приятного? Птица и есть птица и больше ничего. Я люблю хорошее общество, чтоб людей послушать, об леригии поговорить или хором спеть что-нибудь приятное, а эти там соловьи да цветочки - бог с ними!

Он опять начал об изразцовом заводе, о хоре, но оскорбленный Сергей Никанорыч никак не мог успокоиться и всё пожимал плечами и бормотал что-то. Матвей простился и пошел домой.

Мороза не было, и уже таяло на крышах, но шел крупный снег; он быстро кружился в воздухе, и белые облака его гонялись друг за другом по полотну дороги. А дубовый лес, по обе стороны линии, едва освещенный луной, которая пряталась где-то высоко за облаками, издавал суровый, протяжный шум. Когда сильная буря качает деревья, то как они страшны! Матвей шел по шоссе вдоль линии, пряча лицо и руки, и ветер толкал его в спину. Вдруг показалась небольшая лошаденка, облепленная снегом, сани скребли по голым камням шоссе, и мужик с окутанною головой, тоже весь

белый, хлестал кнутом. Матвей оглянулся, но уже не было ни саней, ни мужика, как будто всё это ему только примерещилось, и он ускорил шаги, вдруг испугавшись, сам не зная чего.

Вот переезд и темный домик, где живет сторож. Шлагбаум поднят, и около намело целые горы, и, как ведьмы на шабаше, кружатся облака снега. Тут линию пересекает старая, когда-то большая дорога, которую до сих пор еще зовут трактом. Направо, недалеко от переезда, у самой дороги, стоит трактир Терехова, бывший постоялый двор. Тут по ночам всегда брезжит огонек.

Когда Матвей пришел домой, во всех комнатах и даже в сенях сильно пахло ладаном. Брат его Яков Иваныч еще продолжал служить всеношную. В молельной, где это происходило, в переднем углу стоял киот со старинными дедовскими образами в позолоченных ризах, и обе стены направо и налево были уставлены образами старого и нового письма, в киотах и просто так. На столе, покрытом до земли скатертью, стоял образ Благовещения и тут же кипарисовый крест и кадила; горели восковые свечи. Возле стола был аналой. Проходя мимо молельной, Матвей остановился и заглянул в дверь. Яков Иваныч в это время читал у аналая; с ним молилась сестра его Аглая, высокая, худощавая старуха в синем платье и белом платочке. Была тут и дочь Якова Иваныча, Дашутка; девушка лет 18, некрасивая, вся в веснушках, по обыкновению босая и в том же платье, в каком под вечер поила скотину.

- Слава Тебе, показавшему нам свет! - провозгласил Яков Иваныч нараспев и низко поклонился.

Аглая подперла рукой подбородок и запела тонким, визгливым, тягучим голосом. А вверху над потолком тоже раздавались какие-то неясные голоса, которые будто угрожали или предвещали дурное. Во втором этаже после пожара, бывшего когда-то очень давно, никто не жил, окна были забиты тесом и на полу между балок валялись пустые бутылки. Теперь там стучал и гудел ветер и казалось, что кто-то бегал, спотыкаясь о балки.

Половина нижнего этажа была занята под трактир, в другой помещалась семья Терехова, так что когда в трактире шумели пьяные проезжие, то было слышно в комнатах всё до одного слова. Матвей жил рядом с кухней, в комнате с большою печью, где прежде, когда тут был постоялый двор, каждый день пекли хлеб. В этой же комнате, за печкой помещалась и Дашутка, у которой не было своей комнаты. Всегда тут по ночам кричал сверчок и суетились мыши.

Матвей зажег свечу и стал читать книгу, взятую им у станционного жандарма. Пока он сидел над ней, моление кончилось и все легли спать. Дашутка тоже легла. Она захрапела тотчас же, но скоро проснулась и сказала, зевая:

- Ты, дядя Матвей, зря бы свечку не жег.

- Это моя свечка, - ответил Матвей. - Я ее за свои деньги купил.

Дашутка поворочалась немного и опять заснула. Матвей сидел еще долго ему не хотелось спать - и, кончив последнюю страницу, достал из сундука карандаш и написал на книге: "Сию книгу читал я, Матвей Терехов, и нахожу ее из всех читанных мною книг самую лутшею, в чем и приношу мою признательность унтер-офицеру жандармского управления железных дорог Кузьме Николаеву Жукову, как владельцу оной бесценной книги". Делать подобные надписи на чужих книгах он считал долгом вежливости.

## II

В самый день Благовещения, после того, как проводили почтовый поезд, Матвей сидел в буфете, пил чай с лимоном и говорил.

Слушали его буфетчик и жандарм Жуков.

- Я, надо нам заметить, - рассказывал Матвей, - еще в малолетстве был привержен к религии. Мне только двенадцать годочков было, а я уже в церкви апостола читал, и родители мои весьма утешались, и каждое лето мы с покойной маменькой ходили на богомолье. Бывало, другие ребята песни поют или раков ловят, а я в это время с маменькой. Старшие меня одобряли, да и мне самому было это приятно, что я такого хорошего поведения. И как маменька благословили меня на завод, то я между делом пел там тенором в нашем хоре, и не было лучшего удовольствия. Само собой, водки я не пил, табаку не курил, соблюдал чистоту телесную, а такое направление жизни, известно, не нравится врагу рода человеческого, и захотел он, окаянный, погубить меня и стал омрачать мой разум, всё равно, как теперь у братца. Самое первое, дал я обет не кушать по понедельникам скоромного и не кушать мяса во все дни, и вообще с течением времени нашла на меня фантазия. В первую неделю Великого поста до субботы святые отцы положили сухоядение, но трудящим и слабым не грех даже чайку попить, у меня же до самого воскресенья ни крошки во рту не было, и потом во весь пост я не разрешал себе масла ни отнюдь, а в среды и пятницы так и вовсе ничего не кушал. То же и в малые посты. Бывало, в Петровки наши заводские хлебают ши из судака, а я в стороночке от них сухарик сосу. У людей сила разная, конечно, но я об себе скажу: в постные дни мне не трудно было и так даже, что чем больше усердия, тем легче. Хочется кушать только в первые дни поста, а потом привыкаешь, становится всё легче и, гляди, в конце недели совсем ничего и в ногах этакое онемение, будто ты не на земле, а на облаке. И, кроме того, налагал я на себя всякие послушания: вставал по ночам и поклоны бил, камни тяжелые таскал с места на место, на снег выходил босиком, ну, и вериги тоже. Только вот по прошествии времени исповедаюсь я однажды у священника и вдруг такое мечтание: ведь священник этот, думаю, женатый, скоромник и табачник; как же он может меня исповедать и какую он имеет власть отпускать мне грехи, ежели он грешнее, чем я? Я даже постного масла остерегаюсь, а он, небось, осетрину ел. Пошел я к другому священнику, а этот, как на грех, толстомясый, в шелковой рясе, шуршит будто лама, и от него тоже табаком пахнет. Пошел я говеть в монастырь, и там мое сердце не спокойно, все кажется, будто монахи не по уставу живут. И после этого никак я не могу найти службу по себе: в одном месте служат очень скоро, в другом, гляди, задостойник не тот пропели, в третьем дьячок гүгнивый... Бывало, Господи прости меня грешного, стою это в церкви, а от гнева сердце трясется. Какая уж тут молитва? И представляется мне, будто народ в церкви не так крестится, не так слушает: на кого ни погляжу, все пьяницы, скоромники, табачники, блудники, картежники, один только я живу по заповедям. Лукавый бес не дремал, дальше-больше, перестал я петь в хоре и уж вовсе не хожу в церковь: так уж я об себе понимаю, будто я человек праведный, а церковь по своему несовершенству для меня не подходит, то есть, подобно падшему ангелу, возмечтал я в гордыне своей до невероятия. После этого стал я хлопотать, как бы свою церковь устроить. Нанял я у глухой мещанки комнатущечку далеко за городом, около кладбища, и устроил молельную, вот как у братца, но только у меня еще ставники были и настоящее кадило. В этой своей молельной я держался устава святой Афонской горы, то есть каждый день обязательно утренняя у меня начиналась в полночь, а под особо чтимые двенадцатые праздники всенощная у меня служилась часов десять, а когда и двенадцать. Монахи все-таки, по уставу, во время кафизм и паремий сидят, а я желал быть угоднее монахов и всё, бывало, на ногах. Читал я и пел протяжно, со слезами и со вздыханием, воздевая руки, и прямо с молитвы, не спавши, на работу, да и работаю всё с молитвой. Ну, пошло по городу: Матвей святой, Матвей больных и безумных исцеляет. Никого я, конечно, не исцелял, но известно, как только заведется какой раскол и лжеучение, то от женского пола отбоя нет. Всё равно, как мухи на мед. Повадились ко мне разные бабки и старые девки, в ноги мне кланяются, руки целуют и кричат, что я святой и прочее, а одна даже на моей голове сияние видела. Стало тесно в молельной, взял я комнату побольше, и пошло у нас настоящее столпотворение, бес забрал меня окончательно и заслонил свет от очей моих своими погаными копытами. Мы все вроде как бы взбесились. Я читал, а бабки и старые девки пели, и этак, долго не евши и не пивши, простоявши на ногах сутки или дольше, вдруг



начинается с ними трясение, будто их лихорадка бьет, потом, этого, то одна крикнет, то другая - и этак страшно! Я тоже трясусь весь, как жид на сковородке, сам не знаю, по какой такой причине, и начинают наши ноги прыгать. Чудно, право: не хочешь, а прыгаешь и руками болтаешь; и потом, этого, крик, визг, все пляшем и друг за дружкой бегаем, бегаем до упаду. И таким образом, в диком беспмятстве впал я в блуд.

Жандарм засмеялся, но, заметив, что никто больше не смеется, стал серьезен и сказал:

- Это молоканство. Я читал, на Кавказе все так.

- Но не убило меня громом, - продолжал Матвей, перекрестясь на образ и пошевелив губами. - Должно, молилась за меня на том свете покойница маменька. Когда уже меня все в городе святым почитали и даже дамы и хорошие господа стали приезжать ко мне потихоньку за утешением, как-то пошел я к нашему хозяину Осипу Варламычу прощаться - тогда прощенный день был, - а он этак запер на крючочек дверь и остались мы вдвоем, с глазу на глаз. И стал он меня отчитывать. А должен я вам заметить, Осип Варламыч без образования, но дальнего ума человек, и все его почитали и боялись, потому был строгий, богоугодной жизни и труженник. Городским головой был и старостой лет, может, двадцать и много добра сделал; Ново-Московскую улицу всю покрыл гравелием, выкрасил собор и колонны расписал под малафтит. Ну, запер дверь и - "давно, говорит, я до тебя добираюсь, такой-сякой... Ты, говорит, думаешь, что ты святой? Нет, ты не святой, а богоотступник, еретик и злодей!.." И пошел, и пошел... Не могу я вам выразить, как это он говорил, складненько да умненько, словно по-писаному, и так трогательно. Говорил часа два. Пронял он меня своими словами, открылись мои глаза. Слушал я, слушал и - как зарыдаю! "Будь, говорит, обыкновенным человеком, ешь, пей, одевайся и молись, как все, а что сверх обыкновения, то от беса. Вериги, говорит, твои от беса, посты твои от беса, моленная твоя от беса; всё, говорит, это гордость". На другой день, в чистый понедельник, привел меня Бог заболеть. Я надорвался, отвезли меня в больницу; мучился я до чрезвычайности и горько плакал и трепетал. Думал, что из больницы мне прямая дорога - в ад, и чуть не помер. Промучился я на одре болезни с полгода, а как выписался, то первым делом отговелся по-настоящему и стал опять человеком. Отпускал меня Осип Варламыч домой и наставлял: "Помни же, Матвей, что сверх обыкновения, то от беса". И я теперь ем и пью, как все, и молюсь, как все... Ежели теперь, случается, от батюшки пахнет табаком или винцом, то я не дерзаю осуждать, потому ведь и батюшка обыкновенный человек. Но как только говорят, что вот в городе или в деревне завелся, мол, святой, по неделям не ест и свои уставы заводит, то уж я понимаю, чьи тут дела. Так вот, судари мои, какая была история в моей жизни. Теперь и я, как Осип Варламыч, все наставляю братца и сестрицу и укоряю их, но выходит глас вопиющего в пустыне. Не дал мне Бог дара.

Рассказ Матвея, по-видимому, не произвел никакого впечатления. Сергей Никанорыч ничего не сказал и стал убирать с прилавка закуску, а жандарм заговорил о том, как богат брат Матвея, Яков Иваныч.

- У него тысяч тридцать, по крайней мере, -сказал он.

Жандарм Жуков, рыжий, полнолицый (когда он ходил, у него дрожали щеки), здоровый, сытый, обыкновенно, когда не было старших, сидел развалиясь и положив ногу на ногу; разговаривая, он покачивался и небрежно посвистывал, и в это время на лице его было самодовольное, сытое выражение, как будто он только что пообедал. Деньги у него водились, и он всегда говорил о них с видом большого знатока. Он занимался комиссионерством, и когда нужно было кому-нибудь продать имение, лошадь или подержанный экипаж, то обращались к нему.

- Да, тридцать тысяч будет, пожалуй, -согласился Сергей Никанорыч. - У вашего дедушки было огромное состояние, - сказал он, обращаясь к Матвею. - Огромное! Всё потом осталось вашему отцу и вашему дяде. Ваш отец помер в молодых годах, и после него всё забрал дядя, а потом,

значит, Яков Иваныч. Пока вы с маменькой на богомолье ходили и на заводе тенором пели, тут без вас не зевали.

- На вашу долю приходится тысяч пятнадцать, - сказал жандарм, покачиваясь. - Трактир у нас общий, значит, и капитал общий. Да. На вашем месте я давно бы подал в суд. Я бы в суд подал само собой, а пока дело, один на один всю бы рожу ему до крови...

Якова Иваныча не любили, потому что когда кто-нибудь верует не так, как все, то это неприятно волнует даже людей равнодушных к вере. Жандарм же не любил его еще и за то, что он тоже продавал лошадей и подержанные экипажи.

- Вам не охота судиться с братом, потому что у нас своих денег много, - сказал буфетчик Матвеем, глядя на него с завистью. - Хорошо тому, у кого есть средства, а вот я, должно быть, так и умру в этом положении...

Матвей стал уверять, что у него вовсе нет денег, но Сергей Никанорыч уже не слушал; воспоминания о прошлом, об оскорблениях, которые он терпел каждый день, нахлынули на него; лысая голова его вспотела, он покраснел и замигал глазами.

- Жизнь проклятая! - сказал он с досадой и ударил колбасой о пол.

### III

Рассказывали, что постоялый двор был построен еще при Александре I какою-то вдовой, которая поселилась здесь со своим сыном; называлась она Авдотьей Тереховой. У тех, кто, бывало, проезжал мимо на почтовых, особенно в лунные ночи, темный двор с навесом и постоянно запертые ворота своим видом вызывали чувство скуки и безотчетной тревоги, как будто в этом дворе жили колдуны или разбойники; и всякий раз, уже проехав мимо, ямщик оглядывался и подгонял лошадей. Останавливались здесь неохотно, так как хозяева всегда были неласковы и брали с проезжих очень дорого. Во дворе было грязно даже летом; здесь в грязи лежали громадные, жирные свиньи и бродили без привязи лошади, которыми барышничали Тереховы, и случалось часто, что лошади, соскучившись, выбегали со двора и, как бешеные, носились по дороге, пугая странниц. В то время здесь было большое движение; проходили длинные обозы с товарами, и бывали тут разные случаи, вроде того, например, как лет 30 назад обозчики, рассердившись, затеяли драку и убили проезжего купца, и в полуверсте от двора до сих пор еще стоит погнувшийся крест; проезжали почтовые тройки со звонками и тяжелые барские дормезы, с ревом и в облаках пыли проходили гурты рогатого скота.

Когда провели железную дорогу, то в первое время на этом месте был только полустанок, который назывался просто разъездом, потом же лет через десять построили теперешнюю Прогонную. Движение по старой почтовой дороге почти прекратилось, и по ней уже ездили только местные помещики и мужики, да весной и осенью проходили толпами рабочие. Постоялый двор превратился в трактир; верхний этаж обгорел, крыша стала желтой от ржавчины, навес мало-помалу обвалился, но на дворе в грязи всё еще валялись громадные, жирные свиньи, розовые, отвратительные. По-прежнему иногда со двора выбегали лошади и бешено, задрвав хвосты, носились по дороге. В трактире торговали чаем, сеном, мукой, а также водкой и пивом, распивочно и на вынос; спиртные напитки продавали с опаской, так как патента никогда не брали.

Тереховы вообще всегда отличались религиозностью, так что им даже дали прозвище Богомолы. Но, быть может, оттого, что они жили особняком, как медведи, избегали людей и до всего доходили своим умом, они были склонны к мечтаниям и к колебаниям в вере, и почти каждое поколение веровало как-нибудь особенно. Бабка Авдотья, которая построила постоялый двор, была старой веры, ее же сын и оба внука (отцы Матвея и Якова) ходили в православную церковь, принимали у себя духовенство и новым образам молились с таким же благоговением, как старым; сын в старости не ел мяса и наложил на себя подвиг молчания, считая грехом всякий разговор, а у

внуков была та особенность, что они понимали писание не просто, а всё искали в нем (крытого смысла, уверяя, что в каждом святом слове должна содержаться какая-нибудь тайна. Правнук Авлотьи, Матвей, с самого детства боролся с мечтаниями и едва не погиб, другой правнук, Яков Иваныч, был православным, но после смерти жены вдруг перестал ходить в церковь и молился дома. На него глядя, совратилась и сестра Аглая: сама не ходила в церковь и Дашутку не пускала. Про Аглаю еще рассказывали, будто в молодых годах она хаживала в Веденяпино к хлыстам и что втайне она еще продолжает быть хлыстовкой, а потому-де ходит в белом платочке.

Яков Иваныч был старше Матвея на десять лет. Это был очень красивый старик, высокого роста, с широкою седою бородой, почти до пояса, и с густыми бровями, придававшими его лицу суровое, даже злое выражение. Носил он длинную поддевку из хорошего сукна или черный романовский полушубок и вообще старался одеваться чисто и прилично; калоши носил даже в сухую погоду. В церковь он не ходил потому, что, по его мнению, в церкви не точно исполняли устав, и потому, что священники пили вино в непоказанное время и курили табак. Дома у себя он каждый день читал и пел вместе с Аглаей. В Веденяпине в заутрени вовсе не читали канона и вечерни не служили даже в большие праздники, он же у себя дома прочитывал всё, что полагалось на каждый день, не пропуская ни одной строки и не торопясь, а в свободное время читал вслух жития. И в обыденной жизни он строго держался устава: так, если в Великом посту в какой-нибудь день разрешалось, по уставу, вино "ради труда бденного", то он непременно пил вино, даже если не хотелось.

Он читал, пел, кадил и постился не для того, чтобы получить от Бога какие-либо блага, а для порядка. Человек не может жить без веры, и вера должна выражаться правильно, из года в год, изо дня в день в известном порядке, чтобы каждое утро и каждый вечер человек обращался к Богу именно с теми словами и мыслями, какие приличны данному дню и часу. Нужно жить, а значит и молиться так, как угодно Богу, и поэтому каждый день следует читать и петь только то, что угодно Богу, то есть что полагается по уставу; так, первую главу от Иоанна нужно читать только в день Пасхи, а от Пасхи до Вознесения нельзя петь "Достойно есть" и проч. Создание этого порядка и его важности доставляло Якову Иванычу во время молитвы большое удовольствие. Когда ему по необходимости приходилось нарушать этот порядок, например, уезжать в город за товаром или в банк, то его мучила совесть и он чувствовал себя несчастным.

Брат Матвей, приехавший неожиданно из завода и поселившийся в трактире, как дома, с первых же дней стал нарушать порядок. Он не хотел молиться вместе, ел и пил чай не вовремя, поздно вставал, в среды и пятницы пил молоко, будто бы по слабости здоровья; почти каждый день во время молитвы он входил в молельную и кричал: "Образумьтесь, братец! Покайтесь, братец!" От этих слов Якова Иваныча бросало в жар, а Аглая, не выдержав, начинала браниться. Или ночью, подкравшись, Матвей входил в молельную и говорил тихо: "Братец, ваша молитва не угодна Богу. Потому что сказано: прежде смиришь с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой. Вы же деньги в рост даете, водочкой торгуете. Покайтесь!"

В словах Матвея Яков видел лишь обычную отговорку пустых и нерадивых людей, которые говорят о любви к ближнему, о примирении с братом и проч. для того только, чтобы не молиться, не постить и не читать святых книг, и которые презрительно отзываются о наживе и процентах только потому, что не любят работать. Ведь быть бедным, ничего не копить и ничего не беречь гораздо легче, чем быть богатым.

А всё же он был взволнован и уже не мог молиться, как прежде. Едва он входил в молельную и раскрывал книгу, как уже начинал бояться, что вот-вот войдет брат и помешает ему; и в самом деле, Матвей появлялся скоро и кричал дрожащим голосом: "Образумьтесь, братец! Покайтесь,

братец!" Сестра бранилась, и Яков тоже выходил из себя и кричал: "Пошел вон из моего дома!" А тот ему: "Этот дом наш общий".

Начинал Яков снова читать и петь, но уже не мог успокоиться и, сам того не замечая, вдруг задумывался над книгой: хотя слова брата считал он пустяками, но почему-то и ему в последнее время тоже стало приходить на память, что богатому трудно войти в царство небесное, что в третьем году он купил очень выгодно краденую лошадь, что еще при покойнице жене однажды какой-то пьяница умер у него в трактире от водки...

По ночам он спал теперь нехорошо, чутко, и ему слышно было, как Матвей тоже не спал и всё вздыхал, скучая по своему изразцовому заводу. И Якову ночью, пока он ворочался с боку на бок, вспоминались и краденая лошадь, и пьяница, и евангельские слова о верблюде.

Похоже было на то, как будто у него опять начинались мечтания. А как нарочно, каждый день, несмотря на то, что уже был конец марта, шел снег и лес шумел по-зимнему, и не верилось, что весна настанет когда-нибудь. Погода располагала и к скуке, и к ссорам, и к ненависти, а ночью, когда ветер гудел над потолком, казалось, что кто-то жил там наверху, в пустом этаже, мечтания мало-помалу наваливали на ум, голова горела и не хотелось спать.

#### IV

Утром в Страстной понедельник Матвей слышал из своей комнаты, как Дашутка сказала Аглае:

- Дядя Матвей говорил надясь, поститься, говорил, не надо.

Матвей припомнил весь разговор, какой у него был накануне с Дашуткой, и ему вдруг стало обидно.

- Девушка, не грехи! - сказал он стонущим голосом, как больной. - Без постов нельзя, сам Господь наш постился сорок дней. А только я тебе объяснял, что худому человеку и пост не в пользу.

- А ты только послушай заводских, они научат добру, - проговорила насмешливо Аглая, моя пол (в будни она обыкновенно мыла полы и при этом сердилась на всех). - На заводе известно какой пост. Ты вот спроси его, дядю-то своего, спроси про душеньку, как он с ней, с гадюкой, в постные дни молоко трескал. Других-то он учит, а сам забыл про гадюку. А спроси: кому он деньги оставил, кому?

Матвей тщательно, как неопытную рану, скрывал ото всех, что в тот самый период своей жизни, когда во время молений с ним вместе прыгали и бегали старухи и девки, он вступил в связь с одною мещанкой и имел от нее ребенка. Уезжая домой, он отдал этой женщине всё, что скопил на заводе, а для себя на проезд взял у хозяина, и теперь у него было всего несколько рублей, которые он тратил на чай и свечи. "Душенька" потом извещала его, что ребенок умер, и спрашивала в письме, как поступить с деньгами. Это письмо принес со станции работник, Аглая перехватила и прочла, и потом каждый день попрекала Матвея "душенькой".

- Шутка, девятьсот рублей! - продолжала Аглая. - Отдал девятьсот рублей чужой гадюке, заводской кобыле, чтоб ты лопнул! - Она уже разошлась и кричала визгливо: - Молчишь? Я б тебя разорвала, лядащий! Девятьсот рублей, как копеечка! Ты бы под Дашутку подписал - своя, не чужая, - а то послал бы в Белев Марьиным сиротам несчастным. И не подавилась твоя гадюка, будь она трижды анафема проклята, дьяволица, чтоб ей светлого дня не дожидаться!

Яков Иваныч окликнул ее; было уже время начинать часы. Она улылась, надела белую косыночку и пошла в молельную к своему любимому брату уже тихая, скромная. Когда она говорила с Матвеем или в трактире подавала мужикам чай, то это была тощая, остроглазая, злая старуха, в

молельной же лицо у нее было чистое, умиленное, сама она как-то вся молодела, манерно приседала и даже складывала сердечком губы.

Яков Иваныч начал читать часы тихо и заунывно, как он читал всегда в Великий пост. Почитав немного, он остановился, чтобы прислушаться к покою, какой был во всем доме, и потом продолжал опять читать, испытывая удовольствие; он молитвенно складывал руки, закатывал глаза, покачивал головой, вздыхал. Но вдруг послышались голоса. К Матвею пришли в гости жандарм и Сергей Никанорыч. Яков Иваныч стеснялся читать вслух и петь, когда в доме были посторонние, и теперь, услышав голоса, стал читать шепотом и медленно. В молельной было слышно, как буфетчик говорил:

- Татарин в Щепове сдает свое дело за полторы тысячи. Можно дать ему теперь пятьсот, а на остальные вексель. Так вот, Матвей Васильич, будьте столь благонадежны, одолжите мне эти пятьсот рублей. Я вам два процента в месяц.

- Какие у меня деньги! - изумился Матвей. - Какие у меня деньги!

- Два процента в месяц, это для вас как с неба, - объяснял жандарм. - А лежавши у вас, ваши деньги только моль ест и больше никакого результата.

Потом гости ушли, и наступило молчание. Но едва Яков Иваныч начал опять читать вслух и петь, как из-за двери послышался голос:

- Братец, позвольте мне лошади в Веденяпино съездить!

Это был Матвей. И у Якова на душе стало опять непокойно.

- На чем же вы поедете? - спросил он, подумав. - На гнедом работник свинью повез, а на жеребчике я сам поеду в Шутейкино, вот как кончу.

- Братец, почему это вы можете распоряжаться лошадьми, а я нет? спросил с раздражением Матвей.

- Потому что я не гулять, а по делу.

- Имущество у нас общее, значит, и лошади общие, и вы это должны понимать, братец.

Наступило молчание. Яков не молился и ждал, когда отойдет от двери Матвей.

- Братец, - говорил Матвей, - я человек больной, не хочу я имения. Бог с ним, владейте, но дайте хоть малую часть на пропитание в моей болезни. Дайте, и я уйду.

Яков молчал. Ему очень хотелось развязаться с Матвеем, но дать ему денег он не мог, так как все деньги были при деле; да и во всем роду Тереховых не было еще примера, чтобы братья делились; делиться разориться.

Яков молчал и всё ждал, когда уйдет Матвей, и всё смотрел на сестру, боясь, как бы она не вмешалась и не началась бы опять брань, какая была утром. Когда, наконец, Матвей ушел, он продолжал читать, но уже удовольствия не было, от земных поклонов тяжелела голова и темнело в глазах, и било скучно слушать свой тихий, заунывный голос. Когда такой упадок духа бывал у него по ночам, то он объяснял ею тем, что не было сна, днем же это его пугало и ему начинало казаться, что на голове и на плечах у него сидят бесы.

Кончив кое-как часы, недовольный и сердитый, он поехал в Шутейкино. Еще осенью землекопы рыли около Прогонной межевую канаву и прохарчили в трактире 18 рублей, и теперь нужно было застать в Шутейкине их подрядчика и получить с него эти деньги. От тепла и метелей дорога испортилась, стала темною и ухабистою и местами уже проваливалась; снег по бокам осел

ниже дороги, так что приходилось ехать, как по узкой насыпи, и сворачивать при встречах было очень трудно. Небо хмурилось еще с утра, и дул сырой ветер...

Навстречу ехал длинный обоз: бабы везли кирпич. Яков должен был свернуть с дороги; лошадь его вошла в снег по брюхо, сани-одиночки накренились вправо, и сам он, чтобы не свалиться, согнулся влево и сидел так всё время, пока мимо него медленно подвигался обоз; он слышал сквозь ветер, как скрипели сани и дышали тощие лошади и как бабы говорили про него: "Богомолов едет", - а одна, поглядев с жалостью на его лошадь, сказала быстро:

- Похоже, снег до Егория пролежит. Замучились!

Яков сидел неудобно, согнувшись, и щурил глаза от ветра, а перед ним всё мелькали то лошади, то красный кирпич. И, быть может, оттого, что ему было неудобно и болел бок, вдруг ему стало досадно, и дело, по которому он теперь ехал, показалось ему неважным, и он сообразил, что можно было бы в Шутейкино послать завтра работника. Опять почему-то, как в прошлую бессонную ночь, он вспомнил слова про верблюда и затем полезли в голову разные воспоминания то о мужике, который продавал краденую лошадь, то о пьянице, то о бабах, которые приносили ему в заклад самовары. Конечно, каждый купец старается взять больше, но Яков почувствовал утомление оттого, что он торговец, ему захотелось уйти куда-нибудь подальше от этого порядка и стало скучно от мысли, что сегодня ему еще надо читать вечерню. Ветер бил ему прямо в лицо и шуршал в воротнике, и казалось, что это он нашептывал ему все эти мысли, принося их с широкого белого поля... Глядя на это поле, знакомое ему с детства, Яков вспоминал, что точно такая же тревога и те же мысли были у него в молодые годы, когда на него находили мечтания и колебалась вера.

Ему было жутко оставаться одному в поле; он повернул назад и тихо поехал за обозом, а бабы смеялись и говорили:

- Богомолов вернулся.

Дома, по случаю поста, ничего не варили и не ставили самовара, и день поэтому казался очень длинным. Яков Иваныч давно уже убрал лошадь, отпустил муки на станцию и два раза принимался читать псалтирь, а до вечера всё еще было далеко. Аглая вымыла уже все полы, и, от нечего делать, убирала у себя в сундуке, крышка которого изнутри была вся оклеена ярлыками с бутылок. Матвей, голодный и грустный, сидел и читал или же подходил к голландской печке и подолгу осматривал изразцы, которые напоминали ему завод. Дашутка спала, потом, проснувшись, пошла поить скотину. У нее, когда она доставала воду из колодца, оборвалась веревка и ведро упало в воду. Работник стал искать багор, чтобы вытащить ведро, а Дашутка ходила за ним по грязному снегу, босая, с красными, как у гусыни, ногами и повторяла: "Там глыбля!" Она хотела сказать, что в колодце глубже, чем может достать багор, но работник не понимал ее, и, очевидно, она надоела ему, так как он вдруг обернулся и выбранил ее нехорошими словами. Яков Иваныч, вышедший в это время на двор, слышал, как Дашутка ответила работнику скороговоркой длиною, отборною бранью, которой она могла научиться только в трактире у пьяных мужиков.

- Что ты, срамница? - крикнул он ей и даже испугался. - Какие это ты слова?

А она глядела на отца с недоумением, тупо, не понимая, почему нельзя произносить таких слов. Он хотел прочесть ей наставление, но она показалась ему такою дикою, темною, и в первый раз за всё время, пока она была у него, он сообразил, что у нее нет никакой веры. И вся эта жизнь в лесу, в снегу, с пьяными мужиками, с бранью представилась ему такою же дикою и темной, как эта девушка, и, вместо того, чтобы читать ей наставление, он только махнул рукой и вернулся в комнату.

В это время опять пришли к Матвею жандарм и Сергей Никанорыч. Яков Иваныч вспомнил, что у этих людей тоже нет никакой веры и что это их несколько не беспокоит, и жизнь стала казаться ему странною, безумною и беспросветною, как у собаки; он без шапки прошелся по двору, потом

вышел на дорогу и ходил, сжав кулаки, - в это время пошел снег хлопьями, - борода у него развевалась по ветру, он всё встряхивал головой, так как что-то давило ему голову и плечи, будто сидели на них бесы, и ему казалось, что это ходит не он, а какой-то зверь, громадный, страшный зверь, и что если он закричит, то голос его пронесется ревом по всему полю и лесу и испугает всех...

## V

Когда он вернулся в дом, жандарма уже не было, и буфетчик сидел в комнате Матвея и считал что-то на счетах. Он и раньше часто, почти каждый день, бывал в трактире; прежде ходил к Якову Иванычу, а в последнее время к Матвею. Он всё считал на счетах, и при этом лицо его напрягалось и потело, или просил денег, или, разглаживая бакены, рассказывал о том, как когда-то на первоклассной станции он приготавливал для офицеров крющон и на парадных обедах сам разливал стерляжью уху. На этом свете его ничто не интересовало, кроме буфетов, и умел он говорить только о кушаньях, сервировках, винах. Однажды, подавая чай молодой женщине, которая кормила грудью ребенка, и желая сказать ей что-нибудь приятное, он выразился так:

- Грудь матери, это - буфет для младенца.

Считая на счетах в комнате Матвея, он просил денег, говорил, что на Прогонной ему уже нельзя жить, и несколько раз повторил таким тоном, как будто собирался заплакать:

- Куда же я пойду? Куда я теперь пойду, скажите на милость?

Потом Матвей пришел в кухню и стал чистить вареный картофель, который он припрятал, вероятно, со вчерашнего дня. Было тихо, и Якову Иванычу показалось, что буфетчик ушел. Давно уже была пора начинать вечерню: он позвал Аглаю и, думая, что в доме нет никого, запел без стеснения, громко. Он пел и читал, но мысленно произносил другие слова: "Господи, прости! господи, спаси!" -и один за другим, не переставая, клал земные поклоны, точно желая утомить себя, и всё встряхивал головой, так что Аглая смотрела на него с удивлением. Он боялся, что войдет Матвей, и был уверен, что он войдет и чувствовал против чего злобу, которой не мог одолеть ни молитвой, ни частыми поклонами.

Матвей тихо-тихо отворил дверь и вошел в молельную.

- Грех, какой грех! - сказал он укоризненно и вздохнул. - Покайтесь! Опомнитесь, братец!

Яков Иваныч, сжав кулаки, не глядя на него, чтобы не ударить, быстро вышел из молельной. Так же, как давеча на дороге, чувствуя себя громадным, страшным зверем, он прошел через сени в серую, грязную, пропитанную туманом и дымом половину, где обыкновенно мужики пили чай, и тут долго ходил из угла в угол, тяжело ступая, так что звенела посуда на полках и шатались столы. Ему уже было ясно, что сам он недоволен своею верой и уже не может молиться по-прежнему. Надо было каяться, надо было опомниться, образумиться, жить и молиться как-нибудь иначе. Но как молиться? А, может быть, всё это только смущает бес и ничего этого не нужно?.. Как быть? Что делать? Кто может научить? Какая беспомощность! Он остановился и, взявшись за голову, стал думать, но то, что близко находился Матвей, мешало ему спокойно соображать. И он быстро пошел в комнаты.

Матвей сидел в кухне перед чашкой с картофелем и ел. Тут же около печи сидели друг против друга Аглая и Дашутка и мотали нитки. Между печью и столом, за которым сидел Матвей, была протянута гладильная доска; на ней стоял холодный утюг.

- Сестрина, - попросил Матвей, - позвольте мне маслица!

- Кто же в такой день масло ест? - спросила Аглая.

- Я, сестрица, не монах, а мирянин. А по слабости здоровья мне не то что масло, даже молоко можно.

- Да, у вас на заводе всё можно.

Аглая достала с полки бутылку с постным маслом и поставила ее перед Матвеем, сердито стукнув, с злорадной улыбкой, очевидно, довольная, что он такой грешник.

- А я тебе говорю, ты не можешь есть масла! - крикнул Яков.

Аглая и Дашутка вздрогнули, а Матвей, точно не слышал, налил себе масла в чашку и продолжал есть.

- А я тебе говорю, ты не можешь есть масло! - крикнул Яков еще громче, покраснел весь и вдруг схватил чашку, поднял ее выше головы и изо всей силы ударил оземь, так что полетели черепки. - Не смей говорить! - крикнул он неистовым голосом, хотя Матвей не сказал ни слова. - Не смей! - повторил он и ударил кулаком по столу.

Матвей побледнел и встал.

- Братец! - сказал он, продолжая жевать. - Братец, опомнитесь!

- Вон из моего дома сию минуту! - крикнул Яков; ему были противны морщинистое лицо Матвея, и его голос, и крошки на усах, и то, что он жует. - Вон, тебе говорят!

- Братец, уймись! Вас обуяла гордость бесовская!

- Молчи! (Яков застучал ногами.) Уходи, дьявол!

- Вы, ежели желаете знать, - продолжал Матвей громко, тоже начиная сердиться, - вы богоотступник и еретик. Бесы окаянные заслонили от вас истинный свет, ваша молитва не угодна Богу. Покайтесь, пока не поздно! Смерть грешника люта! Покайтесь, братец!

Яков взял его за плечи и потащил из-за стола, а он еще больше побледнел и, испугавшись, смутившись, забормотал: "Что ж оно такое? Что ж оно такое?" -и, упираясь, делая усилия, чтобы высвободиться из рук Якова, нечаянно ухватился за его рубаху около шеи и порвал воротник, а Аглае показалось, что это он хочет бить Якова, она вскрикнула, схватила бутылку с постным маслом и изо всей силы ударила ею ненавистного брата прямо по темени. Матвей пошатнулся, и лицо его в одно мгновение стало спокойным, равнодушным: Яков, тяжело дыша, возбужденный и испытывая удовольствие оттого, что бутылка, ударившись о голову, крякнула, как живая, не давал ему упасть и несколько раз (это он помнил очень хорошо) указал Аглае пальцем на утюг, и только когда полилась по его рукам кровь и послышался громкий плач Дашутки, и когда с шумом упала гладильная доска и на нее грузно повалился Матвей, Яков перестал чувствовать злобу и понял, что произошло.

- Пусть издыхает, заводский жеребец! - с отвращением проговорила Аглая, не выпуская из рук утюга; белый, забрызганный кровью платочек сполз у нее на плечи, и седые волосы распустились. - Туда ему и дорога!

Всё было страшно. Дашутка сидела на полу около печки с нитками в руках, всхлипывала и всё кланялась, произнося с каждым поклоном: "гам! гам!" Но ничто не было так страшно для Якова, как вареный картофель в крови, на который он боялся наступить, и было еще нечто страшное, что угнетало его, как тяжкий сон, и казалось самым опасным и чего он никак не мог понять в первую минуту. Это был буфетчик Сергей Никанорыч, который стоял на пороге со счетами в руках, очень бледный, и с ужасом смотрел на то, что происходило в кухне. Только когда он повернулся и быстро пошел в сени, а оттуда наружу, Яков понял, кто это, и пошел за ним.

Вытирая на ходу руки о снег, он думал. Промелькнула мысль о том, что работник отпросился ночевать к себе в деревню и ушел уже давно; вчера резали свинью, и громадные кровавые пятна были на снегу, на саях и даже одна сторона колодезного сруба была обрызгана кровью, так что если бы теперь вся семья Якова была в крови, то это не могло бы показаться подозрительным. Скрывать



убийство было бы мучительно, но то, что явится со станции жандарм, который будет посвистывать и насмешливо улыбаться, придут мужики и крепко свяжут руки Якову и Аглае и с торжеством поведут их в волость, а оттуда в город, и дорогой все будут указывать на них и весело говорить: "Богомолочных ведут!" - это представлялось Якову мучительнее всего, и хотелось протянуть как-нибудь время, чтобы пережить этот срам не теперь, а когда-нибудь после.

- Я вам могу одолжить тысячу рублей... - сказал он, догнав Сергея Никанорыча. - Если вы кому скажете, то от этого никакой пользы... а человека все равно не воскресить, - и, едва поспевая за буфетчиком, который не оглядывался и старался идти всё скорее, он продолжал: - И полторы тысячи могу дать...

Он остановился, потому что запыхался, а Сергей Никанорыч пошел дальше всё так же быстро, вероятно, боясь, чтобы его также не убили. Только миновав переезд и пройдя половину шоссе, которое вело от переезда до станции, он мельком оглянулся и пошел тише. На станции и по линии уже горели огни, красные и зеленые; ветер утих, но снег всё еще сыпался хлопьями и дорога опять побелела. Но вот почти около самой станции Сергей Никанорыч остановился, подумал минуту и решительно пошел назад. Становилось темно. - Пожалуйста полторы тысячи, Яков Иванович, - сказал он тихо, дрожа всем телом. - Я согласен.

## VI

Деньги Якова Ивановича лежали в городском банке и были розданы под вторые закладные; дома у себя он держал немного, только то, что нужно было для оборота. Войдя в кухню, он нащупал жестянку со спичками и, пока синим огнем горела сера, успел разглядеть Матвея, который лежал по-прежнему на полу около стола, но уже был накрыт белой простыней, и были видны только его сапоги. Кричал сверчок. Аглаи и Дашутки не было в комнатах: обе они сидели в чайной за прилавком и молча мотали нитки. Яков Иванович с лампочкой прошел к себе в комнату и вытащил из-под кровати сундучок, в котором держал расхожие деньги. В этот раз набралось всего четыреста двадцать одними мелкими бумажками и серебра на тридцать пять рублей; от бумажек шел нехороший, тяжелый дух. Забрав деньги в шапку, Яков Иванович вышел на двор, потом за ворота. Он шел и глядел по сторонам, но буфетчика не было.

- Гоп! - крикнул Яков.

У самого переезда от шлагбаума отделилась темная фигура и нерешительно пошла к нему.

- Что вы всё ходите и ходите? - проговорил Яков с досадой, узнав буфетчика. - Вот вам: тут немного не хватило до пятисот... Дома нет больше.

- Хорошо... Очень вам благодарен, - бормотал Сергей Никанорыч, хватая деньги с жадностью и запихивая их в карманы; он весь дрожал, и это было заметно, несмотря на потемки. - А вы, Яков Иванович, будьте покойны... К чему мне болтать? Мое дело такое, я был да ушел. Как говорится, знать ничего не знаю, ведать не ведаю... - и тут же добавил со вздохом: - Жизнь проклятая!

Минуту стояли молча, не глядя друг на друга.

- Так это у вас, из пустяков, Бог его знает как... - сказал буфетчик, дрожа. - Сижу я, считаю себе и вдруг шум... Гляжу в дверь, а вы из-за постного масла... Где он теперь?

- Лежит там в кухне.

- Вы бы его свезли куда... Что ждать?

Яков проводил его до станции молча, потом вернулся домой и запряг лошадь, чтобы везти Матвея в Лимарово. Он решил, что свезет его в Лимаровский лес и оставит там на дороге, а потом будет говорить всем, что Матвей ушел в Веденяпино и не возвращался, и все тогда подумают, что

его убили прохожие. Он знал, что этим никого не обманешь, но двигаться, делать что-нибудь, хлопотать было не так мучительно, как сидеть и ждать. Он кликнул Дашутку и вместе с ней повез Матвея. А Аглая осталась убирать в кухне.

Когда Яков и Дашутка возвращались назад, их задержал у переезда опущенный шлагбаум. Шел длинный товарный поезд, который тащили два локомотива, тяжело дыша и выбрасывая из поддувал снопы багрового огня. На переезде в виду станции передний локомотив издал пронзительный свист.

- Свистить... - проговорила Дашутка.

Поезд, наконец, прошел, и сторож не спеша поднял шлагбаум.

- Это ты, Яков Иваныч? - сказал он. - Не узнал, богатым быть.

А потом, когда приехали домой, надо было спать. Аглая и Дашутка легли рядом, постлавши себе в чайной на полу, а Яков расположился на прилавке. Перед тем, как ложиться, Богу не молились и лампад не зажигали. Все трое не спали до самого утра, но не промолвили ни одного слова, и казалось им всю ночь, что наверху в пустом этаже кто-то ходит.

Через два дня приехали из города становой пристав и следователь и сделали обыск сначала в комнате Матвея, потом во всем трактире. Допрашивали прежде всего Якова, и он показал, что Матвей в понедельник под вечер ушел в Веденяпино говеть и что, должно быть, дорогой его убили пильщики, работающие теперь по линии. А когда следователь спросил его, почему же так случилось, что Матвея нашли на дороге, а шапка его оказалась дома, - разве он пошел в Веденяпино без шапки? И почему около него на дороге на снегу не нашли ни одной капли крови, в то время как голова у него была проломлена и лицо и грудь были черны от крови, Яков смутился, растерялся и ответил:

- Не могу знать.

И произошло именно то, чего так боялся Яков: приходил жандарм, урядник курил в молельной, и Аглая набросилась на него с бранью и нагрубил становому приставу, и когда потом Якова и Аглаю вели со двора, у ворот толпились мужики и говорили: "Богомолова ведут!" - и казалось, все были рады.

Жандарм на допросе показал прямо, что Матвея убили Яков и Аглая, чтобы не делиться с ним, и что у Матвея были свои деньги, и если их не оказалось при обыске, то, очевидно, ими воспользовались Яков и Аглая. И Дашутку спрашивали. Она сказала, что дядя Матвей и тетка Аглая каждый день бранились и чуть не дрались из-за денег, а дядя был богатый, так как он даже какой-то своей душеньке подарил девятьсот рублей.

Дашутка осталась в трактире одна; никто уж не приходил пить чай и водку, и она то убирала в комнатах, то пила мед и ела баранки; но через несколько дней допрашивали сторожа на переезде, и он сказал, что в понедельник поздно вечером видел, как Яков ехал с Дашуткой из Лимарова. Дашутку тоже арестовали, повели в город и посадили в острог. Вскорости, со слов Аглаи, стало известно, что во время убийства присутствовал Сергей Никанорыч; у него сделали обыск и нашли деньги в необычном месте, в валенке под печкой, и деньги всё были мелкие, одних рублевых бумажек было триста. Он божился, что эти деньги он наторговал и что в трактире он не был уже более года, а свидетели показали, что он был беден и в последнее время сильно нуждался в деньгах и ходил в трактир каждый день, чтобы взять у Матвея займы, и жандарм рассказал, как в день убийства сам он два раза ходил с буфетчиком в трактир, чтобы помочь ему сделать заем. Вспомнили кстати, что в понедельник вечером Сергей Никанорыч не выходил к товаро-пассажирскому поезду, а уходил куда-то. И его тоже арестовали и отправили в город.

Через одиннадцать месяцев был суд.

Яков Иваныч сильно постарел, похудел и говорил уже тихо, как больной. Он чувствовал себя слабым, жалким, ниже всех ростом, и было похоже на то, как будто от мучений совести и мечтаний, которые не покидали его и в тюрьме, душа его так же постарела и отошала, как тело. Когда зашла речь о том, что он не ходит в церковь, председатель спросил его:

- Вы раскольник?

- Не могу знать, - ответил он.

Он не имел уже никакой веры, ничего не знал и не понимал, а прежняя вера была ему теперь противна и казалась неразумной, темной. Аглая не смирилась нисколько и продолжала бранить покойного Матвея, обвиняя его во всех несчастиях. У Сергея Никанорыча на месте бакенов выросла борода; на суде он потел, краснел и, видимо, стыдился серого халата и того, что его посадили на одну скамью с простыми мужиками. Он неловко оправдывался и, желая доказать, что в трактире он не был целый год, вступал в спор с каждым свидетелем, и публика смеялась над ним. Дашутка, пока была в тюрьме, пополнела; на суде она не понимала вопросов, которые задавали ей, и сказала только, что когда дядю Матвея убивали, то она очень испугалась, а потом ничего.

Все четверо были признаны виновными в убийстве с корыстной целью. Яков Иваныч был приговорен к каторжным работам на двадцать лет, Аглая - на тринадцать с половиной, Сергей Никанорыч - на десять, Дашутка - на шесть.

## VII

На Дуэском рейде на Сахалине поздно вечером остановился иностранный пароход и потребовал угля. Просили командира подождать до утра, но он не пожелал ждать и одного часа, говоря, что если за ночь погода испортится, то он рискует уйти без угля. В Татарском проливе погода может резко измениться в какие-нибудь полчаса, и тогда сахалинские берега становятся опасны. А уже свежело и разводило порядочную волну.

Из Воеводской тюрьмы, самой неприглядной и суровой из всех сахалинских тюрем, погнали в рудник партию арестантов. Предстояло нагружать углем баржи, затем тащить их на буксире парового катера к борту парохода, который стоял более чем в полуверсте от берега, и там должна была начаться перегрузка - мучительная работа, когда баржу бьет о пароход и рабочие едва держатся на ногах от морской болезни. Каторжные, только что поднятые с постелей, сонные, шли по берегу, спотыкаясь в потемках и звеня кандалами. Налево был едва виден высокий крутой берег, чрезвычайно мрачный, а направо была сплошная, беспросветная тьма, в которой стонало море, издавая протяжный, однообразный звук: "а... а... а... а...", и только когда надзиратель закуривал трубку и при этом мельком освещался конвойный с ружьем и два-три ближайших арестанта с грубыми лицами, или когда он подходил с фонарем близко к воде, то можно было разглядеть белые гребни передних волн.

В этой партии находился Яков Иваныч, прозванный на каторге Веником за свою длинную бороду. По имени и отчеству его давно уже никто не величал, а звали просто Яшкой. Был он здесь на плохом счету, так как месяца через три по прибытии на каторгу, чувствуя сильную, непобедимую тоску по родине, он поддался искушению и бежал, а его скоро поймали, присудили к бессрочной каторге и дали ему сорок плетей; потом его еще два раза наказывали розгами за растрату казенного платья, хотя это платье в оба раза было у него украдено. Тоска по родине началась у него с тех самых пор, как его везли в Одессу и арестантский поезд остановился ночью на Прогонной, и Яков, припав к окну, старался увидеть родной двор и ничего не увидел впотьмах.

Не с кем было поговорить о родной стороне. Сестру Аглаю отправили на каторгу через Сибирь, и было неизвестно, где она теперь. Дашутка была на Сахалине, но ее отдали какому-то поселенцу в сожительницы, в дальнее селение; слухов о ней не было никаких, и раз только один

поселенец, попавший в Воеводскую тюрьму, рассказывал Якову, будто Дашутка имела уже троих детей. Сергей Никанорыч служил лакеем у чиновника тут же недалеко, в Дуэ, но нельзя было рассчитывать повидаться с ним когда-нибудь, так как он стыдился знакомства с каторжными из простого звания.

Партия пришла в рудник и расположилась на пристани. Говорили, что нагрузки не будет, так как погода всё портится и пароход будто бы собирается уходить. Видно было три огня. Один из них двигался: это паровой катер ходил к пароходу и теперь, кажется, уже возвращался, чтобы сообщить, будет работа или нет. Дрожа от осеннего холода и морской сырости, кутаясь в свой короткий, рваный полушубок, Яков Иваныч пристально, не мигая, смотрел в ту сторону, где была родина. С тех пор, как он пожил в одной тюрьме вместе с людьми, пригнанными сюда с разных концов, - с русскими, хохлами, татарами, грузинами, китайцами, чухной, цыганами, евреями, и с тех пор, как прислушался к их разговорам, нагляделся на их страдания, он опять стал возноситься к Богу, и ему казалось, что он, наконец, узнал настоящую веру, ту самую, которой так жаждал и так долго искал и не находил весь его род, начиная с бабки Авдотьи. Всё уже он знал и понимал, где Бог и как должно ему служить, но было непонятно только одно, почему жребий людей так различен, почему эта простая вера, которую другие получают от Бога даром вместе с жизнью, досталась ему так дорого, что от всех этих ужасов и страданий, которые, очевидно, будут без перерыва продолжаться до самой его смерти, у него трясутся, как у пьяницы, руки и ноги? Он вглядывался напряженно в потемки, и ему казалось, что сквозь тысячи верст этой тьмы он видит родину, видит родную губернию, свой уезд, Прогонную, видит темноту, дикость, бессердечие и тупое, суровое, скотское равнодушие людей, которых он там покинул; зрение его туманилось от слез, но он всё смотрел вдаль, где еле-еле светились бледные огни парохода, и сердце щемило от тоски по родине, и хотелось жить, вернуться домой, рассказать там про свою новую веру и спасти от гибели хотя бы одного человека и прожить без страданий хотя бы один день.

Катер пришел, и надзиратель объявил громко, что нагрузки не будет.

- Назад! - скомандовал он. - Смирно!

Было слышно, как на пароходе убрали якорную цепь. Дул уже сильный, пронзительный ветер, и где-то вверху на крутом берегу скрипели деревья. Вероятно, начинался шторм.

## Мужики

Лакей при московской гостинице "Славянский Базар", Николай Чикильдеев, заболел. У него онемели ноги и изменилась походка, так что однажды, идя по коридору, он споткнулся и упал вместе с подносом, на котором была ветчина с горошком. Пришлось оставить место. Какие были деньги, свои и женины, он пролечил, кормиться было уже не на что, стало скучно без дела, и он решил, что, должно быть, надо ехать к себе домой, в деревню. Дома и хворать легче, и жить дешевле; и недаром говорится: дома стены помогают.

Приехал он в свое Жуково под вечер. В воспоминаниях детства родное гнездо представлялось ему светлым, уютным, удобным, теперь же, войдя в избу, он даже испугался: так было темно, тесно и нечисто. Приехавшие с ним жена Ольга и дочь Саша с недоумением поглядывали на большую неопрятную печь, занимавшую чуть ли не пол-избы, темную от копоти и мух. Сколько мух! Печь покосилась, бревна в стенах лежали криво, и казалось, что изба сию минуту развалится. В переднем углу, возле икон, были наклеены бутылочные ярлыки и обрывки газетной бумаги -это вместо картин. Бедность, бедность! Из взрослых никого не было дома, все жали. На печи сидела девочка лет восьми, белоголовая, немая, равнодушная; она даже не взглянула на вошедших. Внизу терлась о рогач белая кошка.

- Кис, кис! - поманила ее Саша. - Кис!

- Она у нас не слышит, - сказала девочка. - Оглохла.

- Отчего?

- Так. Побили.

Николай и Ольга с первого взгляда поняли, какая тут жизнь, но ничего не сказали друг другу; молча свалили узлы и вышли на улицу молча. Их изба была третья с краю и казалась самою бедною, самою старою на вид; вторая не лучше, зато у крайней -железная крыша и занавески на окнах. Эта изба, неогороженная стояла особняком и в ней был трактир. Избы шли в один ряд, и вся деревушка, тихая и задумчивая, с глядевшими из дворов ивами, бузиной и рябиной, имела приятный вид.

За крестьянскими усадьбами начинался спуск к реке, крутой и обрывистый, так что в глине, там и сям, обнажились громадные камни. По скату, около этих камней и ям, вырытых гончарами, вились тропинки, целыми кучами были навалены черепки битой посуды, то бурые, то красные, а там внизу расстилался широкий, ровный, ярко-зеленый луг, уже скошенный, на котором теперь гуляло крестьянское стадо. Река была в версте от деревни, извилистая, с чудесными кудрявыми берегами, за нею опять широкий луг, стадо, длинные вереницы белых гусей, потом так же, как на этой стороне, крутой подъем на гору, а вверху, на горе, село с пятиглавою церковью и немного поодаль господский дом.

- Хорошо у вас здесь! - сказала Ольга, крестясь на церковь. Раздолье, Господи!

Как раз в это время ударили ко всенощной (был канун воскресенья). Две маленькие девочки, которые внизу тащили ведро с водой, оглянулись на церковь, чтобы послушать звон.

- Об эту пору в "Славянском Базаре" обеда... -проговорил Николай мечтательно.

Сидя на краю обрыва, Николай и Ольга видели, как заходило солнце, как небо, золотое и багровое, отражалось в реке, в окнах храма и во всем воздухе, нежном, покойном, невыразимо-чистом, какого никогда не бывает в Москве. А когда солнце село, с бляньем и ревом прошло стадо, прилетели с той стороны гуси, - и все смолкло, тихий свет погас в воздухе и стала быстро надвигаться вечерняя темнота.

Между тем вернулись старики, отец и мать Николая, тощие, сгорбленные, беззубые, оба одного роста. Пришли и бабы - невестки, Марья и Фекла, работавшие за рекой у помещика. У Марьи, жены брата Кирьяка, было шестеро детей, у Феклы, жены брата Дениса, ушедшего в солдаты, - двое; и когда Николай, войдя в избу, увидел все семейство, все эти большие и маленькие тела, которые шевелились на полатах, в люльках и во всех углах, и когда увидел, с какою жадностью старик и бабы ели черный хлеб, макая его в воду, то сообразил, что напрасно он сюда приехал, больной, без денег да еще с семьей, -напрасно!

- А где брат Кирьяк? - спросил он, когда поздоровались.

- У купца в сторожах живет, - ответил отец, - в лесу. Мужик бы ничего, да заливает шибко.

- Не добычик! - проговорила старуха слезливо. - Мужики наши горькие, не в дом несут, а из дому. И Кирьяк пьет, и старик тоже, греха таить нечего, знает в трактир дорогу. Прогневалась Царица Небесная.

По случаю гостей поставили самовар. От чая пахло рыбой, сахар был огрызанный и серый, по хлебу и посуде сновали тараканы; было противно пить, и разговор был противный - все о нужде да о болезнях. Но не успели выпить и по чашке, как со двора донесся громкий, протяжный пьяный крик:

- Ма-арья!

- Похоже, Кирьяк идет, - сказал старик, -легок на помине.

Все притихли. И немного погодя, опять тот же крик, грубый и протяжный, точно из-под земли:

- Ма-арья!

Марья, старшая невестка, побледнела, прижалась к печи, и как-то странно было видеть на лице у этой широкоплечей, сильной, некрасивой женщины выражение испуга. Ее дочь, та самая девочка, которая сидела на печи и казалась равнодушной, вдруг громко заплакала.

- А ты чего, холера? - крикнула на нее Фекла, красивая баба, тоже сильная и широкая в плечах.

Небось, не убьет!

От старика Николай узнал, что Марья боялась жить в лесу с Кирьяком и что он, когда бывал пьян, приходил всякий раз за ней и при этом шумел и бил ее без пощады.

- Ма-арья! - раздался крик у самой двери.

- Вступитесь Христа ради, родименькие, -залепетала Марья, дыша так, точно ее опускали в очень холодную воду, - вступитесь, родименькие...

Заплакали все дети, сколько их было в избе, и, глядя на них, Саша тоже заплакала. Послышался пьяный кашель, и в избу вошел высокий чернобородый мужик в зимней шапке и оттого, что при тусклом свете лампочки не было видно его лица, - страшный. Это был Кирьяк. Подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу, она же не издала ни звука, ошеломленная ударом, и только присела, и тотчас же у нее из носа пошла кровь.

- Экой срам-то, срам, - бормотал старик, полезая на печь, - при гостях-то! Грех какой!

А старуха сидела молча, сторбившись, и о чем-то думала; Фекла качала люльку... Видимо, сознавая себя страшным и довольный этим, Кирьяк схватил Марью за руку, потащил ее к двери и зарычал зверем, чтобы казаться еще страшнее, но в это время вдруг увидел гостей и остановился.

- А, приехали... - проговорил он, выпуская жену, - Родной братец с семейством...

Он помолился на образ, пошатываясь, широко раскрывая свои пьяные, красные глаза, и продолжал:

- Братец с семейством приехали в родительский дом... из Москвы, значит. Первопрестольный, значит, град Москва, мать городов... Извините...

Он опустился на скамью около самовара и стал пить чай, громко хлебая из блюдечка, при общем молчании... Выпил чашек десять, потом склонился на скамью и захрапел.

Стали ложиться спать. Николая, как больного, положили на печи со стариком; Саша легла на полу, а Ольга пошла с бабами в сарай.

- И-и, касатка, - говорила она, ложась на сене рядом с Марьей, слезами горю не поможешь! Терпи и все тут. В писании сказано: аще кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему левую... И-и, касатка!

Потом она вполголоса, нараспев, рассказывала про Москву, про свою жизнь, как она служила горничной в меблированных комнатах.

- А в Москве дома большие, каменные, -говорила она, - церковей много-много, сорок сороков, касатка, а в домах всё господа, да такие красивые, да такие приличные!

Марья сказала, что она никогда не бывала не только в Москве, но даже в своем уездном городе; она была неграмотна, не знала никаких молитв, не знала даже "Отче наш". Она и другая невестка, Фекла, которая теперь сидела поодаль и слушала, - обе были крайне неразвиты и ничего не могли понять. Обе не любили своих мужей; Марья боялась Кирьяка, и когда он оставался с нею, то она тряслась от страха и возле него всякий раз угорала, так как от него сильно пахло водкой и табаком. А Фекла, на вопрос, не скучно ли ей без мужа, ответила с досадой;

- А ну его!

Поговорили и затихли...

Было прохладно, и около сарая во все горло кричал петух, мешая спать. Когда синеватый, утренний свет уже пробивался во все щели, Фекла потихоньку встала и вышла, и потом слышно было, как она побежала куда-то, стуча босыми ногами.

## II

Ольга пошла в церковь и взяла с собою Марью. Когда они спускались по тропинке к лугу, обоим было весело. Ольге нравилось раздолье, а Марья чувствовала в невестке близкого, родного человека. Восходило солнце. Низко над лугом носился сонный ястреб, река была пасмурна, бродил туман кое-где, но по ту сторону на горе уже протянулась полоса света, церковь сияла, и в господском саду неистово кричали грачи.

- Старик ничего, - рассказывала Марья, - а бабка строгая, дерется все. Своего хлеба хватило до масленой, покупаем муку в трактире, - ну, она сердает; много, говорит, едите.

- И-и, касатка! Терпи и все тут. Сказано: приидите все труждающие и обремененные.

Ольга говорила степенно, нараспев, и походка у нее была, как у богомолки, быстрая и суетливая. Она каждый день читала евангелие, читала вслух, по-дьячковски, и многого не понимала, но святые слова трогали ее до слез, и такие слова, как "аще" и "дондеже", она произносила со сладким замиранием сердца. Она верила в Бога, в Божью Матерь, в угодников; верила, что нельзя обижать никого на свете - ни простых людей, ни немцев, ни цыган, ни евреев, и что горе даже тем, кто не жалеет животных; верила, что так написано в святых книгах, и потому, когда она произносила слова из писания, даже непонятные, то лицо у нее становилось жалостливым, умиленным и светлым.

- Ты откуда родом? - спросила Марья.

- Я владимирская. А только я взята в Москву уже давно, восьми годочков.

Подошли к реке. На той стороне у самой воды стояла какая-то женщина и раздевалась.

- Это наша Фекла, - узнала Марья, - за реку на барский двор ходила. К приказчикам. Озорная и ругательная - страсть!

Фекла, чернобровая, с распущенными волосами, молодая еще и крепкая, как девушка, бросилась с берега и застучала по воде ногами, и во все стороны от нее пошли волны.

- Озорная - страсть! - повторила Марья.

Через реку были положены шаткие бревенчатые лавы, и как раз под ними, в чистой, прозрачной воде, ходили стаи широколобых голавлей. На зеленых кустах, которые смотрелись в воду, сверкала роса. Повеяло теплотой, стало отраднo. Какое прекрасное утро! И, вероятно, какая была бы прекрасная жизнь на этом свете, если бы не нужда, ужасная, безысходная нужда, от которой нигде не спрячешься! Стоило теперь только оглянуться на деревню, как живо вспомнилось все вчерашнее - и очарование счастья, какое чудилось кругом, исчезло в одно мгновение.

Пришли в церковь. Марья остановилась у входа и не посмела идти дальше. И сесть не посмела, хотя к обедне заблаговестили только в девятом часу. Так и стояла все время.

Когда читали евангелие, народ вдруг задвигался, давая дорогу помещицье семье: вошли две девушки в белых платьях, в широкополых шляпах, и с ними полный, розовый мальчик в матросском костюме. Их появление растрогало Ольгу: она с первого взгляда решила, что это - порядочные, образованные и красивые люди. Марья же глядела на них исподлобья, угрюмо, уныло, как будто это вошли не люди, а чудовища, которые могли бы раздавить ее, если б она не посторонилась.

А когда дьякон возглашал что-нибудь басом, то ей всякий раз чудился крик: "Ма-арья!" - и она вздрагивала.

### III

В деревне узнали о приезде гостей, и уже после обедни в избу набралось много народа. Пришли и Леонычевы, и Матвейчевы, и Ильичовы узнать про своих родственников, служивших в Москве. Всех жуковских ребят, которые знали грамоте, отвозили в Москву и отдавали там только в официанты и коридорные (как из села, что по ту сторону, отдавали только в булочники), и так повелось давно, еще в крепостное право, когда какой-то Лука Иваныч, жуковский крестьянин, теперь уже легендарный, служивший буфетчиком в одном из московских клубов, принимал к себе на службу только своих земляков, а эти, входя в силу, выписывали своих родственников и определяли их в трактиры и рестораны; и с того времени деревня Жуково иначе уже не называлась у окрестных жителей, как Хамская или Холуевка. Николая отвезли в Москву, когда ему было одиннадцать лет, и определял его на место Иван Макарыч, из семьи Матвейчевых, служивший тогда капельдинером в саду "Эрмитаж". И теперь, обращаясь к Матвейчевым, Николай говорил наставительно;

- Иван Макарыч - мой благодетель, и я обязан за него Бога молить денно и ночью, так как я через него стал хорошим человеком.

- Батюшка ты мой, - проговорила слезливо высокая старуха, сестра Ивана Макарыча, - и ничего про них, голубчика, не слыхать.

- Зимой служил он у Омона, а в нынешний сезон, был слух, где-то за городом, в садах... Постарел! Прежде, случалось, летним делом, приносил домой рублей по десять в день, а теперь повсеместно дела стали тихие, мается старичок.

Старухи и бабы глядели на ноги Николая, обутые в валенки, и на его бледное лицо и говорили печально:

- Не добычик ты, Николай Осипыч, не добычик! Где уж!

И все ласкали Сашу. Ей уже минуло десять лет, но она была мала ростом, очень худа, и на вид ей можно было дать лет семь, не больше. Среди других девочек, загоревших, дурно остриженных, одетых в длинные полинялые рубахи, она, беленькая, с большими, темными глазами, с красною ленточкой в волосах, казалась забавною, точно это был зверек, которого поймали в поле и принесли в избу.

- Она у меня и читать может! - похвалилась

Ольга, нежно глядя на свою дочь, - Почитай, детка! - сказала она, доставая из узла евангелие. - Ты почитай, а православные послушают.

Евангелие было старое, тяжелое, в кожаном переплете, с захватанными краями, и от него пахло так, будто в избу вошли монахи. Саша подняла брови и начала громко, нараспев:

- "Отшедшим же им, се ангел господень... во сне явился Иосифу, глаголя: "востав пойми отроча и мать его..."



- Отроча и мать его, - повторила Ольга и вся покраснелась от волнения.

- "И бежи во Египет... и буди тамо, дондеже реку ти..."

При слове "дондеже" Ольга не удержалась и заплакала. На нее глядя, всхлипнула Марья, потом сестра Ивана Макарыча. Старик закашлялся и засуетился, чтобы дать внучке гостинца, но ничего не нашел и только махнул рукой. И когда чтение кончилось, соседи разошлись по домам, растроганные и очень довольные Ольгой и Сашей.

По случаю праздника семья оставалась весь день дома. Старуха, которую и муж, и невестки, и внуки, все одинаково называли бабкой, старалась все делать сама: сама топила печь и ставила самовар, сама даже ходила напольшень и потом роптала, что ее замучили работой. И все она беспокоилась, как бы кто не съел лишнего куска, как бы старик и невестки не сидели без работы. То слышалось ей, что гуси трактирщика идут задами на ее огород, и она выбегала из избы с длинной палкой и потом с полчаса пронзительно кричала около своей капусты, дряблой и тощей, как она сама; то ей казалось, что ворона подбирается к цыплятам, и она с бранью бросалась на ворону. Сердилась и ворчала она от утра до вечера и часто поднимала такой крик, что на улице останавливались прохожие.

Со своим стариком она обращалась не ласково, обзывала его то лежебокой, то холерой. Это был неосновательный, ненадежный мужик, и, быть может, если бы она не понукала его постоянно, то он не работал бы вовсе, а только сидел бы на печи да разговаривал. Он подолгу рассказывал сыну про каких-то своих врагов, жаловался на обиды, которые он будто бы терпел каждый день от соседей, и было скучно его слушать.

- Да, - рассказывал он, взявшись за бока. - Да...

После Воздвижения через неделю продал я сено по тридцать копеек за пуд, добровольно... Да... Хорошо... Только это, значит, везу я утром сено добровольно, никого не трогаю; в недобрый час, гляжу - выходит из трактира староста Антип Седельников. "Куда везешь, такой-сякой?" - и меня по уху.

А у Кирьяка мучительно болела голова с похмелья, и ему было стыдно перед братом.

- Водка-то что делает. Ах, ты, Боже мой! - бормотал он, встряхивая своею больною головой.

Уж вы, братец и сестрица, простите Христа ради, сам не рад.

По случаю праздника купили в трактире селедку и варили похлебку из селедочной головки. В полдень все сели пить чай и пили его долго, до пота, и, казалось, распухли от чая, и уже после этого стали есть похлебку, все из одного горшка. А селедку бабка спрятала.

Вечером гончар на обрыве жег горшки. Внизу на лугу девушки водили хоровод и пели. Играли на гармонике. И на заречной стороне тоже горела одна печь и пели девушки, и издали это пение казалось стройным и нежным. В трактире и около шумели мужики; они пели пьяными голосами, все врозь, и бранились так, что Ольга только вздрагивала и говорила:

- Ах, батюшки!..

Ее удивляло, что брань слышалась непрерывно и что громче и долгие всех бранились старики, которым пора уже умирать. А дети и девушки слушали эту брань и нисколько не смущались, и видно было, что они привыкли к ней с колыбели.

Миновала полночь, уже потухли печи здесь и на той стороне, а внизу на лугу и в трактире всё еще гуляли. Старик и Кирьяк, пьяные, взявшись за руки, толкая друг друга плечами, подошли к сараю, где лежали Ольга и Марья.

- Оставь, - убеждал старик, - оставь... Она баба смиренная... Грех...

- Ма-арья! - крикнул Кирыяк.

- Оставь... Грех... Она баба ничего.

Оба постояли с минуту около сарая и пошли.

- Лю-эблю я цветы полевые-и! - запел вдруг старик высоким, пронзительным тенором. - Лю-эблю по лугам собирать!

Потом сплюнул, нехорошо выбранился и пошел в избу.

#### IV

Бабка поставила Сашу около своего огорода и приказала ей стеречь, чтобы не зашли гуси. Был жаркий августовский день. Гуси трактирщика могли пробраться к огороду задами, но они теперь были заняты делом, подбирали овес около трактира, мирно разговаривая, и только гусак поднимал высоко голову, как бы желая посмотреть, не идет ли старуха с палкой; другие гуси могли прийти снизу, но эти теперь паслись далеко за рекой, протянувшись по лугу длинной белой гирляндой. Саша постояла немного, соскучилась и, видя, что гуси не идут, отошла к обрыву.

Там она увидела старшую дочь Марьи, Мотьку, которая стояла неподвижно на громадном камне и глядела на церковь. Марья рожала тринадцать раз, но осталось у нее только шестеро и все - девочки, ни одного мальчика, и старшей было восемь лет. Мотька, босая, в длинной рубахе, стояла на припеке, солнце жгло ей прямо в темя, но она не замечала этого и точно окаменела. Саша стала с нею рядом и сказала, глядя на церковь:

- В церкви Бог живет. У людей горят лампы да свечи, а у Бога лампадки красненькие, зелененькие, синенькие, как глазочки. Ночью бог ходит по церкви, и с ним Пресвятая Богородица и Николай-угодничек - туп, туп, туп... А сторожу страшно, страшно! И-и, касатка, - добавила она, подражая своей матери. - А когда будет светопредставление, то все церкви унесутся на небо.

- С ко-ло-ко-ла-ми? - спросила Мотька басом, растягивая каждый слог.

- С колоколами. А когда светопредставление, добрые пойдут в рай, а сердитые будут гореть в огне вечно и неугасимо, касатка. Моей маме и тоже Марье Бог скажет: вы никого не обижали и за это идите направо, в рай; а Кирыяку и бабке скажет: а вы идите налево, в огонь. И кто скромное ел, того тоже в огонь.

Она посмотрела вверх на небо, широко раскрыв глаза, и сказала:

- Гляди на небо, не мигай, - ангелов видать. Мотька тоже стала смотреть на небо, и минута прошла в молчании.

- Видишь? - спросила Саша.

- Не видать, - проговорила Мотька басом.

- А я вижу. Маленькие ангелочки летают по небу и крылышками - мельк, мельк, будто комарики.

Мотька подумала немного, глядя в землю, и спросила:

- Бабка будет гореть?

- Будет, касатка.

От камня до самого низа шел ровный, отлогий скат, покрытый мягкой зеленой травой, которую хотелось рукой потрогать или полежать на ней. Саша легла и скатилась вниз. Мотька с

серьезным, строгим лицом, отдуваясь, тоже легла и скатилась, и при этом у нее рубаша задралась до плеч.

- Как мне стало смешно! - сказала Саша в восторге.

Они обе пошли наверх, чтобы скатиться еще раз, но в это время послышался знакомый визгливый голос. О, как это ужасно! Бабка, беззубая, костлявая, горбатая, с короткими седыми волосами, которые развевались по ветру, длинною палкой гнала от огорода гусей и кричала:

- Всю капусту потолкли, окаянные, чтоб вам переколеть, трижды анафемы, язвы, нет на вас погибели!

Она увидела девочек, бросила палку, подняла хворостину и, схвативши Сашу за шею пальцами, сухими и твердыми, как рогульки, стала ее сечь. Саша плакала от боли и страха, а в это время гусак, переваливаясь с ноги на ногу и вытянув шею, подошел к старухе и прошипел что-то, и когда он вернулся к своему стаду, то все гусыни одобрительно приветствовали его: го-го-го! Потом бабка принялась сечь Мотьку, и при этом у Мотьки опять задралась рубаша. Испытывая отчаяние, громко плача. Саша пошла к избе, чтобы пожаловаться, за нею шла Мотька, которая тоже плакала, но басом, не вытирая слез, и лицо ее было уже так мокро, как будто она обмакнула его в воду.

- Батюшки мои! - изумилась Ольга, когда обе они вошли в избу. - Царица Небесная!

Саша начала рассказывать, и в это время с пронзительным криком и с бранью вошла бабка, рассердилась Фекла, и в избе стало шумно.

- Ничего, ничего! - утешала Ольга, бледная, расстроенная, глядя Сашу по голове. - Она - бабушка, на нее грех сердиться. Ничего, детка.

Николай, который был уже измучен этим постоянным криком, голодом, угаром, смрадом, который уже ненавидел и презирал бедность, которому было стыдно перед женой и дочерью за своих отца и мать, свесил с печи ноги и проговорил раздраженно, плачущим голосом, обращаясь к матери:

- Вы не можете ее бить! Вы не имеете никакого полного права ее бить!

- Ну, околеваешь там на печке, ледащий! - крикнула на него Фекла со злобой. - Принесла вас сюда нелегкая, дармоедов!

И Саша, и Мотька, и все девочки, сколько их было, забились на печи в угол, за спиной Николая, и оттуда слушали все это молча, со страхом, и слышно было, как стучали их маленькие сердца. Когда в семье есть больной, который болеет уже давно и безнадежно, то бывают такие тяжкие минуты, когда все близкие робко, тайно, в глубине души желают его смерти; и только одни дети боятся смерти родного человека и при мысли о ней всегда испытывают ужас. И теперь девочки, притаив дыхание, с печальным выражением на лицах, смотрели на Николая и думали о том, что он скоро умрет, и им хотелось плакать и сказать ему что-нибудь ласковое, жалостное.

Он прижимался к Ольге, точно ища у нее защиты, и говорил ей тихо, дрожащим голосом:

- Оля, милая, не могу я больше тут. Силы моей нет. Ради бога, ради Христа небесного, напиши ты своей сестрице Клавдии Абрамовне, пусть продает и закладывает все, что есть у ней, пусть высылает денег, мы уедем отсюда. О, Господи, - продолжал он с тоской, - хоть бы одним глазом на Москву взглянуть! Хоть бы она приснилась мне, матушка!

А когда наступил вечер и в избе потемнело, то стало так тоскливо, что трудно было выговорить слово. Сердитая бабка намочила ржаных корок в чашке и сосала их долго, целый час. Марья, подоив корову, принесла ведро с молоком и поставила на скамью; потом бабка переливала из ведра в кувшины, тоже долго, не спеша, видимо довольная, что теперь, в Успенев пост, никто не станет есть молока и оно все останется цело. И только немножко чуть-чуть, она отлила в блюдечко

для ребенка Феклы. Когда она и Марья понесли кувшины на погребницу, Мотька вдруг встрепенулась, сползла с печи и, подойдя к скамье, где стояла деревянная чашка с корками, плеснула в нее молока из блюдечка.

Бабка, вернувшись в избу, принялась опять за свои корки, а Саша и Мотька, сидя на печи, смотрели на нее, и им было приятно, что она оскоромилась и теперь уж наверное пойдет в ад. Они утешились и легли спать, и Саша, засыпая, воображала страшный суд: горела большая печь, вроде гончарной, и нечистый дух с рогами, как у коровы, весь черный, гнал бабку в огонь длинною палкой, как давеча она сама гнала гусей.

## V

На Успенье, в одиннадцатом часу вечера, девушки и парни, гулявшие внизу на лугу, вдруг подняли крик и визг и побежали по направлению к деревне; и те, которые сидели наверху, на краю обрыва, в первую минуту никак не могли понять, отчего это.

- Пожар! Пожар! - раздался внизу отчаянный крик. - Горим!

Те, которые сидели наверху, оглянулись, и им представилась страшная, необыкновенная картина. На одной из крайних изб, на соломенной крыше стоял огненный, в сажень вышиною, столб, который клубился и сыпал от себя во все стороны искры, точно фонтан бил. И тотчас же загорелась вся крыша ярким пламенем и послышался треск огня.

Свет луны померк, и уже вся деревня была охвачена красным, дрожащим светом; по земле ходили черные тени, пахло гарью; и те, которые бежали снизу, все запыхались, не могли говорить от дрожи, толкались, падали и, с непривычки к яркому свету, плохо видели и не узнавали друг друга. Было страшно. Особенно было страшно то, что над огнем, в дыму, летали голуби и в трактире, где еще не знали о пожаре, продолжали петь и играть на гармонике, как ни в чем не бывало.

- Дядя Семен горит! - крикнул кто-то громким, грубым голосом.

Марья металась около своей избы, плача, ломая руки, стуча зубами, хотя пожар был далеко, на другом краю; вышел Николай в валенках, повибежали дети в рубашонках. Около избы десятского забили в чугунную доску. Бем, бем, бем... понеслось по воздуху, и от этого частого, неугомонного звона щемило за сердце и становилось холодно. Старые бабы стояли с образами. Из дворов выгоняли на улицу овец, телят и коров, выносили сундуки, овчины, кадки. Вороной жеребец, которого не пускали в табун, так как он лягал и ранил лошадей, пущенный на волю, топоча, со ржаньем, пробежал по деревне раз и другой и вдруг остановился около телеги и стал бить ее задними ногами.

Зазвонили и на той стороне, в церкви.

Около горевшей избы было жарко и так светло, что на земле видна была отчетливо каждая травка. На одном из сундуков, которые успели вытащить, сидел Семен, рыжий мужик с большим носом, в картузе, надвинутом на голову глубоко, до ушей, в пиджаке; его жена лежала лицом вниз, в забытии, и стонала. Какой-то старик лет восьмидесяти, низенький, с большою бородой, похожий на гнома, не здешний, но, очевидно, причастный к пожару, ходил возле, без шапки, с белым узелком в руках; в лысине его отсвечивал огонь. Староста Антип Седельников, смуглый и черноволосый, как цыган, подошел к избе с топором и вышиб окна, одно за другим - неизвестно для чего, потом стал рубить крыльцо.

- Бабы, воды! - кричал он. - Машину подава-ай! Поворачивайся!

Те самые мужики, которые только что гуляли в трактире, тащили на себе пожарную машину. Все они были пьяны, спотыкались и падали, и у всех было беспомощное выражение и слезы на глазах.

- Девки, воды! - кричал староста, тоже пьяный.

- Поворачивайся, девки!

Бабы и девки бегали вниз, где был ключ, и таскали на гору полные ведра и ушаты и, вылив в машину, опять убежали. Таскали воду и Ольга, и Марья, и Саша, и Мотья. Качали воду бабы и мальчишки, кишка шипела, и староста, направляя ее то в дверь, то в окна, задерживал пальцем струю, отчего она шипела еще резче.

- Молодец, Антип! - слышались одобрительные голоса. - Старайся!

А Антип лез в сени, в огонь и кричал оттуда:

- Качай! Потрудитесь, православные, по случаю такого несчастного происшествия!

Мужики стояли толпой возле, ничего не делая, и смотрели на огонь. Никто не знал, за что приняться, никто ничего не умел, а кругом были стога хлеба, сено, сарай, кучи сухого хвороста. Стояли тут и Кирьяк, и старик Осип, его отец, оба навеселе. И, как бы желая оправдать свою праздность, старик говорил, обращаясь к бабе, лежащей на земле:

- Чего, кума, колотиться! Изба заштрафована -чего тебе!

Семен, обращаясь то к одному, то к другому, рассказывал, отчего загорелось:

- Этот самый старичок, с узелком-то, генерала Жукова дворовый... У нашего генерала, царство небесное, в поварах был. Приходит вечером: "пусти, говорит, ночевать"... Ну, выпили по стаканчику, известно... Баба заходилась около самовара -старичка чаем попить, да не в добрый час заставила самовар в сенях, огонь из трубы, значит, прямо в крышу, в солому, оно и того. Чуть сами не сгорели. И шапка у старика сгорела, грех такой.

А в чугунную доску били без устали и часто звонили в церкви за рекой. Ольга, вся в свету, задыхаясь, глядя с ужасом на красных овец и на розовых голубей, летавших в дыму, бегала то вниз, то вверх. Ей казалось, что этот звон острою колючкой вошел ей в душу, что пожар никогда не окончится, что потерялась Саша... А когда в избе с шумом рухнул потолок, то от мысли, что теперь сгорит непременно вся деревня, она ослабела и уже не могла таскать воду, а сидела на обрыве, поставив возле себя ведра; рядом и ниже сидели бабы и голосили, как по покойнике.

Но вот с той стороны, из господской усадьбы, приехали на двух подводах приказчики и работники и привезли с собою пожарную машину. Приехал верхом студент в белом кителе нараспашку, очень молодой. Застучали топорами, подставили к горевшему срубам лестницу и полезли по ней сразу пять человек, и впереди всех студент, который был красен и кричал резким, охрипшим голосом и таким тоном, как будто тушение пожаров было для него привычным делом. Разбирали избу по бревнам: растащили хлев, плетень и ближайший стог.

- Не давайте ломать! - раздалась в толпе строгие голоса. - Не давай!

Кирьяк направился к избе с решительным видом, как бы желая помешать приезжим ломать, но один из рабочих повернул его назад и ударил по шее. Послышался смех, работник еще раз ударил. Кирьяк упал и на четвереньках пополз назад в толпу.

Пришли с той стороны две красивые девушки в шляпках - должно быть, сестры студента. Они стояли поодаль и смотрели на пожар. Растасканные бревна уже не горели, но сильно дымили; студент, работая кишкой, направлял струю то на эти бревна, то на мужиков, то на баб, таскавших воду.

- Жорж! - кричали ему девушки укоризненно и с тревогой. - Жорж!

Пожар кончился. И только когда стали расходиться, заметили, что уже рассвет, что все бледны, немножко смуглы, - это всегда так кажется в ранние утра, когда на небе гаснут последние звезды. Расходясь, мужики смеялись и подшучивали над поваром генерала Жукова и над шапкой, которая сгорела; им уже хотелось разыграть пожар в шутку и как будто даже было жаль, что пожар так скоро кончился.

- Вы, барин, хорошо тушили, - сказала Ольга студенту. - Вас бы к нам, в Москву: там, почитай, каждый день пожар.

- А вы разве из Москвы? - спросила одна из барышень.

- Точно так. Мой муж служил в "Славянском Базаре"-с. А это моя дочь, указала она на Сашу, которая озябла и жалась к ней. - Тоже московская-с.

Обе барышни сказали что-то по-французски студенту, и тот подал Саше двугривенный. Старик Осип видел это, и на лице у него вдруг засветилась надежда.

- Благодарить Бога, ваше высокоблагородие, ветра не было, - сказал он, обращаясь к студенту, -а то бы погорели в одночасье. Ваше высокоблагородие, господа хорошие, - добавил он конфузливо, тоном ниже, - заря холодная, погреться бы... на полбутылочки с вашей милости.

Ему ничего не дали, и он, крякнув, поплелся домой. Ольга потом стояла на краю и смотрела, как обе повозки переезжали реку бродом, как по лугу шли господа; их на той стороне ожидал экипаж. А придя в избу, она рассказывала мужу с восхищением:

- Да такие хорошие! Да такие красивые! А барышни - как херувимчики.

- Чтоб их разорвало! - проговорила сонная Фекла со злобой.

## VI

Марья считала себя несчастною и говорила, что ей очень хочется умереть; Фекле же, напротив, была по вкусу вся эта жизнь: и бедность, и нечистота, и неугомонная брань. Она ела, что давали, не разбирая; спала, где и на чем придется; помой выливала у самого крыльца: выплеснет с порога да еще пройдет босыми ногами по луже. И она с первого же дня возненавидела Ольгу и Николая именно за то, что им не нравилась эта жизнь.

- Погляжу, что вы тут будете есть, дворяне московские! - говорила она с злорадством. - Погляжу-у!

Однажды утром - это было уже в начале сентября - Фекла принесла снизу два ведра воды, розовая от холода, здоровая, красивая; в это время Марья и Ольга сидели за столом и пили чай.

- Чай да сахар! - проговорила Фекла насмешливо. - Барыни какие, добавила она, ставя ведра, - моду себе взяли каждый день чай пить. Гляди-кось, не раздуло бы вас с чаю-то! -продолжала она, глядя с ненавистью на Ольгу. - Нагуляла в Москве пухлую морду, толстомяся!

Она замахнулась коромыслом и ударила Ольгу по плечу, так что обе невестки только всплеснули руками и проговорили:

- Ах, батюшки.

Потом Фекла пошла на реку мыть белье и всю дорогу бранилась так громко, что было слышно в избе.

Прошел день. Наступил длинный осенний вечер. В избе мотали шелк; мотали все, кроме Феклы: она ушла за реку. Шелк брали с ближней фабрики, и вся семья вырабатывала на нем немного - копеек двадцать в неделю.

- При господах лучше было, - говорил старик, мотая шелк. - И работаешь, и ешь, и спишь, все своим чередом. В обед щи тебе и каша, в ужин тоже щи и каша. Огурцов и капусты было вволю: ешь добровольно, сколько душа хочет. И строгости было больше. Всякий себя помнил.

Светила только одна лампочка, которая горела тускло и дымила. Когда кто-нибудь заслонял лампочку и большая тень падала на окно, то виден был яркий лунный свет. Старик Осип рассказывал, не спеша, про то, как жили до воли, как в этих самых местах, где теперь живет так скучно и бедно, охотились с гончими, с борзыми, с псковичами, и во время облав мужиков поили водкой, как в Москву ходили целые обозы с битоей птицей для молодых господ, как злых наказывали розгами или ссылали в тверскую вотчину, а добрых награждали. И бабка тоже рассказала кое-что. Она все помнила, решительно все. Она рассказала про свою госпожу, добрую, богобоязненную женщину, у которой муж был кутила и развратник и у которой все дочери повыходили замуж бог знает как: одна вышла за пьяницу, другая - за мещанина, третью - увезли тайно (сама бабка, которая была тогда девушкой, помогала увозить), и все они скоро умерли с горя, как и их мать. И вспомнив об этом, бабка даже всплакнула.

Вдруг кто-то постучал в дверь, и все вздрогнули.

- Дядя Осип, пусти ночевать!

Вошел маленький лысый старичок, повар генерала Жукова, тот самый, у которого сгорела шапка. Он присел, послушал и тоже стал вспоминать и рассказывать разные истории. Николай, сидя на печи, свесив ноги, слушал и спрашивал все о кушаньях, какие готовили при господах. Говорили о битках, котлетах, разных супах, соусах, и повар, который тоже все хорошо помнил, называл кушанья, каких нет теперь; было, например, кушанье, которое приготавливалось из бычьих глаз и называлось "по утру проснувшись".

- А котлеты маршалы тогда делали? - спросил Николай.

- Нет.

Николай укоризненно покачал головой и сказал:

- Эх вы, горе-повара!

Девочки, сидя и лежа на печи, глядели вниз, не мигая; казалось, что их было очень много - точно херувимы в облаках. Рассказы им нравились; они вздыхали, вздрагивали и бледнели то от восторга, то от страха, а бабку, которая рассказывала интереснее всех, они слушали не дыша, боясь пошевелиться.

Ложились спать молча; и старики, потревоженные рассказами, взволнованные, думали о том, как хороша молодость, после которой, какая бы она ни была, остается в воспоминаниях одно только живое, радостное, трогательное, и как страшна, холодна эта смерть, которая не за горами, лучше о ней и не думать! Лампочка потухла. И потемки, и два окошка, резко освещенные луной, и тишина, и скрип колыбели напоминали почему-то только о том, что жизнь уже прошла, что не вернешь ее никак... Вздремнешь, забудешься, и вдруг кто-то трогает за плечо, дует в щеку - и сна нет, тело такое, точно отлежал его, и лезут в голову все мысли о смерти; повернулся на другой бок - о смерти уже забыл, но в голове бродят давние, скучные, нудные мысли о нужде, о кормах, о том, что мука вздоржала, а немного погодя опять вспоминается, что жизнь уже прошла, не вернешь ее...

- О, господи! - вздохнул повар.

Кто-то тихо-тихо постучал в окошко. Должно быть, Фекла вернулась. Ольга встала и, зевая, шепча молитву, отперла дверь, потом в сенях вынула засов. Но никто не входил, только с улицы повеяло холодом и стало вдруг светло от луны. В открытую дверь было видно и улицу, тихую, пустынную, и самую луну, которая плыла по небу.

- Кто тут? - окликнула Ольга.

- Я, - послышался ответ. - Это я.

Около двери, прижавшись к стене, стояла Фекла, совершенно нагая. Она дрожала от холода, стучала зубами и при ярком свете луны казалась очень бледною, красивою и странною. Тени на ней и блеск луны на коже как-то резко бросались в глаза, и особенно отчетливо обозначались ее темные брови и молодая, крепкая грудь.

- На той стороне озорники раздели, пустили так... - проговорила она. Домой без одежды шла... в чем мать родила. Принеси одеться.

- Да ты в избу иди! - тихо сказала Ольга, тоже начиная дрожать.

- Старики бы не увидели.

В самом деле, бабка уже беспокоилась и ворчала, и старик спрашивал: "Кто там?" Ольга принесла свою рубаху и юбку, одела Феклу, и потом обе тихо, стараясь не стучать дверями, вошли в избу.

- Это ты, гладкая? - сердито проворчала бабка, догадавшись, кто это. У, чтоб тебя, полунощница... нет на тебя погибели!

- Ничего, ничего, - шептала Ольга, кутая Феклу, - ничего касатка.

Опять стало тихо. В избе всегда плохо спали; каждому мешало спать что-нибудь неотвязчивое, назойливое: старику - боль в спине, бабке - заботы и злость, Марье - страх, детям - чесотка и голод. И теперь тоже сон был тревожный: поворачивались с боку на бок, бредили, вставали напиться.

Фекла вдруг заревела громко, грубым голосом, но тотчас же сдержала себя и изредка всхлипывала, все тише и глуше, пока не смолкла. Временами с той стороны, из-за реки, доносился бой часов; но часы били как-то странно: пробили пять, потом три.

- О, господи! - вздыхал повар.

Глядя на окна, трудно было понять: все ли еще светит луна или это уже рассвет. Марья поднялась и вышла, и слышно было, как она на дворе доила корову и говорила: "Сто-ой!" Вышла и бабка. Было еще темно в избе, но уже стали видны все предметы.

Николай, который не спал всю ночь, слез с печи. Он достал из зеленого сундучка свой фрак, надел его и, подойдя к окну, погладил рукава, подержался за фалдочки - и улыбнулся. Потом осторожно снял фрак, спрятал в сундук и опять лег.

Марья вернулась и стала топить печь. Она, по-видимому, еще не совсем очнулась от сна и теперь просыпалась на ходу. Ей, вероятно, приснилось что-нибудь или пришли на память вчерашние рассказы, так как она сладко потянулась перед печью и сказала:

- Нет, воля лучше!

## VII

Приехал барин - так в деревне называли станowego пристава. О том, когда и зачем он приедет, было известно за неделю. В Жукове было только сорок дворов, но недоимки, казенной и земской, накопилось больше двух тысяч.

Становой остановился в трактире; он "выкушал" тут два стакана чаю и потом отправился пешком в избу старосты, около которой уже поджидала толпа недоимщиков. Староста Антип Седельников, несмотря на молодость, - ему было только 30 лет с небольшим, - был строг и всегда



держал сторону начальства, хотя сам был беден и платил подати неисправно. Видимо, его забавляло, что он -староста, и нравилось сознание власти, которую он иначе не умел проявлять, как строгостью. На сходе его боялись и слушались; случалось, на улице или около трактира он вдруг налетал на пьяного, связывал ему руки назад и сажал в арестантскую; раз даже посадил в арестантскую бабку за то, что она, придя на сход вместо Осипа, стала браниться, и продержал ее там целые сутки. В городе он не жила и книг никогда не читал, но откуда-то набрался разных умных слов и любил употреблять их в разговоре, и за это его уважали, хотя и не всегда понимали.

Когда Осип со своею оброчною книжкой вошел в избу старосты, становой, худощавый старик с длинными седыми бакенами, в серой тужурке, сидел за столом в переднем углу и что-то записывал. В избе было чисто, все стены пестрели от картин, вырезанных из журналов, и на самом видном месте около икон висел портрет Баттенберга, бывшего болгарского князя. Возле стола, скрестив руки, стоял Антип Седельников.

- За им, ваше высокоблагородие, 119 рублей - сказал он, когда очередь дошла до Осипа. - Перед Святой как дал рубль, так с того время ни копейки.

Пристав поднял глаза на Осипа и спросил:

- Почему же это, братец?

- Явите божескую милость, ваше высокоблагородие, - начал Осип, волнуясь, -дозвольте сказать, летошний год люторецкий барин: "Осип, говорит, продай сено... Ты, говорит, продай". Отчего ж? Было у меня пудов сто для продажи, на лоску бабы накосили... Ну, сторговались... Все хорошо, добровольно...

Он жаловался на старосту и то и дело оборачивался к мужикам, как бы приглашая их в свидетели; лицо у него покраснело и вспотело, и глаза стали острые, злые.

- Я не понимаю, зачем ты это все говоришь, -сказал пристав. - Я спрашиваю тебе... я тебе спрашиваю, отчего ты не платишь недоимку? Вы все не платите, а я за вас отвечаю?

- Мочи моей нету!

- Слова эти без последствия, ваше высокоблагородие, - сказал староста.

Действительно, Чикильдеевы недостаточного класса, но извольте спросить у прочих, причина вся - водка, и озорники очень. Без всякого понимания.

Пристав записал что-то и сказал Осипу покойно, ровным тоном, точно просил воды:

- Пошел вон.

Скоро он уехал; и когда он садился в свой дешевый тарантас и кашлял, то даже по выражению его длинной худой спины видно было, что он уже не помнил ни об Осипе, ни о старосте, ни о жуковских недоимках, а думал о чем-то своем собственном. Но успел он отъехать и одну версту, как Антип Седельников уже выносил из избы Чикильдеевых самовар, а за ним шла бабка и кричала визгливо, напрягая грудь:

- Не отдам! Не отдам я тебе, окаянный!

Он шел быстро, делая широкие шаги, а та гналась за ним, задыхаясь, едва не падая, горбатая, свирепая; платок у нее сполз на плечи, седые, с зеленоватым отливом волосы развевались по ветру. Она вдруг остановилась и, как настоящая бунтовщица, стала бить себя по груди кулаками и кричать еще громче, певучим голосом, и как бы рыдая:

- Православные, кто в Бога верует! Батюшки, обидели! Родненькие, затеснили! Ой, ой, голубчики, вступитесь!

- Бабка, бабка, - сказал строго староста, - имей рассудок в своей голове!

Без самовара в избе Чикильдеевых стало совсем скучно. Было что-то унижительное в этом лишении, оскорбительное, точно у избы вдруг отняли ее честь. Лучше бы уж староста взял и унес стол, все скамьи, все горшки - не так бы казалось пусто. Бабка кричала, Марья плакала, и девочки, глядя на нее, тоже плакали. Старик, чувствуя себя виноватым, сидел в углу понуро и молчал. И Николай молчал. Бабка любила и жалела его, но теперь забыла жалость, набросилась на него вдруг с бранью, с попреками, тыча ему кулаками под самое лицо. Она кричала, что это он виноват во всем: в самом деле, почему он присылал так мало, когда сам же в письмах хвалился, что добывал в "Славянском Базаре" по 50 рублей в месяц? Зачем он сюда приехал, да еще с семьей? Если умрет, то на какие деньги его хоронить?.. И было жалко смотреть на Николая, Ольгу и Сашу.

Старик крякнул, взял шапку и пошел к старосте. Уже темнело. Антип Седельников паял что-то около печи, надувая щеки; было угарно. Дети его, тощие, неумытые, не лучше чикильдеевских, возились на полу; некрасивая, весноватая жена с большим животом мотала шелк. Это была несчастная, убогая семья, и только один Антип выглядел молодцом и красавцем. На скамье в ряд стояло пять самоваров.

Старик помолился на Баттенберга и сказал:

- Антип, яви божескую милость, отдай самовар! Христа ради!

- Принеси три рубля, тогда и получишь.

- Мочи моей нету!

Антип надувал щеки, огонь гудел и шипел, отсвечивая в самоварах. Старик помял шапку и сказал, подумав:

- Отдай!

Смуглый староста казался уже совсем черным и походил на колдуна; он обернулся к Осипу и проговорил сурово и быстро:

- От земского начальника все зависящее. В административном заседании двадцать шестого числа можешь заявить повод к своему неудовольствию словесно или на бумаге.

Осип ничего не понял, но удовлетворился этим и пошел домой.

Дней через десять опять приезжал становой, побыл с час и уехал. В те дни погода стояла ветреная, холодная; река давно уже замерзла, а снега все не было, и люди замучились без дороги. Как-то в праздник перед вечером соседи зашли к Осипу посидеть, потолковать. Говорили в темноте, так как работать было грех и огня не зажигали. Были кое-какие новости, довольно неприятные. Так, в двух-трех домах забрали за недоимку кур и отправили в волостное правление, и там они поколели, так как их никто не кормил; забрали овец и, пока везли их, связанных, перекладывая в каждой деревне на новые подводы, одна издохла. И теперь решали вопрос: кто виноват?

- Земство! - говорил Осип. - Кто ж!

- Известно, земство.

Земство обвиняли во всем - и в недоимках, и в притеснениях, и в неурожаях, хотя ни один не знал, что значит земство. И это пошло с тех пор, как богатые мужики, имеющие свои фабрики, лавки и постоянные двory, побывали в земских гласных, остались недовольны и потом в своих фабриках и трактирах стали бранить земство.

Поговорили о том, что Бог не дает снега: возить дрова надо, а по кочкам ни ездить, ни ходить. Прежде, лет 15-20 назад и ранее, разговоры в Жукове были гораздо интереснее. Тогда у каждого

старика был такой вид, как будто он хранил какую-то тайну, что-то знал и чего-то ждал; говорили о грамоте с золотой печатью, о разделах, о новых землях, о кладах, намекали на что-то; теперь же у жуковцев не было никаких тайн, вся их жизнь была как на ладони, у всех на виду, и могли они говорить только о нужде и кормах, о том, что нет снега...

Помолчали. И опять вспомнили про кур и овец, и стали решать, кто виноват.

- Земство! - проговорил уныло Осип. - Кто ж!

## VIII

Приходская церковь была в шести верстах, в Косогорове, и в ней бывали только по нужде, когда нужно было крестить, венчаться или отпевать; молиться же ходили за реку. В праздники, в хорошую погоду, девушки наряжались и уходили толпой к обедне, и было весело смотреть, как они в своих красных, желтых и зеленых платьях шли через луг; в дурную же погоду все сидели дома. Говели в приходе. С тех, кто в Великом посту не успевал отговориться, батюшка на Святой, обходя с крестом избы, брал по 15 копеек.

Старик не верил в Бога, потому что почти никогда не думал о Нем; он признавал сверхъестественное, но думал, что это может касаться одних лишь баб, и когда говорили при нем о религии или чудесном и задавали ему какой-нибудь вопрос, то он говорил нехотя, почесываясь:

- А кто ж его знает!

Бабка верила, но как-то тускло; все перемешалось в ее памяти, и едва она начинала думать о грехах, о смерти, о спасении души, как нужда и заботы перехватывали ее мысль, и она тотчас же забывала, о чем думала. Молитв она не помнила и обыкновенно по вечерам, когда спать, становилась перед образами и шептала:

- Казанской божьей матери, Смоленской божьей матери, Троеручицы божьей матери...

Марья и Фекла крестились, говели каждый год, но ничего не понимали. Детей не учили молиться, ничего не говорили им о Боге, не внушали никаких правил и только запрещали в пост есть скоромное. В прочих семьях было почти то же: мало кто верил, мало кто понимал. В то же время все любили священное писание, любили нежно, благоговейно, но не было книг, некому было читать и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала евангелие, ее уважали и все говорили ей и Саше "вы".

Ольга часто уходила на храмовые праздники и молебны в соседние села и в уездный город, в котором было два монастыря и двадцать семь церквей. Она была рассеянна и, пока ходила на богомолье, совершенно забывала про семью и только, когда возвращалась домой, делала вдруг радостное открытие, что у нее есть муж и дочь, и тогда говорила, улыбаясь и сияя:

- Бог милости прислал!

То, что происходило в деревне, казалось ей отвратительным и мучило ее. На Илью пили, на Успенье пили, на Воздвиженье пили. На Покров в Жукове был приходский праздник, и мужики по этому случаю пили три дня: пропили 50 рублей общественных денег и потом еще со всех дворов собирали на водку. В первый день у Чикильдеевых зарезали барана и ели его утром, в обед и вечером, ели помногу, и потом еще ночью дети вставали, чтобы поесть. Кирьяк все три дня был страшно пьян, пропили все, даже шапку и сапоги, и так бил Марью, что ее отливали водой. А потом всем было стыдно и тошно.

Впрочем, и в Жукове, в этой Холуевке, происходило раз настоящее религиозное торжество. Это было в августе, когда по всему уезду, из деревни в деревню, носили Живоносную. В тот день, когда ее ожидали в Жукове, было тихо и пасмурно. Девушки еще с утра отправились навстречу иконе в своих ярких нарядных платьях и принесли ее под вечер, с крестным ходом, с пением, и в это

время за рекой трезвонили. Громадная толпа своих и чужих запрудила улицу; шум, пыль, давка... И старик, и бабка, и Кирыак - все протягивали руки к иконе, жадно глядели на нее и говорили, плача:

- Заступница, матушка! Заступница!

Все как будто вдруг поняли, что между землей и небом не пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита от обид, от рабской неволи, от тяжелой, невыносимой нужды, от страшной водки.

- Заступница, матушка! - рыдала Марья. - Матушка!

Но отслужили молебен, унесли икону, и все пошло по-старому, и опять слышались из трактира грубые, пьяные голоса.

Смерти боялись только богатые мужики, которые чем больше богатели, тем меньше верили в Бога и в спасение души, и лишь из страха перед концом земным, на всякий случай, ставили свечи и служили молебны. Мужики же победнее не боялись смерти. Старик и бабке говорили прямо в глаза, что они зажились, что им умирать пора, и они ничего. Не стеснялись говорить в присутствии Николая Фекле, что когда Николай умрет, то ее мужу, Денису, выйдет льгота - вернут со службы домой. А Марья не только не боялась смерти, но даже жалела, что она так долго не приходит, и бывала рада, когда у нее умирали дети.

Смерти не боялись, зато ко всем болезням относились с преувеличенным страхом. Довольно было пустяка - расстройства желудка, легкого озноба, как бабка уже ложилась на печь, куталась и начинала стонать громко и непрерывно:

"Умира-а-ю!" Старик спешил за священником, и бабку приобщали и соборовали. Очень часто говорили о простуде, о глистах, о желваках, которые ходят в животе и подкатывают к сердцу. Больше всего боялись простуды и потому даже летом одевались тепло и грелись на печи. Бабка любила лечиться и часто ездила в больницу, где говорила, что ей не 70, а 58 лет; она полагала, что если доктор узнает ее настоящие годы, то не станет ее лечить и скажет, что ей впору умирать, а не лечиться. В больницу обыкновенно уезжала она рано утром, забрав с собою двух-трех девочек, и возвращалась вечером, голодная и сердитая, - с каплями для себя и с мазями для девочек. Раз возила она и Николая, который потом недели две принимал капли и говорил, что ему стало легче.

Бабка знала всех докторов, фельдшеров и знахарей на тридцать верст кругом, и ни один ей не нравился. На Покров, когда священник обходил с крестом избы, дьячок сказал ей, что в городе около острога живет старичок, бывший военный фельдшер, который лечит очень хорошо, и посоветовал ей обратиться к нему. Бабка послушалась. Когда выпал первый снег, она съездила в город и привезла старичка, бородатого, длиннополого выкреста, у которого все лицо было покрыто синими жилками. Как раз в это время в избе работали поденщики: старик портной в страшных очках кроил из лохмотьев жилетку, и два молодых парня валяли из шерсти валенки; Кирыак, которого уволили за пьянство и который жил теперь дома, сидел рядом с портным и починял хомут. И в избе было тесно, душно и смрадно. Выкрест осмотрел Николая и сказал, что необходимо поставить банки.

Он ставил банки, а старик портной, Кирыак и девочки стояли и смотрели, и им казалось, что они видят, как из Николая выходит болезнь. И Николай тоже смотрел, как банки, присосавшись к груди, мало-помалу наполнялись темною кровью, и чувствовал, что из него в самом деле как будто что-то выходит, и улыбался от удовольствия.

- Оно хорошо, - говорил портной. - Дай Бог, чтоб на пользу.

Выкрест поставил двенадцать банок и потом еще двенадцать, напился чаю и уехал. Николай стал дрожать; лицо у него осунулось и, как говорили бабы, сжалось в кулачок; пальцы посинели. Он

кутался и в одеяло, и в тулуп, но становилось все холоднее. К вечеру он затосковал: просил, чтобы его положили на пол, просил, чтобы портной не курил, потом затих под тулупом и к утру умер.

## IX

О, какая суровая, какая длинная зима!

Уже с Рождества не было своего хлеба и муку покупали. Кирыак, живший теперь дома, шумел по вечерам, наводя ужас на всех, а по утрам мучился от головной боли и стыда, и на него было жалко смотреть. В хлеву день и ночь раздавалось мычанье голодной коровы, надрывавшее душу у бабки и Марьи. И, как нарочно, морозы все время стояли трескучие, навалило высокие сугробы: и зима затянулась: на Благовещение задувала настоящая зимняя вьюга, а на Святой шел снег.

Но, как бы ни было, зима кончилась. В начале апреля стояли теплые дни и морозные ночи, зима не уступала, но один теплый денек пересилил наконец и потекли ручьи, запели птицы. Весь луг и кусты около реки утонули в вешних водах, и между Жуковым и тою стороною все пространство сплошь было уже занято громадным заливом, на котором там и сям вспархивали стаями дикие утки. Весенний закат, пламенный, с пышными облаками, каждый вечер давал что-нибудь необыкновенное, новое, невероятное, именно то самое, чему не веришь потом, когда эти же краски и эти же облака видишь на картине.

Журавли летели быстро-быстро и кричали грустно, будто звали с собою. Стоя на краю обрыва, Ольга подолгу смотрела на разлив, на солнце, на светлую, точно помолодевшую церковь, и слезы текли у нее и дыхание захватывало оттого, что страстно хотелось уйти куда-нибудь, куда глаза глядят, хоть на край света. А уж было решено, что она пойдет опять в Москву, в горничные, и с нею отправится Кирыак наниматься в дворники или куда-нибудь. Ах, скорее бы уйти!

Когда подсохло и стало тепло, собрались в путь. Ольга и Саша, с потомками на спинах, обе в лаптях, вышли чуть свет; вышла и Марья, чтобы проводить их. Кирыак был нездоров, задержался дома еще на неделю. Ольга в последний раз помолилась на церковь, думая о своем муже, и не заплакала, только лицо у нее поморщилось и стало некрасивым, как у старухи. За зиму она похудела, подурнела, немного поседела, и уже вместо прежней миловидности и приятной улыбки на лице у нее было покорное, печальное выражение пережитой скорби, и было уже что-то тупое и неподвижное в ее взгляде, точно она не слышала. Ей было жаль расставаться с деревней и с мужиками. Она вспоминала о том, как несли Николая и около каждой избы заказывали панихиду и как все плакали, сочувствуя ее горю. В течение лета и зимы бывали такие часы и дни, когда казалось, что эти люди живут хуже скотов, жить с ними было страшно: они грубы, нечестны, грязны, нетрезвы, живут не согласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и подозревают друг друга. Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрчивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания. Тяжкий труд, от которого по ночам болит все тело, жестокие зимы, скудные урожаи, теснота, а помощи нет и неоткуда ждать ее. Те, которые богаче и сильнее их, помочь не могут, так как сами грубы, нечестны, нетрезвы и сами бранятся так же отвратительно: самый мелкий чиновник или приказчик обходится с мужиками как с бродягами, и даже старшинам и церковным старостам говорит "ты" и думает, что имеет на это право. Да и может ли быть какая-нибудь помощь или добрый пример от людей корыстолюбивых, жадных, развратных, ленивых, которые наезжают в деревню только затем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать? Ольга вспомнила, какой жалкий, приниженный вид был у стариков, когда зимою водили Кирыака наказывать розгами... И теперь ей было жаль всех этих людей, больно, и она, пока шла, все оглядывалась на избы.

Проводив версты три, Марья простилась, потом стала на колени и заголосила, припадая лицом к земле:

- Опять я одна осталась, бедная моя головушка, бедная-несчастливая...

И долго она так голосила, и долго еще Ольге и Саше видно было, как она, стоя на коленях, все кланялась кому-то в сторону, обхватив руками голову, и над ней летали грачи.

Солнце поднялось высоко, стало жарко. Жуково осталось далеко позади. Идти было в охотку, Ольга и Саша скоро забыли и про деревню, и про Марью, им было весело, и все развлекало их. То курган, то ряд телеграфных столбов, которые друг за другом идут неизвестно куда, исчезая на горизонте, и проволоки гудят таинственно; то виден вдаль хуторок, весь в зелени, потягивает от него влагой и коноплей, и кажется почему-то, что там живут счастливые люди; то лошадиный скелет, одиноко белеющий в поле. А жаворонки заливаются неугомонно, перекликаются перепела; и дергач кричит так, будто в самом деле кто-то дергает за старую железную скобу.

В полдень Ольга и Саша пришли в большое село. Тут на широкой улице встретился им повар генерала Жукова, старичок. Ему было жарко, и потная, красная лысина его сияла на солнце. Он и Ольга не узнали друг друга, потом оглянулись в одно время, узнали и, не сказав ни слова, пошли дальше каждый своею дорогой. Остановившись около избы, которая казалась побогаче и новее, перед открытыми окнами, Ольга поклонилась и сказала громко, тонким, певучим голосом:

- Православные христиане, подайте милостыню Христа ради, что милость ваша, родителям вашим царство небесное, вечный покой.

- Православные христиане, - запела Саша, - подайте Христа ради, что милость ваша, царство небесное...

## Душечка

Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя во дворе на крылечке, задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было так приятно думать, что скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивало влагой.

Среди двора стоял Кукин, антрепренер и содержатель увеселительного сада «Тиволи», квартировавший тут же во дворе, во флигеле, и глядел на небо.

— Опять! — говорил он с отчаянием. — Опять будет дождь! Каждый день дожди, каждый день дожди — точно нарочно! Ведь это петля! Это разоренье! Каждый день страшные убытки!

Он всплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке:

— Вот вам, Ольга Семеновна, наша жизнь. Хоть плачь! Работаешь, стараешься, мучишься, ночей не спишь, всё думаешь, как бы лучше, — и что же? С одной стороны, публика, невежественная, дикая. Даю ей самую лучшую оперетку, феерию, великолепных куплетистов, по разве ей это нужно? Разве она в этом понимает что-нибудь? Ей нужен балаган! Ей подавай пошлость! С другой стороны, взгляните на погоду. Почти каждый вечер дождь. Как зарядило с десятого мая, так потом весь май и июнь, просто ужас! Публика не ходит, но ведь я за аренду плачу? Артистам плачу?

На другой день под вечер опять надвигались тучи, и Кукин говорил с истерическим хохотом:

— Ну что ж? И пускай! Пускай хоть весь сад зальет, хоть меня самого! Чтоб мне не было счастья ни на этом, ни на том свете! Пускай артисты подадут на меня в суд! Что суд? Хоть на каторгу в Сибирь! Хоть на эшафот! Ха-ха-ха!

И на третий день то же...

Оленька слушала Кукина молча, серьезно, и, случалось, слезы выступали у нее на глазах. В конце концов несчастья Кукина тронули ее, она его полюбила. Он был мал ростом, тощ, с желтым лицом, с зачесанными височками, говорил жидким тенорком, и когда говорил, то кривил рот; и на лице у него всегда было написано отчаяние, но всё же он возбудил в ней настоящее, глубокое чувство. Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Раньше она любила своего папашу, который теперь сидел больной, в темной комнате, в кресле, и тяжело дышал; любила свою тетю, которая иногда, раз в два года, приезжала из Брянска; а еще раньше, когда училась в прогимназии, любила своего учителя французского языка. Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким, мягким взглядом, очень здоровая. Глядя на ее полные розовые щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на добрую наивную улыбку, которая бывала на ее лице, когда она слушала что-нибудь приятное, мужчины думали: «Да, ничего себе...» и тоже улыбались, а гости-дамы не могли удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее за руку и не проговорить в порыве удовольствия:

— Душечка!

Дом, в котором она жила со дня рождения и который в завещании был записан на ее имя, находился на окраине города, в Цыганской Слободке, недалеко от сада «Тиволи»; по вечерам и по ночам ей слышно было, как в саду играла музыка, как лопались с треском ракеты, и ей казалось, что это Кукин воюет со своей судьбой и берет приступом своего главного врага — равнодушную публику; сердце у нее сладко замирало, спать совсем не хотелось, и, когда под утро он возвращался домой, она тихо стучала в окошко из своей спальни и, показывая ему сквозь занавески только лицо и одно плечо, ласково улыбалась...

Он сделал предложение, и они повенчались. И когда он увидел как следует ее шею и полные здоровые плечи, то всплеснул руками и проговорил:

— Душечка!

Он был счастлив, но так как в день свадьбы и потом ночью шел дождь, то с его лица не сходило выражение отчаяния.

После свадьбы жили хорошо. Она сидела у него в кассе, смотрела за порядками в саду, записывала расходы, выдавала жалованье, и ее розовые щеки, милая, наивная, похожая на сияние улыбка мелькали то в окошечке кассы, то за кулисами, то в буфете. И она уже говорила своим знакомым, что самое замечательное, самое важное и нужное на свете — это театр и что получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре.

— Но разве публика понимает это? — говорила она. — Ей нужен балаган! Вчера у нас шел «Фауст наизнанку», и почти все ложи были пустые, а если бы мы с Ваничкой поставили какую-нибудь пошлость, то, поверьте, театр был бы битком набит. Завтра мы с Ваничкой ставим «Орфея в аду», приходите.

И что говорил о театре и об актерам Кукин, то повторяла и она. Публику она так же, как и он, презирала за равнодушие к искусству и за невежество, на репетициях вмешивалась, поправляла актеров, смотрела за поведением музыкантов, и когда в местной газете неодобрительно отзывались о театре, то она плакала и потом ходила в редакцию объясняться.

Актеры любили ее и называли «мы с Ваничкой» и «душечкой»; она жалела их и давала им понемножку взаймы, и если, случалось, ее обманывали, то она только потихоньку плакала, но мужу не жаловалась.

И зимой жили хорошо. Сняли городской театр на всю зиму и сдавали его на короткие сроки то малороссийской труппе, то фокуснику, то местным любителям. Оленька полнела и вся сияла от удовольствия, а Кукин худел и желтел и жаловался на страшные убытки, хотя всю зиму дела шли недурно. По ночам он кашлял, а она поила его малиной и липовым цветом, натирала одеколоном, кутала в свои мягкие шали.

— Какой ты у меня славенький! — говорила она совершенно искренно, приглаживая ему волосы. — Какой ты у меня хорошенький!

В великом посту он уехал в Москву набирать труппу, а она без него не могла спать, всё сидела у окна и смотрела на звезды. И в это время она сравнивала себя с курами, которые тоже всю ночь не спят и испытывают беспокойство, когда в курятнике нет петуха. Кукин задержался в Москве и писал, что вернется к Святой, и в письмах уже делал распоряжения насчет «Тиволи». Но под страстной понедельник, поздно вечером, вдруг раздался зловещий стук в ворота; кто-то бил в калитку, как в бочку: бум! бум! бум! Сонная кухарка, шлепая босыми ногами по лужам, побежала отворять.

— Отворите, сделайте милость! — говорил кто-то за воротами глухим басом. — Вам телеграмма!

Оленька и раньше получала телеграммы от мужа, но теперь почему-то так и обомлела. Дрожащими руками она распечатала телеграмму и прочла следующее:

«Иван Петрович скончался сегодня скоропостижно сучала ждем распоряжений хохороны вторник».

Так и было напечатано в телеграмме «хохороны» и какое-то еще непонятное слово «сучала»; подпись была режиссера опереточной труппы.

— Голубчик мой! — зарыдала Оленька. — Ваничка мой миленький, голубчик мой! Зачем же я с тобой повстречалась? Зачем я тебя узнала и полюбила? На кого ты покинул свою бедную Оленьку, бедную, несчастную?..

Кукина похоронили во вторник, в Москве, на Ваганькове; Оленька вернулась домой в среду, и как только вошла к себе, то повалилась на постель и зарыдала так громко, что слышно было на улице и в соседних дворах.

— Душечка! — говорили соседки, крестясь. — Душечка Ольга Семеновна, матушка, как убивается!

Три месяца спустя как-то Оленька возвращалась от обедни, печальная, в глубоком трауре. Случилось, что с нею шел рядом тоже возвращавшийся из церкви один из ее соседей Василий Андрейч Пустовалов, управляющий лесным складом купца Бабакаева. Он был в соломенной шляпе и в белом жилете с золотой цепочкой и походил больше на помещика, чем на торговца.

— Всякая вещь имеет свой порядок, Ольга Семеновна, — говорил он степенно, с сочувствием в голосе, — и если кто из наших ближних умирает, то, значит, так богу угодно, и в этом случае мы должны себя помнить и переносить с покорностью.

Доведя Оленьку до калитки, он простился и пошел далее. После этого весь день слышался ей его степенный голос, и едва она закрывала глаза, как мерещилась его темная борода. Он ей очень понравился. И, по-видимому, она тоже произвела на него впечатление, потому что немного погодя к ней пришла пить кофе одна пожилая дама, мало ей знакомая, которая как только села за стол, то немедля заговорила о Пустовалове, о том, что он хороший, солидный человек и что за него с удовольствием пойдет всякая невеста. Через три дня пришел с визитом и сам Пустовалов; он сидел недолго, минут десять, и говорил мало, но Оленька его полюбила, так полюбила, что всю ночь не



спала и горела, как в лихорадке, а утром послала за пожилой дамой. Скоро ее просватали, потом была свадьба.

Пустовалов и Оленька, пожившись, жили хорошо. Обыкновенно он сидел в лесном складе до обеда, потом уходил по делам, и его сменяла Оленька, которая сидела в конторе до вечера и писала там счета и отпускала товар.

— Теперь лес с каждым годом дорожает на двадцать процентов, — говорила она покупателям и знакомым. — Помилуйте, прежде мы торговали местным лесом, теперь же Васичка должен каждый год ездить за лесом в Могилевскую губернию. А какой тариф! — говорила она, в ужасе закрывая обе щеки руками. — Какой тариф!

Ей казалось, что она торгует лесом уже давно-давно, что в жизни самое важное и нужное это лес, и что-то родное, трогательное слышалось ей в словах: балка, кругляк, тес, шелёвка, безымянка, решетник, лафет, горбыль... По ночам, когда она спала, ей снились целые горы досок и теса, длинные, бесконечные вереницы подвод, везущих лес куда-то далеко за город; спилось ей, как целый полк двенадцатиаршинных, пятивершковых бревен стоймя шел войной на лесной склад, как бревна, балки и горбыли стукались, издавая гулкий звук сухого дерева, всё падало и опять вставало, громоздясь друг на друга; Оленька вскрикивала во сне, и Пустовалов говорил ей нежно:

— Оленька, что с тобой, милая? Перекрестись!

Какие мысли были у мужа, такие и у нее. Если он думал, что в комнате жарко или что дела теперь стали тихие, то так думала и она. Муж ее не любил никаких развлечений и в праздники сидел дома, и она тоже.

— И всё вы дома или в конторе, — говорили знакомые. — Вы бы сходили в театр, душечка, или в цирк.

— Нам с Васичкой некогда по театрам ходить, — отвечала она степенно. — Мы люди труда, нам не до пустяков. В театрах этих что хорошего?

По субботам Пустовалов и она ходили ко всенощной, в праздники к ранней обедне и, возвращаясь из церкви, шли рядышком, с умиленными лицами, от обоих хорошо пахло, и ее шелковое платье приятно шумело; а дома пили чай со сдобным хлебом и с разными вареньями, потом кушали пирог. Каждый день в полдень во дворе и за воротами на улице вкусно пахло борщом и жареной бараниной или уткой, а в постные дни — рыбой, и мимо ворот нельзя было пройти без того, чтобы не захотелось есть. В конторе всегда кипел самовар, и покупателей угощали чаем с бубликами. Раз в неделю супруги ходили в баню и возвращались оттуда рядышком, оба красные.

— Ничего, живем хорошо, — говорила Оленька знакомым, — слава Богу. Дай Бог всякому жить, как мы с Васичкой.

Когда Пустовалов уезжал в Могилевскую губернию за лесом, она сильно скучала и по ночам не спала, плакала. Иногда по вечерам приходил к ней полковой ветеринарный врач Смирнин, молодой человек, квартировавший у нее во флигеле. Он рассказывал ей что-нибудь или играл с нею в карты, и это ее развлекало. Особенно интересны были рассказы из его собственной семейной жизни; он был женат и имел сына, но с женой разошелся, так как она ему изменила, и теперь он ее ненавидел и высылал ей ежемесячно по сорока рублей на содержание сына. И, слушая об этом, Оленька вздыхала и покачивала головой, и ей было жаль его.

— Ну, спаси вас Господи, — говорила она, прощаясь с ним и провожая его со свечой до лестницы. — Спасибо, что поскучали со мной, дай бог вам здоровья, царица небесная...

И всё она выражалась так степенно, так рассудительно, подражая мужу; ветеринар уже скрывался вниз за дверь, а она окликала его и говорила:

— Знаете, Владимир Платоныч, вы бы помирились с вашей женой. Простили бы ее хоть ради сына!.. Мальчишечка-то небось всё понимает.

А когда возвращался Пустовалов, она рассказывала ему вполголоса про ветеринара и его несчастную семейную жизнь, и оба вздыхали и покачивали головами и говорили о мальчишке, который, вероятно, скучает по отце, потом, по какому-то странному течению мыслей, оба становились перед образами, клали земные поклоны и молились, чтобы бог послал им детей.

И так прожили Пустоваловы тихо и смиренно, в любви и полном согласии шесть лет. Но вот как-то зимой Василий Андреич в складе, напившись горячего чаю, вышел без шапки отпустить лес, простудился и занемог. Его лечили лучшие доктора, но болезнь взяла свое, и он умер, проболев четыре месяца. И Оленька опять овдовела.

— На кого же ты меня покинул, голубчик мой? — рыдала она, похоронив мужа. — Как же я теперь буду жить без тебя, горькая я и несчастная? Люди добрые, пожалейте меня, сироту круглую...

Она ходила в черном платье с плерезами и уже отказалась навсегда от шляпки и перчаток, выходила из дому редко, только в церковь или на могилку мужа, и жила дома, как монашенка. И только когда прошло шесть месяцев, она сняла плерезы и стала открывать на окнах ставни. Иногда уже видели по утрам, как она ходила за провизией на базар со своей кухаркой, но о том, как она жила у себя теперь и что делалось у нее в доме, можно было только догадываться. По тому, например, догадывались, что видели, как она в своем садике пила чай с ветеринаром, а он читал ей вслух газету, и еще по тому, что, встретясь на почте с одной знакомой дамой, она сказала:

— У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора и от этого много болезней. То и дело слышишь, люди заболевают от молока и заражаются от лошадей и коров. О здоровье домашних животных в сущности надо заботиться так же, как о здоровье людей.

Она повторяла мысли ветеринара и теперь была обо всем такого же мнения, как он. Было ясно, что она не могла прожить без привязанности и одного года и нашла свое новое счастье у себя во флигеле. Другую бы осудили за это, но об Оленьке никто не мог подумать дурно, и всё было так понятно в ее жизни. Она и ветеринар никому не говорили о перемене, какая произошла в их отношениях, и старались скрыть, но это им не удавалось, потому что у Оленьки не могло быть тайн. Когда к нему приходили гости, его сослуживцы по полку, то она, наливая им чай или подавая ужинать, начинала говорить о чуме на рогатом скоте, о жемчужной болезни, о городских бойнях, а он страшно конфузился и, когда уходили гости, хватал ее за руку и шипел сердито:

— Я ведь просил тебя не говорить о том, чего ты не понимаешь! Когда мы, ветеринары, говорим между собой, то, пожалуйста, по вмешивайся. Это, наконец, скучно!

А она смотрела на него с изумлением и с тревогой и спрашивала:

— Володичка, о чем же мне говорить?!

И она со слезами на глазах обнимала его, умоляла не сердиться, и оба были счастливы.

Но, однако, это счастье продолжалось недолго. Ветеринар уехал вместе с полком, уехал навсегда, так как полк перевели куда-то очень далеко, чуть ли не в Сибирь. И Оленька осталась одна.

Теперь уже она была совершенно одна. Отец давно уже умер, и кресло его валялось на чердаке, запыленное, без одной ножки. Она похудела и подурнела, и на улице встречные уже не глядели на нее, как прежде, и не улыбались ей: очевидно, лучшие годы уже прошли, остались позади, и теперь начиналась какая-то новая жизнь, неизвестная, о которой лучше не думать. По вечерам Оленька сидела на крылечке, и ей слышно было, как в «Тиволи» играла музыка и лопались ракеты, но это уже не вызывало никаких мыслей. Глядела она безучастно на свой пустой двор, ни о

чем не думала, ничего не хотела, а потом, когда наступала ночь, шла спать и видела во сне свой пустой двор. Ела и пила она, точно поневоле.

А главное, что хуже всего, у нее уже не было никаких мнений. Она видела кругом себя предметы и понимала всё, что происходило кругом, но ни о чем не могла составить мнения и не знала, о чем ей говорить. А как это ужасно не иметь никакого мнения! Видишь, например, как стоит бутылка, или идет дождь, или едет мужик на телеге, но для чего эта бутылка, или дождь, или мужик, какой в них смысл, сказать не можешь и даже за тысячу рублей ничего не сказал бы. При Кукине и Пустовалове и потом при ветеринаре Оленька могла объяснить всё и сказала бы свое мнение о чем угодно, теперь же и среди мыслей и в сердце у нее была такая же пустота, как на дворе. И так жутко, и так горько, как будто объелась полыни.

Город мало-помалу расширялся во все стороны; Цыганскую Слободку уже называли улицей, и там, где были сад «Тиволи» и лесные склады, выросли уже дома и образовался ряд переулков. Как быстро бежит время! Дом у Оленьки потемнел, крыша заржавела, сарай покосился, и весь двор порос бурьяном и колючей крапивой. Сама Оленька постарела, подурнела: летом она сидит на крылечке, и на душе у нее по-прежнему и пусто, и нудно, и отдаёт полыньё, а зимой сидит она у окна и глядит на снег. Повеет ли весной, донесет ли ветер звон соборных колоколов, и вдруг нахлынут воспоминания о прошлом, сладко сожмется сердце, и из глаз польются обильные слезы, но это только на минуту, а там опять пустота, и неизвестно, зачем живешь. Черная кошечка Брыска ласкается и мягко мурлычет, но не трогают Оленьку эти кошачьи ласки. Это ли ей нужно? Ей бы такую любовь, которая захватила бы всё ее существо, всю душу, разум, дала бы ей мысли, направление жизни, согрела бы ее стареющую кровь. И она стряхивает с подола черную Брыску и говорит ей с досадой:

— Поди, поди... Нечего тут!

И так день за днем, год за годом, — и ни одной радости, и нет никакого мнения. Что сказала Мавра-кухарка, то и хорошо.

В один жаркий июльский день, под вечер, когда по улице гнали городское стадо и весь двор наполнился облаками пыли, вдруг кто-то постучал в калитку. Оленька пошла сама отворять и, как взглянула, так и обомлела: за воротами стоял ветеринар Смирнин, уже седой и в штатском платье. Ей вдруг вспомнилось всё, она не удержалась, заплакала и положила ему голову на грудь, не сказавши ни одного слова, и в сильном волнении не заметила, как оба потом вошли в дом, как сели чай пить.

— Голубчик мой! — бормотала она, дрожа от радости. — Владимир Платоныч! Откуда бог принес?

— Хочу здесь совсем поселиться, — рассказывал он. — Подал в отставку и вот приехал попробовать счастья на воле, пожить оседлой жизнью. Да и сына пора уж отдавать в гимназию. Вырос. Я-то, знаете ли, помирился с женой.

— А где же она? — спросила Оленька.

— Она с сыном в гостинице, а я вот хожу и квартиру ищу.

— Господи, батюшка, да возьмите у меня дом! Чем не квартира? Ах, Господи, да я с вас ничего и не возьму, — заволновалась Оленька и опять заплакала. — Живите тут, а с меня и флигеля довольно. Радость-то, Господи!

На другой день уже красили на доме крышу и белили стены, и Оленька, подбоченясь, ходила по двору и распорядилась. На лице ее засветилась прежняя улыбка, и вся она ожила, посвежела, точно очнулась от долгого сна. Приехала жена ветеринара, худая, некрасивая дама с короткими волосами и с капризным выражением, и с нею мальчик, Саша, маленький не по летам (ему шел уже

десятый год), полный, с ясными голубыми глазами и с ямочками на щеках. И едва мальчик вошел во двор, как побежал за кошкой, и тотчас же послышался его веселый, радостный смех,

— Тетенька, это ваша кошка? — спросил он у Оленьки. — Когда она у вас оценится, то, пожалуйста, подарите нам одного котеночка. Мама очень боится мышей.

Оленька поговорила с ним, напоила его чаем, и сердце у нее в груди стало вдруг теплым и сладко сжалось, точно этот мальчик был ее родной сын. И когда вечером он, сидя в столовой, повторял уроки, она смотрела на него с умиленной и с жалостью и шептала:

— Голубчик мой, красавчик... Деточка моя, и уродился же ты такой умненький, такой беленький.

— Островом называется, — прочел он, — часть суши, со всех сторон окруженная водою.

— Островом называется часть суши... — повторила она, и это было ее первое мнение, которое она высказала с уверенностью после стольких лет молчания и пустоты в мыслях.

И она уже имела свои мнения и за ужином говорила с родителями Саша о том, как теперь детям трудно учиться в гимназиях, но что все-таки классическое образование лучше реального, так как из гимназии всюду открыта дорога: хочешь — иди в доктора, хочешь — в инженеры.

Саша стал ходить в гимназию. Его мать уехала в Харьков к сестре и не возвращалась: отец его каждый день уезжал куда-то осматривать гурты и, случалось, не жила дома дня по три, и Оленьке казалось, что Сашу совсем забросили, что он лишний в доме, что он умирает с голоду; и она перевела его к себе во флигель и устроила его там в маленькой комнате.

И вот уже прошло полгода, как Саша живет у нее во флигеле. Каждое утро Оленька входит в его комнату; он крепко спит, подложив руку под щеку, не дышит. Ей жаль будить его.

— Сашенька, — говорит она печально, — вставай, голубчик! В гимназию пора.

Он встает, одевается, молится богу, потом садится чай пить; выпивает три стакана чаю и съедает два больших бублика и пол французского хлеба с маслом. Он еще не совсем очнулся от сна и потому не в духе.

— А ты, Сашенька, не твердо выучил басню, — говорит Оленька и глядит на него так, будто провожает его в дальнюю дорогу. — Забота мне с тобой. Уж ты старайся, голубчик, учись... Слушайся учителей.

— Ах, оставьте, пожалуйста! — говорит Саша.

Затем он идет по улице в гимназию, сам маленький, но в большом картузе, с ранцем на спине. За ним бесшумно идет Оленька.

— Сашенька-а! — окликает она.

Он оглядывается, а она сует ему в руку финик или карамельку. Когда поворачивают в тот переулок, где стоит гимназия, ему становится совестно, что за ним идет высокая, полная женщина; он оглядывается и говорит:

— Вы, тетя, идите домой, а теперь уже я сам дойду.

Она останавливается и смотрит ему вслед, не мигая, пока он не скрывается в подъезде гимназии. Ах, как она его любит! Из ее прежних привязанностей ни одна не была такою глубокою, никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней всё более и более разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает — почему?

Проводив Сашу в гимназию, она возвращается домой тихо, такая довольная, покойная, любвеобильная; ее лицо, помолодевшее за последние полгода, улыбается, сияет; встречные, глядя на нее, испытывают удовольствие и говорят ей:

— Здравствуйте, душечка Ольга Семеновна! Как поживаете, душечка?

— Трудно теперь стало в гимназии учиться, — рассказывает она на базаре. — Шутка ли, вчера в первом классе задали басню наизусть, да перевод латинский, да задачу... Ну, где тут маленькому?

И она начинает говорить об учителях, об уроках, об учебниках. — то же самое, что говорит о них Саша.

В третьем часу вместе обедают, вечером вместе готовят уроки и плачут. Укладывая его в постель, она долго крестит его и шепчет молитву, потом, ложась спать, грезит о том будущем, далеком и туманном, когда Саша, кончив курс, станет доктором или инженером, будет иметь собственный большой дом, лошадей, коляску, женится и у него родятся дети... Она засыпает и всё думает о том же, и слезы текут у нее по щекам из закрытых глаз. И черная кошечка лежит у нее под боком и мурлычет:

— Мур... мур... мур...

Вдруг сильный стук в калитку. Оленька просыпается и не дышит от страха; сердце у нее сильно бьется. Проходит полминуты, и опять стук.

«Это телеграмма из Харькова. — думает она, начиная дрожать всем телом. — Мать требует Сашу к себе в Харьков... О Господи!»

Она в отчаянии; у нее холодеют голова, ноги, руки, и кажется, что несчастнее ее нет человека во всем свете. Но проходит еще минута, слышатся голоса: это ветеринар вернулся домой из клуба.

«Ну, слава Богу», — думает она.

От сердца мало-помалу отстает тяжесть, опять становится легко; она ложится и думает о Саше, который спит крепко в соседней комнате и изредка говорит в бреду:

— Я тебе! Пошел вон! Не дерись!

## Архиерей

Под вербное воскресенье в Старо-Петровском монастыре шла всенощная. Когда стали раздавать вербы, то был уже десятый час на исходе, огни потускнели, фитили нагорели, было все, как в тумане. В церковных сумерках толпа колыхалась, как море, и преосвященному Петру, который был нездоров уже дня три, казалось, что все лица и старые, и молодые, и мужские, и женские походили одно на другое, у всех, кто подходил за вербой, одинаковое выражение глаз. В тумане не было видно дверей, толпа все двигалась, и похоже было, что ей нет и не будет конца. Пел женский хор, канон читала монашенка.

Как было душно, как жарко! Как долго шла всенощная! Преосвященный Петр устал. Дыхание у него было тяжелое, частое, сухое, плечи болели от усталости, ноги дрожали. И неприятно волновало, что на хорах изредка вскрикивал юродивый. А тут еще вдруг, точно во сне или в бреду, показалось преосвященному, будто в толпе подошла к нему его родная мать Мария Тимофеевна, которой он не видел уже девять лет, или старуха, похожая на мать, и, принявши от него вербу, отошла и все время глядела на него весело, с доброй, радостной улыбкой, пока не смешалась с толпой. И почему-то слезы потекли у него по лицу. На душе было покойно, все было благополучно,

но он неподвижно глядел на левый клирос, где читали, где в вечерней мгле уже нельзя было узнать ни одного человека, и плакал. Слезы заблестели у него на лице, на бороде. Вот вблизи еще кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом еще и еще, и мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем. А немного погодя, минут через пять, монашеский хор пел, уже не плакали, все было попржнему.

Скоро и служба кончилась. Когда архиерей сел в карету, чтобы ехать домой, то по всему саду, освещенному луной, разливался веселый, красивый звон дорогих, тяжелых колоколов. Белые стены, белые кресты на могилах, белые березы и черные тени, и далекая луна на небе, стоявшая как раз над монастырем, казалось теперь, жили своей особой жизнью, непонятной, но близкой человеку. Был апрель в начале, и после теплого весеннего дня стало прохладно, слегка подморозило, и в мягком холодном воздухе чувствовалось дыхание весны. Дорога от монастыря до города шла по песку, надо было ехать шагом; и по обе стороны кареты, в лунном свете, ярком и покойном, плелись по песку богомольцы. И все молчали, задумавшись, все было кругом приветливо, молодо, так близко, все и деревья, и небо, и даже луна, и хотелось думать, что так будет всегда.

Наконец, карета въехала в город, покатила по главной улице. Лавки были уже заперты, и только у купца Еракина, миллионера, пробовали электрическое освещение, которое сильно мигало, и около толпился народ. Потом пошли широкие темные улицы, одна за другою, безлюдные, земское шоссе за городом, поле, запахло сосной. И вдруг выросла перед глазами белая зубчатая стена, а за нею высокая колокольня, вся залитая светом, и рядом с ней пять больших, золотых, блестящих глав, это Панкратиевский монастырь, в котором жил преосвященный Петр. И тут также высоко над монастырем тихая, задумчивая луна. Карета въехала в ворота, скрипя по песку, кое-где в лунном свете замелькали черные монашеские фигуры, слышались шаги по каменным плитам...

- А тут, ваше преосвященство, ваша мамаша без вас приехали, - доложил келейник, когда преосвященный входил к себе.

- Маменька? Когда она приехала?

- Перед всенощной. Справлялись сначала, где вы, а потом поехали в женский монастырь.

- Это, значит, я ее в церкви видел давеча! О Господи!

И преосвященный засмеялся от радости.

- Они велели, ваше преосвященство, доложить, продолжал келейник, что придут завтра. С ними девочка, должно внука. Остановились на постоялом дворе Овсянникова.

- Который теперь час?

- Двенадцатый в начале.

- Эх, досадно!

Преосвященный посидел немного в гостиной, раздумывая и как бы не веря, что уже так поздно. Руки и ноги у него поламывало, болел затылок. Было жарко и неудобно. Отдохнув, он пошел к себе в спальню и здесь тоже посидел, все думая о матери. Слышно было, как уходил келейник и как за стеной покашливал отец Сисой, иеромонах. Монастырские часы пробили четверть.

Преосвященный переоделся и стал читать молитвы на сон грядущий. Он внимательно читал эти старые, давно знакомые молитвы и в то же время думал о своей матери. У нее было девять душ детей и около сорока внуков. Когда-то со своим мужем, дьяконом, жила она в бедном селе, жила там очень долго, с семнадцати до шестидесяти лет. Преосвященный помнил ее с раннего детства, чуть ли не с трех лет и как любил! Милое, дорогое, незабвенное детство! Отчего оно, это навеки ушедшее, невозвратное время, отчего оно кажется светлее, праздничнее и богаче, чем было на самом деле?

Когда в детстве или юности он бывал нездоров, то как нежна и чутка была мать! И теперь молитвы мешались с воспоминаниями, которые разгорались все ярче, как пламя, и молитвы не мешали думать о матери.

Кончив молиться, он разделся и лег, и тотчас же, как только стало темно кругом, представились ему его покойный отец, мать, родное село Лесополье... Скрип колес, блеяние овец, церковный звон в ясные, летние утра, цыгане под окном, о, как сладко думать об этом! Припомнился священник лесопольский, отец Симеон, кроткий, смиренный, добродушный; сам он был тощ, невысок, сын же его, семинарист, был громадного роста, говорил неистовым басом; как-то попovich обозлился на кухарку и выбралил ее: "Ах ты, ослица Иегудиилова!", и отец Симеон, слышавший это, не сказал ни слова и только устыдился, так как не мог вспомнить, где в священном писании упоминается такая ослица. После него в Лесополье священником был отец Демьян, который сильно запивал и напивался подчас до зеленого змия, и у него даже прозвище было: Демьян-Змеевидец. В Лесополье учителем был Матвей Николаич, из семинаристов, добрый, неглупый человек, но тоже пьяница; он никогда не бил учеников, но почему-то у него на стене всегда висел пучок березовых розог, а под ним надпись на латинском языке, совершенно бессмысленная, *Betula kinderbalsamica secuta*. Была у него черная мохнатая собака, которую он называл так: Синтаксис.

И преосвященный засмеялся. В восьми верстах от Лесополя село Обнино с чудотворной иконой. Из Обнина летом носили икону крестным ходом по соседним деревням и звонили целый день то в одном селе, то в другом, и казалось тогда преосвященному, что радость дрожит в воздухе, и он (тогда его звали Павлушей) ходил за иконой без шапки, босиком, с наивной верой, с наивной улыбкой, счастливый бесконечно. В Обнине, вспомнилось ему теперь, всегда было много народу, и тамошний священник отец Алексей, чтобы успевать на проскомидии, заставлял своего глухого племянника Илариона читать записочки и записи на просфорах "о здравии" и "за упокой"; Иларион читал, изредка получая по пятаку или гривеннику за обедню, и только уж когда поседел и облысел, когда жизнь прошла, вдруг видит, на бумажке написано: "Да и дурак же ты, Иларион!" По крайней мере до пятнадцати лет Павлуша был неразвит и учился плохо, так что даже хотели взять его из духовного училища и отдать в лавочку; однажды, придя в Обнино на почту за письмами, он долго смотрел на чиновников и спросил: "Позвольте узнать, как вы получаете жалованье: помесечно или поденно?"

Преосвященный перекрестился и повернулся на другой бок, чтобы больше не думать и спать.

Моя мать приехала... вспомнил он и засмеялся.

Луна глядела в окно, пол был освещен, и на нем лежали тени. Кричал сверчок. В следующей комнате за стеной похрапывал отец Сисой, и что-то одинокое, сиротское, даже бродяжническое слышалось в его стариковском храпе. Сисой был когда-то экономом у епархиального архиерея, а теперь его зовут "бывший отец эконом"; ему семьдесят лет, живет он в монастыре, в шестнадцати верстах от города, живет и в городе, где придется. Три дня назад он зашел в Панкратиевский монастырь, и преосвященный оставил его у себя, чтобы как-нибудь на досуге поговорить с ним о делах, о здешних порядках...

В половине второго ударили к заутрене. Слышно было, как отец Сисой закашлял, что-то проворчал недовольным голосом, потом встал и прошелся босиком по комнатам.

- Отец Сисой! - позвал преосвященный.

Сисой ушел к себе и немного погодя явился уже в сапогах, со свечкой; на нем сверх белья была ряса, на голове старая, полинялая скуфейка.

- Не спится мне, - сказал преосвященный, садясь. - Нездоров я, должно быть. И что оно такое, не знаю. Жар!

- Должно, простудились, владыко. Надо бы вас свечным салом смазать.

Сисой постоял немного и зевнул: - "О Господи, прости меня, грешного!"

- У Еракина нынче электричество зажигали, - сказал он. Не ндравится мне!

Отец Сисой был стар, тощ, сгорблен, всегда недоволен чем-нибудь, и глаза у него были сердитые, выпуклые, как у рака.

- Не ндравится! повторил он, уходя. Не ндравится, Бог с ним со всем!

На другой день, в вербное воскресенье, преосвященный служил обедню в городском соборе, потом был у епархиального архиерея, был у одной очень больной старой генеральши и, наконец, поехал домой. Во втором часу у него обедали дорогие гости: старуха мать и племянница Катя, девочка лет восьми. Во время обеда в окна со двора все время смотрело весеннее солнышко и весело светилося на белой скатерти, в рыжих волосах Кати. Сквозь двойные рамы слышно было, как шумели в саду грачи и пели скворцы.

- Уже девять лет, как мы не виделись, - говорила старуха, - а вчера в монастыре как поглядела на вас Господи! И ни капельки не изменились, только вот разве похудели, и борода длинней стала. Царица небесная, матушка! И вчерась во всеобщей нельзя было удержаться, все плакали. Я тоже вдруг, на вас глядя, заплакала, а отчего, и сама не знаю. Его святая воля!

И, несмотря на ласковость, с какой она говорила это, было заметно, что она стеснялась, как будто не знала, говорить ли ему ты, или вы, смеяться или нет, и как будто чувствовала себя больше дьяконицей, чем матерью. А Катя, не мигая, глядела на своего дядю, преосвященного, как бы желая разгадать, что это за человек. Волоса у нее поднимались из-за гребенки и бархатной ленточки и стояли, как сияние, нос был вздернутый, глаза хитрые. Перед тем, как садиться обедать, она разбила стакан, и теперь бабушка, разговаривая, отодвигала от нее то стакан, то рюмку. Преосвященный слушал свою мать и вспоминал, как когда-то много-много лет назад, она возила и его, и братьев, и сестер к родственникам, которых считала богатыми; тогда хлопотала с детьми, и теперь с внучатами и привезла вот Катю...

- У Вареньки, у сестры вашей, четверо детей, - рассказывала она, - вот эта Катя самая старшая, и Бог его знает, от какой причины, зять отец Иван захворал это и помер дня за три до Успенья. И Варенька моя теперь хоть по миру ступай.

- А как Никанор? - спросил преосвященный про своего старшего брата.

- Ничего, слава Богу. Хоть и ничего, а, благодарить Бога, жить можно. Только вот одно: сын его Николаша, внучек мой, не захотел по духовной части, пошел в университет в доктора. Думает, лучше, а кто его знает! Его святая воля.

- Николаша мертвецов режет, - сказала Катя и пролила воду себе на колени.

- Сиди, деточка, смирно, - заметила спокойно бабушка и взяла у нее из рук стакан. - Кушай с молитвой.

- Сколько времени мы не видались! - сказал преосвященный и нежно погладил мать по плечу и по руке. - Я, маменька, скучал по вас за границей, сильно скучал.

- Благодарим вас.

- Сидишь, бывало, вечером у открытого окна, один одинешенек, заиграет музыка, и вдруг охватит тоска по родине, и, кажется, все бы отдал, только бы домой, вас повидать...

Мать улыбнулась, просияла, но тотчас же сделала серьезное лицо и проговорила:

- Благодарим вас.



Настроение переменялось у него как-то вдруг. Он смотрел на мать и не понимал, откуда у нее это почтительное, робкое выражение лица и голоса, зачем оно, и не узнавал ее. Стало грустно, досадно. А тут еще голова болела так же, как вчера, сильно ломило ноги, и рыба казалась пресной, невкусной, все время хотелось пить...

После обеда приезжали две богатые дамы, помещицы, которые сидели часа полтора молча, с вытянутыми физиономиями; приходил по делу архимандрит, молчаливый и глуховатый. А там зазвонили к вечерне, солнце опустилось за лесом, и день прошел. Вернувшись из церкви, преосвященный торопливо помолился, лег в постель, укрылся потеплей.

Неприятно было вспоминать про рыбу, которую ел за обедом. Лунный свет беспокоил его, а потом послышался разговор. В соседней комнате, должно быть в гостиной, отец Сисой говорил о политике:

- У японцев теперь война. Воюют. Японцы, матушка, все равно, что черногорцы, одного племени. Под игом турецким вместе были.

А потом послышался голос Марии Тимофеевны:

- Значит, Богу помолившись, это, чаю напившись, поехали мы, значит, к отцу Егору в Новохатное, это...

И то и дело "чаю напившись", или "напимшись", и похоже было, как будто в своей жизни она только и знала, что чай пила. Преосвященному медленно, вяло вспоминалась семинария, академия. Года три он был учителем греческого языка в семинарии, без очков уже не мог смотреть в книгу, потом постригся в монахи, его сделали инспектором. Потом защищал диссертацию. Когда ему было тридцать два года, его сделали ректором семинарии, посвятили в архимандриты, и тогда жизнь была такой легкой, приятной, казалась длинной длинной, конца не было видно. Тогда же стал болеть, похудел очень, едва не ослеп и, по совету докторов, должен был бросить все и уехать за границу.

- А потом что? спросил Сисой в соседней комнате.

- А потом чай пили... - ответила Марья Тимофеевна.

- Батюшка, у вас борода зеленая! - проговорила вдруг Катя с удивлением и засмеялась.

Преосвященный вспомнил, что у седого отца Сисоя борода в самом деле отдает зеленью, и засмеялся.

- Господи Боже мой, наказание с этой девчонкой! - проговорил громко Сисой рассердившись. - Балованная какая! Сиди смирно!

Вспомнилось преосвященному белая церковь, совершенно новая, в которой он служил, живя за границей; вспомнился шум теплого моря. Квартира была в пять комнат, высоких и светлых, в кабинете новый письменный стол, библиотека. Много читал, часто писал. И вспомнилось ему, как он тосковал по родине, как слепая нищая каждый день у него под окном пела о любви и играла на гитаре, а он, слушая ее, почему-то всякий раз думал о прошлом. Но вот минуло восемь лет, и его вызвали в Россию, и теперь он уже состоит викарным архиереем, и все прошлое ушло куда-то далеко, в туман, как будто снилось...

В спальню вошел отец Сисой со свечой.

- Эва, - удивился он, - вы уже спите, преосвященнейший?

- Что такое?

- Да ведь еще рано, десять часов, а то и меньше. Я свечку нынче купил, хотел было вас салом смазать.

- У меня жар... - проговорил преосвященный и сел. - В самом деле, надо бы что-нибудь. В голове нехорошо...

Сисой снял с него рубаху и стал натирать ему грудь и спину свечным салом.

- Вот так... вот так... - говорил он. Господи Иисусе Христе... Вот так. Сегодня ходил я в город, был у того как его? протоиерея Сидонского... Чай пил у него... Не ндравится он мне! Господи Иисусе Христе... Вот так... Не ндравится!

Епархиальный архиерей, старый, очень полный, был болен ревматизмом или подагрой и уже месяц не вставал с постели. Преосвященный Петр проводывал его почти каждый день и принимал вместо него просителей. И теперь, когда ему нездоровилось, его поражала пустота, мелкость всего того, о чем просили, о чем плакали; его сердили неразвитость, робость; и все это мелкое и ненужное угнетало его своею массою, и ему казалось, что теперь он понимал епархиального архиерея, который когда-то, в молодые годы писал "Учения о свободе воли", теперь же, казалось, весь ушел в мелочи, все позабыл и не думал о Боге. За границей преосвященный, должно быть, отвык от русской жизни, она была не легка для него; народ казался ему грубым, женщины-просительницы скучными и глупыми, семинаристы и их учителя необразованными, порой дикими. А бумаги, входящие и исходящие, считались десятками тысяч, и какие бумаги! Благочинные во всей епархии ставили священникам, молодым и старым, даже их женам и детям, отметки по поведению, пятерки и четверки, а иногда и тройки, и об этом приходилось говорить, читать и писать серьезные бумаги. И положительно нет ни одной свободной минуты, целый день душа дрожит, и успокаивался преосвященный Петр, только когда бывал в церкви.

Не мог он никак привыкнуть и к страху, какой он, сам того не желая, возбуждал в людях, несмотря на свой тихий, скромный нрав. Все люди в этой губернии, когда он глядел на них, казались ему маленькими, испуганными, виноватыми. В его присутствии робели все, даже старики протоиереи, все "бухали" ему в ноги, а недавно одна просительница, старая деревенская попадья, не могла выговорить ни одного слова от страха, так и ушла ни с чем. И он, который никогда не решался в проповедях говорить дурно о людях, никогда не упрекал, так как было жалко, с просителями выходил из себя, сердился, бросал на пол прошения. За все время, пока он здесь, ни один человек не поговорил с ним искренно, попросту, по-человечески; даже старуха мать, казалось, была уже не та, совсем не та! И почему, спрашивается, с Сисоем она говорила без умолку и смеялась много, а с ним, с сыном, была серьезна, обыкновенно молчала, стеснялась, что совсем не шло к ней? Единственный человек, который держал себя вольно в его присутствии и говорил все, что хотел, был старик Сисой, который всю свою жизнь находился при архиереях и пережил их одиннадцать душ. И потому-то с ним было легко, хотя, несомненно, это был тяжелый, вздорный человек.

Во вторник после обедни преосвященный был в архиерейском доме и принимал там просителей, волновался, сердился, потом поехал домой. Ему попрежнему нездоровилось, тянуло в постель; но едва он вошел к себе, как доложили, что приехал Еракин, молодой купец, жертвователь, по очень важному делу. Надо было принять его. Сидел Еракин около часа, говорил очень громко, почти кричал, и было трудно понять, что он говорит.

- Дай Бог, чтоб! - говорил он, уходя. - Всенепременнейше! По обстоятельствам, владыко преосвященнейший! Желаю, чтоб!

После него приезжала игуменья из дальнего монастыря. А когда она уехала, то ударили к вечерне, надо было идти в церковь.

Вечером монахи пели стройно, вдохновенно, служил молодой иеромонах с черной бородой; и преосвященный, слушая про жениха, грядущего в полунощи, и про чертог украшенный, чувствовал не раскаяние в грехах, не скорбь, а душевный покой, тишину и уносился мыслями в далекое

прошлое, в детство и юность, когда также пели про жениха и про чертог, и теперь это прошлое представлялось живым, прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда и не было. И, быть может, на том свете, в той жизни мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней жизни с таким же чувством. Кто знает! Преосвященный сидел в алтаре, было тут темно. Слезы текли по лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении, он веровал, но все же не все было ясно, чего-то еще недоставало, не хотелось умирать; и все еще казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то, и в настоящем волнует все та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей.

"Как они сегодня хорошо поют! думал он, прислушиваясь к пению. Как хорошо!"

В четверг служил он обедню соборе, - было омовение ног. Когда в церкви кончилась служба и народ расходился по домам, то было солнечно, тепло, весело, шумела в канавах вода, а за городом доносилось с полей непрерывное пение жаворонков, нежное, призывающее к покою. Деревья уже проснулись и улыбались приветливо, и над ними, Бог знает куда, уходило бездонное, необъятное голубое небо.

Приехав домой, преосвященный Петр напился чаю, потом переоделся, лег в постель и приказал келейнику закрыть ставни на окнах. В спальне стало сумрачно. Однако какая усталость, какая боль в ногах и спине, тяжелая, холодная боль, какой шум в ушах! Он давно не спал, как казалось теперь, очень давно, и мешал ему уснуть какой-то пустяк, который брезжил в мозгу, как только закрывались глаза. Как и вчера, из соседних комнат сквозь стену доносились голоса, звук стаканов, чайных ложек... Мария Тимофеевна весело, с прибаутками рассказывала о чем-то отцу Сисою, а этот угрюмо, недовольным голосом отвечал: "Ну их! Где уж! Куда там!" И преосвященному опять стало досадно и потом обидно, что с чужими старуха держала себя обыкновенно и просто, с ним же, с сыном, робела, говорила редко и не то, что хотела, и даже, как казалось ему, все эти дни, в его присутствии все искала предлога, чтобы встать, так как стеснялась сидеть. А отец? Тот, вероятно, если бы был жив, не мог бы выговорить при нем ни одного слова...

Что-то упало в соседней комнате на пол и разбилось; должно быть, Катя уронила чашку или блюдечко, потому что отец Сисой вдруг плюнул и проговорил сердито:

- Чистое наказание с этой девочкой, Господи, прости меня, грешного! Не напасешься!

Потом стало тихо, только доносились звуки со двора. И когда преосвященный открыл глаза, то увидел у себя в комнате Катю, которая стояла неподвижно и смотрела на него. Рыжие волосы по обыкновению поднимались из-за гребенки, как сияние.

- Ты, Катя? спросил он. Кто это там внизу все открывает и затворяет дверь?

- Я не слышу, - ответила Катя и прислушалась.

- Вот сейчас кто-то прошел.

- Да это у вас в животе, дядечка!

Он рассмеялся и погладил ее по голове.

- Так брат Николаша, говоришь, мертвецов режет? - спросил он помолчав.

- Да. Учится.

- А он добрый?

- Ничего, добрый. Только водку пьет шибко.

- А отец твой от какой болезни умер?

- Папаша были слабые и худые-худые, и вдруг горло. И я тогда захворала и брат Федя, у всех горло. Папаша померли, дядечка, а мы выздоровели.

У нее задрожал подбородок, и слезы показались на глазах, поползли по щекам.

- Ваше преосвященство, - проговорила она тонким голоском, уже горько плача, - дядечка, мы с мамашей остались несчастными... Дайте нам немножечко денег... будьте такие добрые... голубчик!..

Он тоже прослезился и долго от волнения не мог выговорить ни слова, потом погладил ее по голове, потрогал за плечо и сказал:

- Хорошо, хорошо, девочка. Вот наступит светлое Христово воскресение, тогда потолкуем... Я помогу... помогу...

Тихо, робко вошла мать и помолилась на образа. Заметив, что он не спит, она спросила:

- Не покушаете ли супчику?

- Нет, благодарю... - ответил он. - Не хочется.

- А вы, похоже, нездоровы... как я погляжу. Еще бы, как не захворать! Целый день на ногах, целый день и Боже мой, даже глядеть на вас и то тяжело. Ну, святая не за горами, отдохнете, Бог даст, тогда и поговорим, а теперь не стану я беспокоить вас своими разговорами. Пойдем, Катечка, пусть владыка поспит.

И он вспомнил, как когда-то очень давно, когда он был еще мальчиком, она точно также, таким же шутливо-почтительным тоном говорила с благочинным... Только по необыкновенно добрым глазам, робкому, озабоченному взгляду, который она мельком бросила, выходя из комнаты, можно было догадаться, что это была мать. Он закрыл глаза и, казалось, спал, но слышал два раза, как били часы, как покашливал за стеной отец Сисой. И еще раз входила мать и минуту робко глядела на него. Кто-то подъехал к крыльцу, как слышно, в карете или в коляске. Вдруг стук, хлопнула дверь: вошел в спальню келейник.

- Ваше преосвященство! - окликнул он.

- Что?

- Лошади поданы, пора к страстям Господним.

- Который час?

- Четверть восьмого.

Он оделся и поехал в собор. В продолжение всех двенадцати евангелий нужно было стоять среди церкви неподвижно, и первое евангелие, самое длинное, самое красивое, читал он сам. Бодрое, здоровое настроение овладело им. Это первое евангелие "Ныне прославился сын человеческий" он знал наизусть; и, читая, он изредка поднимал глаза и видел по обе стороны целое море огней, слышал треск свечей, но людей не было видно, как и в прошлые годы, и, казалось, что это все те же люди, что были тогда в детстве и в юности, что они все те же будут каждый год, а до каких пор одному богу известно.

Отец его был дьякон, дед священник, прадед дьякон, и весь род его, быть может, со времен принятия на Руси христианства, принадлежал к духовенству, и любовь его к церковным службам, духовенству, к звону колоколов была у него врожденной, глубокой, неискоренимой; в церкви он, особенно когда сам участвовал в служении, чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым. Так и теперь. Только когда прочли уже восьмое евангелие, он почувствовал, что ослабел у него голос, даже кашля не было слышно, сильно разболелась голова, и стал беспокоить страх, что он вот-вот упадет.

И в самом деле, ноги совсем онемели, так что мало-помалу он перестал ощущать их, и непонятно ему было, как и на чем он стоит, отчего не падает...

Когда служба кончилась, было без четверти двенадцать. Приехав к себе, преосвященный тотчас же разделся и лег, даже Богу не помолился. Он не мог говорить и, казалось ему, не мог бы уже стоять. Когда он укрывался одеялом, захотелось вдруг за границу, нестерпимо захотелось! Кажется, жизнь бы отдал, только бы не видеть этих жалких, дешевых ставен, низких потолков, не чувствовать этого тяжелого монастырского запаха. Хоть бы один человек, с которым можно было бы поговорить, отвести душу!

Долго слышались чьи-то шаги в соседней комнате, и он никак не мог вспомнить, кто это. Наконец, отворилась дверь, вошел Сисой со свечой и с чайной чашкой в руках.

- Вы уже легли, преосвященнейший? - спросил он. - А я вот пришел, хочу вас смазать водкой с уксусом. Ежели натереться хорошо, то большая от этого польза. Господи Иисусе Христе... Вот так... Вот так... А я сейчас в нашем монастыре был... Не ндравится мне! Уйду отсюда завтра, владыко, не желаю больше. Господи Иисусе Христе... Вот так...

Сисой не мог долго оставаться на одном месте, и ему казалось, что в Панкратиевском монастыре он живет уже целый год. А главное, слушая его, трудно было понять, где его дом, любит ли он кого-нибудь или что-нибудь, верует ли в Бога... Ему самому было непонятно, почему он монах, да и не думал он об этом, и уже давно стерлось в памяти время, когда его постригли; похоже было, как будто он прямо родился монахом.

- Уйду завтра. Бог с ним, со всем!

- Мне бы потолковать с вами... все никак не соберусь, - проговорил преосвященный тихо, через силу. - Я ведь тут никого и ничего не знаю.

- До воскресенья, извольте, останусь, так и быть уж, а больше не желаю. Ну их!

- Какой я архиерей? - продолжал тихо преосвященный. - Мне бы быть деревенским священником, дьячком... или просто монахом... Меня давит все это... давит...

- Что? Господи Иисусе Христе... Вот так... Ну, спите себе, преосвященнейший!.. Что уж там! Куда там! Спокойной ночи!

Преосвященный не спал всю ночь. А утром, часов в восемь, у него началось кровотечение из кишок. Келейник испугался и побежал сначала к архимандриту, потом за монастырским доктором Иваном Андреичем, жившим в городе. Доктор, полный старик, с длинной седой бородой, долго осматривал преосвященного и все покачивал головой и хмурился, потом сказал:

- Знаете, ваше преосвященство? Вель у вас брюшной тиф!

От кровотечений преосвященный в какой-нибудь час очень похудел, побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза были большие, и как будто он постарел, стал меньше ростом, и ему уже казалось, что он худее и слабее, незначительнее всех, что все то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже более не повторится, не будет продолжаться.

"Как хорошо! думал он. Как хорошо!"

Пришла старуха мать. Увидев его сморщенное лицо и большие глаза, она испугалась, упала на колени пред кроватью и стала целовать его лицо, плечи, руки. И ей тоже почему-то казалось, что он худее, слабее и незначительнее всех, и она уже не помнила, что он архиерей, и целовала его, как ребенка, очень близкого, родного.

- Павлуша, голубчик, заговорила она, родной мой!.. Сыночек мой!.. Отчего ты такой стал? Павлуша, отвечай же мне!

Катя, бледная, суровая, стояла возле и не понимала, что с дядей, отчего у бабушки такое страдание на лице, отчего она говорит такие трогательные, печальные слова. А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти, куда угодно!

- Сыночек, Павлуша, отвечай же мне! - говорила старуха. - Что с тобой? Родной мой!

- Не беспокойте владыку, - проговорил Сисой сердито, проходя через комнату. - Пущай поспит... Нечего там... чего уж!..

Приезжали три доктора, советовались, потом уехали. День был длинный, невероятно длинный, потом наступила и долго-долго проходила ночь, а под утро, в субботу, к старухе, которая лежала в гостиной на диване, подошел келейник и попросил ее сходить в спальню: преосвященный приказал долго жить.

- А на другой день была Пасха. В городе было сорок две церкви и шесть монастырей; гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух; птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно, колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника, раздавались пьяные голоса. На главной улице после полудня началось катанье на рысаках, одним словом, было весело, все благополучно, точно так же, как было в прошлом году, как будет, по всей вероятности, и в будущем.

Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь у зятя-дьякона в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят...

И ей в самом деле не все верили.